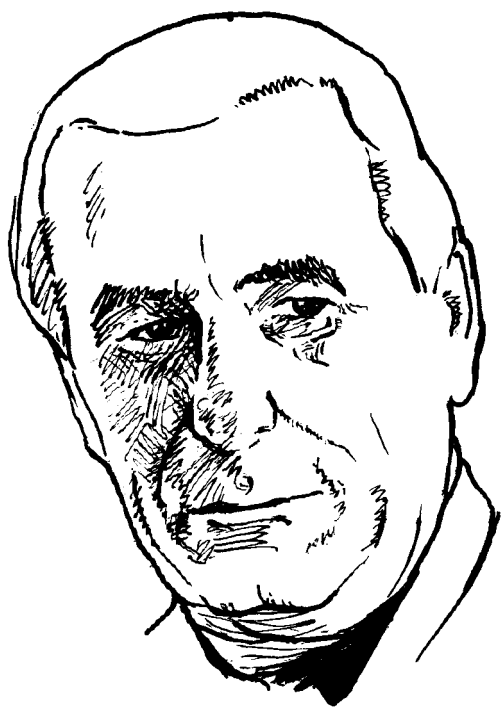


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА





Spencer

1920 — 1993

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Вячеслав Кондратьев

ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ

Повести

Художник Б. Страхов

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
2011

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К64

Вступительная статья
Л. ЛАЗАРЕВА

Кондратьев В. Л.
К64 Отпуск по ранению : повести / В. Кондратьев ;
[вступ. ст. Л. Лазарева]; худож. Б. Страхов. — М. :
Дет. лит., 2011. — 285 с. : ил. — (Школьная биб-
лиотека).

ISBN 978-5-08-004775-6

В книгу вошли две повести о войне «Сашка» и «Отпуск по ранению», главный герой которых — молодой солдат, вчерашний школьник, принявший на себя все бремя ответственности за судьбу Родины.

Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-004775-6

© Кондратьев В. Л., наследники, 1979, 1980
© Лазарев Л., вступительная статья, 2001
© Страхов Б., иллюстрации, 2001
© Оформление серии. Издательство
«Детская литература», 2001

ОКОПНАЯ ПРАВДА

Вячеслав Кондратьев и его «ржевская» проза

На склоне дней больной, одинокий Джонатан Свифт писал с печалью: «Потеря друзей — это тот налог, которым облагаются должжители».

Пришло время и мне платить этот скорбный налог: многие друзья ушли в мир иной. Вячеслав Кондратьев, чья жизнь трагически оборвалась в 1993 году, был для меня не только автором обжигающе талантливой военной повести, но и другом. И связывали нас не одни лишь литературные вкусы, но прежде всего и больше всего жизненный опыт, общая военная, фронтовая судьба. Оба мы были окопники, как сказано об этом в одной из самых популярных песен Булата Окуджавы, певца нашего, скошенного свинцом почти под корень поколения: «А мы с тобой, брат, из пехоты...»

Я хорошо помню, где и как мы познакомились с Кондратьевым. Было это в 1979 году — то ли в конце марта, то ли в начале апреля — в Ленинке после читательской конференции по роману Симонова «Так называемая личная жизнь» (последней такого рода его конференции — через полгода Константина Михайловича не стало). Когда растаяла длинная очередь жаждущих получить у известного писателя автограф, Симонов представил мне ожидавшего его человека: «Это автор «Сашки».

Тогда в февральской книжке журнала «Дружба народов» с предисловием Симонова и его стараниями была наконец напечатана эта первая повесть Кондратьева. Симонов радовался появлению «Сашки» так, словно это было его собственное произведение, с величайшим трудом пробившееся на журнальные страницы. Он хорошо знал цену правды о войне — и как нелегко она писателю дается, и как непрост ее путь к читателю.

Чем-то Кондратьев походил еще на одного ушедшего моего друга — Виктора Некрасова, родоначальника прозы фронтового поколения, автора ставшей уже классикой повести «В окопах Сталинграда», вытолкнутого в эмиграцию еще до литературного дебюта Кондратьева. Обоим писателям была свой-

ственна интеллигентность, демократичность, особого рода мужественность (которая есть свойство не столько физическое, сколько душевное), страстная ненависть ко лжи, демагогии, к фашизму и к родному, отечественному тоталитаризму — любых тонов и оттенков.

Они, Кондратьев и Некрасов, испытывали взаимную глубокую симпатию. Кондратьев не раз повторял: «Все мы вышли из некрасовских «Окопов». А Некрасов, говоря в одной из своих последних статей о произведениях, появившихся в ту пору, когда он был уже в эмиграции, признавался: «Один Вячеслав Кондратьев всколыхнул меня своим «Сашкой». И как я мог догадываться, туристическую поездку во Францию — дело по тем временам хлопотное, сопровождавшееся всевозможными унижениями, требовались справки, характеристики, — Кондратьев затеял главным образом для того, чтобы познакомиться, повидаться с Некрасовым (затея, кроме всего, небезопасная, поскольку Некрасов числился нашими властями в отъявленных «антисоветчиках»). Эта моя догадка потом подтвердилась. Возвратившись из Франции, Вячеслав светился от радости, показывая мне фотографию, на которой был снят вместе с Некрасовым в Париже.

Четверть века назад Василь Быков, размышляя о состоянии и перспективах литературы о Великой Отечественной войне, высказал важное, как я полагаю, принципиального характера соображение: «...Я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920—1925 годов рождения? Это — пехота. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера — пехотинца, который мог бы сказать ныне, что прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо. Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота».

Повести и рассказы Кондратьева — за «Сашкой» последовали «Отпуск по ранению», «Селижаровский тракт», «Овсянниковский овраг», «День победы в Чернове», «Борькины пути-дороги», «Знаменательная дата» и другие — возникли именно на том направлении нашей литературы о войне, которое выделял Быков и на котором было не так много заметных удач. Они посвящены пехотинцам, окопникам. И автор их — тоже из пе-

хоты. О его фронтовой судьбе рассказывал в предисловии к журнальной публикации «Сашки» Константин Симонов: «...Несколько слов о военной биографии писателя. С первого курса — в 1939 году — в армию, в железнодорожные войска, на Дальний Восток. В декабре 41-го — один из пятидесяти младших командиров, отправленных из полка на фронт после подачи соответствующих рапортов.

В составе стрелковой бригады — на переломе от зимы к весне 1942 года — под Ржев, а если точнее, чуть северо-западнее его. Помкомвзвода, комвзвода — временно, за убылью командного состава, принял роту; после пополнения — снова комвзвода. Все это за первую неделю. Потом новые бои, такие же тягостные, неудачные — словом, те же самые, которые с перехваченным горечью горлом вспоминают фронтовики, читая или слушая «Я убит подо Ржевом» Твардовского. Убит — эта чаша миновала автора «Сашки». На его долю досталось ранение и медаль «За отвагу» — за отвагу там, подо Ржевом...» Вот что рассказывал Симонов. Но и без этого предисловия, из самих сочинений Кондратьева ясно — так написать можно только о пережитом, о том, что с тобой было, что ты видел своими глазами...

Литературный дебют Кондратьева был явлением неожиданным, совершенно уже нежданым — прецедентов не было, я, во всяком случае, припомнить не могу. В столь зрелом возрасте (через год после публикации «Сашки» Кондратьеву стукнуло шестьдесят, у него в руках была серьезная профессия художника-оформителя, которая кормила его не одно десятилетие) если и берутся за перо, то с единственной целью — написать мемуары. И тут, мне кажется, и нужно искать главное объяснение этого все-таки из ряда вон выходящего случая. В том-то и дело, что своего рода мемуарность — существенная, можно сказать, родовая особенность почти всей военной прозы писателей фронтового поколения. Эта проза не всегда строго автобиографична, но она насквозь пропитана воспоминаниями о фронтовой юности. Всех их, писателей этого поколения, буквально выталакивала в литературу сила пережитого, и повести о военной юности, которые они написали, особенно первые, были одновременно и солдатскими и лейтенантскими мемуарами. Теми мемуарами, которые в самом деле никто никогда не отваживался писать. Вячеслав Кондратьев в этом смысле исключения не составляет — вот разве что очень уж много времени прошло после войны. Каков же был заряд пережитого, чтобы сработать и через три с лишним десятилетия!

В своих заметках о том, как создавался «Сашка», Кондратьев писал: «Я начал жить какой-то странной, двойной жизнью: одной — в реальности, другой — в прошлом, в войне. Ночами

приходили ко мне ребята моего взвода, крутили мы самокрутки, поглядывали на небо, на котором висел «костыль», гадали, прилетят ли после него самолеты на бомбежку, а я просыпался только тогда, когда черная точка, отделившись от фюзеляжа, летела прямо на меня, все увеличиваясь в размерах, и я с безнадежностью думал: «Это *моя* бомба...» Начал я разыскивать тогда своих ржевских однополчан — мне до зарезу нужен был кто-нибудь из них, — но никого не нашел, и пала мысль, что, может, только я один и уцелел, а раз так, то тем более должен я рассказать обо всем. В общем, схватила меня война за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже просто не мог не начать писать».

О силе этого чувства, об одержимости — иное слово здесь не подходит — автора, для которого то, что он стал писать о войне, было не только литературной задачей, но и смыслом и оправданием его жизни, выполнением долга, свидетельствует хотя бы такой факт. Не напечатав еще ни одной строки из написанного, не имея никаких гарантий, что какое-нибудь из его произведений увидит свет (а надо ли говорить, как важен этот стимул для художника), Кондратьев продолжал писать повесть за повестью, рассказ за рассказом. И многое из того, что увидело свет после «Сашки», было написано до этой повести или одновременно с нею. Только страстная вера в то, что он обязан рассказать *о своей войне*, об однополчанах, которые сложили голову в затяжных, стоивших нам больших жертв боях подо Ржевом, — а люди должны узнать обо всем этом, — только такая неостывающая, ни с чем не считающаяся вера могла питать это упорство, эту длившуюся не один год подвижническую работу...

Но что значит *своя война*? Константин Симонов писал о «Сашке»: «Это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской». Не знаю, годится ли в первых двух случаях превосходная степень; легкой войны не бывает, и одному Богу, наверное, известно, где она была самой трудной — подо Ржевом или в Сталинграде, у Севастополя или на Невской Дубровке. Но что подо Ржевом в силу разных обстоятельств — и объективных, и субъективных, которые правдиво отражены в произведениях Кондратьева, — было невыносимо тяжело, об этом спору нет... В упоминавшемся Симоновым стихотворении Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» эти ставшие гибельными места, эти многомесячные безрезультатные кровопролитные бои возникли не случайно. Рассказывая через четверть века после войны историю своего стихотворения, поэт связывал его рождение с тем тягостным чувством, которое возникло у него во время пребывания подо Ржевом осенью 1942

года: «Впечатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез — их подвозили вьючными лошадьми. Вернувшись в редакцию своей фронтовой «Красноармейской правды», которая располагалась в Москве, в помещении редакции «Гудка», я ничего не смог дать для газетной страницы, заполнив лишь несколько страничек дневника невеселыми записями». А в «Сашке» все это мы видим глазами человека, находившегося там, на передке, действительно «в самой трудной должности — солдатской».

И вот на что еще хочется сегодня обратить внимание, о чем невозможно было в полный голос сказать тогда, когда начали публиковаться повести и рассказы Кондратьева; впрочем, об этом и нынче не очень распространяются военные историки. Кондратьев в своей «ржевской» прозе изнутри показал то, что в сводках Совинформбюро небрежно-успокаивающе называлось «боями местного значения». А в этих боях без пользы и смысла было угроблено людей, наверное, не меньше, чем в самых крупных и знаменитых сражениях. Кто из фронтовиков не помнит появляющегося в дни вынужденного затишья, когда и людей почти не оставалось в ротах, и снаряды и гранаты были на счету, разъяренного поверяющего из какого-нибудь высокого штаба (на ротном уровне любой штаб воспринимался как высокий) с ничего хорошего не сулившей нашему брату окопнику фразой: «Что у вас тут — война кончилась? Вы что, мир с немцами заключили?» И тут пехоту для демонстрации столь желанной начальству боевой активности без артподготовки, да и вообще без всякой подготовки бросали в атаку — отбить какую-то высоту или деревеньку, хотя никакого продолжения этой операции не планировалось да и не могло быть. И даже если удавалось захватить село или высоту — чаще не удавалось, — непомерной ценой было за это плачено. Кажется, никому в нашей литературе не удалось так, как Кондратьеву, показать во всей своей страшной реальности проникший во все структуры армейского механизма сталинский принцип: людей не жалеть, потери в расчет не принимать.

Кондратьев показывает, какую тяжесть нес на своих плечах рядовой пехотинец, которому «каждый отделенный — начальник», для которого и КП батальона, находящийся в каком-нибудь километре-двух от окопов — рукой подать, — был уже тлом. И вроде не очень много он может со своим автоматом и парой гранат (против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и самолеты), а все-таки именно он и его товарищи — решающая сила армии, и только о той земле мы говорим, что она в наших руках, которую удерживают или взяли они, пехотинцы, — вот им и достается.

А в боях подо Ржевом хлебнули они горячего до слез. На что уж Сашка не избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к невзгодам («был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытал»), но и ему невмоготу — все разом на них навалилось здесь, из последних сил держатся. И тяжело не только то, что которую неделю они на виду у смерти, каждую минуту она подстерегает — из первоначальных ста пятидесяти тринадцать человек осталось в их «битой-перебитой» роте, да это еще после того, как пополняли, наскребая кого только можно в полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он хорошо понимал, что ждет пехотинца: «Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два... Но не вечно же? А война впереди долгая».

Нет, устал так Сашка не от одной лишь постоянной смертельной опасности — не меньше от того, что все время на фронте впроголодь, что во всем нехватка (не только в харчах и куреве, солдатском обмундировании и сапогах, валенках, но и в боеприпасах), что и на переднем крае, и в армейском тылу порядка маловато и все их усилия и жертвы по-настоящему не окупаются. От этого на душе у Сашки камень, а чтобы давил поменьше, он старается убедить себя, что «по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили». Но все эти невеселые обстоятельства боев подо Ржевом (как и скучная жизнь в разоренных войной прифронтовых деревнях, которую наблюдает добирающийся до госпиталя Сашка, и суровая, затемненная, работающая до изнеможения Москва, где матери и жены со страхом ждут стука почтальона, не принесет ли «похоронку», — такой видит столицу герой «Отпуска по ранению») важны и интересны не сами по себе — ведь это не документальные очерки, а художественные произведения, — а тем, как в них проявляются характеры героев, обнаруживая скрытые, не дающие о себе знать в мирное время, в обычных условиях душевные ресурсы.

Характер Сашки — главная удача Кондратьева. В жизни каждый из нас, наверное, не раз сталкивался с людьми, чем-то напоминающими кондратьевского героя, и если мы не сумели по-настоящему понять и оценить этот характер, то потому, что он еще не был открыт и объяснен искусством. Не зря Александр Твардовский говорил, что всякая действительность нуждается в подтверждении и закреплении средствами художественного выражения, а «до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы еще не совсем полна».

Не так часто даже талантливому художнику случается отыс-

кать в действительности новый характер. Кондратьеву это удалось, его Сашка — открытие. И пусть не обманывают простота и ясность этого характера — он таит в себе и глубину, и сложность, и значительность, до того литературой не обнаруженные, не подтвержденные. И имеющаяся у Сашки литературная «родня» (скажем, толстовские солдаты) пусть тоже не вводит читателей в заблуждение: перед ними явление, которое традицией не покрывается и не исчерпывается. Кондратьев рисует характер человека из народа, сформированный своим временем и воплотивший черты своего поколения. Добавлю для точности: лучшие черты. Этим, кстати, объясняются и те близость и взаимопонимание, которые так естественно и легко возникают у Сашки, деревенского парня, и его ротного, бывшего студента, у Сашки и главного героя повести «Отпуск по ранению» лейтенанта Володьки, выросшего в интеллигентной московской семье. Многое в их общественных убеждениях и нравственных представлениях совпадает.

Сложилась довольно устойчивая, но вовсе не бесспорная традиция изображения коренного народного характера как воплощения органического, «нутряного» нравственного чувства, чуждого какой-либо рефлексии и анализа. Кондратьев ее не приемлет. Его Сашка — человек не только с обостренным нравственным чувством, но и с твердыми, осознанными убеждениями. И прежде всего он человек размышляющий, проницательно судящий и о происходящем вблизи него, и об общем положении дел. «На все, что тут (на фронте. — Л. Л.) делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он — не слепой же! — промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки...» Раздраженный упрямством Сашки, его неуступчивостью, добивающегося, невзирая ни на что, справедливости, ординарец комбата его увещевает: «Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье... Приказали — исполнил! А ты...» А Сашка так поступить — «наше дело телячье» — не хочет и не может. И то, что многое о жизни, о людях, о войне продумано Сашкой, и то, что поступает он не безотчетно и импульсивно, а взвешенно и с пониманием, и то, что чувствует он себя, как сказано в «Василии Теркине», «в ответе за Россию, за народ и за все на свете», не раз обнаруживается в повествовании. Пытливый ум и простодушие, жизнестойкость и деятельная доброта, скромность и чувство собственного достоинства — все это соеденилось, спланилось в цельном характере Сашки.

Повести и рассказы «ржевского» цикла Кондратьева как бы прорастают друг в друга. Каждая вещь вполне самостоятельна, но между ними существуют и внутренние, скрытые и вполне очевидные сюжетные связи: один и тот же бой возникает в

них то как происходящее на наших глазах, то в воспоминаниях разных персонажей, некоторые герои переходят из одного произведения в другое.

Художественное пространство в «ржевском» цикле невелико и кажется замкнутым: редующий в безуспешных атаках и от постоянных, как по расписанию, немецких обстрелов батальон; три расположенные неподалеку деревеньки — Паново, Усово, Овсянниково, в которых прочно закрепились немцы; овраг, маленькие рожицы и поле, за которым вражеская оборона, — поле, насквозь простреливаемое пулеметным и минометным огнем.

Ничем это овсянниковское поле вроде бы не примечательно, поле как поле, наверное, у каждой деревни в тех краях можно отыскать такое. Но для героев Кондратьева все главное в их жизни совершается здесь, и многим, очень многим из них не суждено его перейти — останутся они тут навсегда. А тем, кому повезет, кто вернется отсюда живым, запомнится оно на всю жизнь во всех подробностях — каждая ложбинка, каждый пригорок, каждая тропка. Все было тут не исхожено даже, а исползано — не очень-то походишь при губительном огне. Для тех, кто здесь воевал, даже самое малое исполнено немало, жизненно важного значения: и жалкие шалаши, служившие зимой хоть каким-то укрытием от ледяного, пробирающего до костей ветра; и мелкие окопчики — поглубже вырыть сил не хватало, — весной наполовину залитые талой водой; и последняя щепоть махорки, смешанной с крошками; и взрыватели от ручных гранат, которые было принято носить в левом кармане гимнастерки — если сюда угодит пуля или осколок, не важно, что они взорвутся, все равно хана; и валенки, которые никак не высушить; и полкотелка жидкой пшенной каши в день на двоих; и вдруг замедлявшееся, останавливавшееся во время атаки время — «полчаса только, а вроде бы жизнь целая прошла».

Тяжкий период войны изображает Кондратьев: мы учимся воевать, трудно дается нам эта учеба, дорогой ценой за нее расплачиваемся. Постоянный — из повести в повесть, из рассказа в рассказ — мотив у него: уметь воевать — это не только, зажав, преодолев страх, пойти под пули, не только не потерять самообладания в минуты смертельной опасности. Это еще полдела — не трусить. Труднее научиться другому: думать в бою и над тем, чтобы потерь — хотя они, конечно, неизбежны на войне — все-таки было поменьше, чтобы зря и свою голову не подставлять, и подчиненных не класть. Тогда, на первых порах, это не очень-то получалось...

Против нас была очень сильная армия — хорошо вооруженная, вымуштрованная, имевшая большой боевой опыт, уверен-

ная в своей непобедимости. Чтобы ее разбить, надо было добиться превосходства в вооружении и технике, превзойти ее воинским умением, сокрушить ее наступательный дух. Но и это еще не все. Против нас была армия, отличавшаяся необычайной жестокостью и бесчеловечностью, не признававшая никаких нравственных преград в обращении и с противником, и с мирным населением в захваченных областях. Однако жестокость не только устрашает, как полагали гитлеровцы, но и рождает ненависть. Конечно, гитлеровские злодеяния ее накаляли. Но ненависть даже к такому врагу, как фашистские захватчики, не была, не могла стать слепой и безграничной, ей устанавливали пределы те гуманистические ценности, которые мы защищали. Поэтому она не становилась разрушительной, не растлевалась, не сеяла неуважение к человеческой жизни. Герои Кондратьева не могли платить фашистам той же монетой не потому, что захватчики этого не заслуживали, а потому, что это было для них невозможно: они утратили бы чувство безусловной правоты, абсолютного нравственного превосходства над фашистами, благодаря которому смогли вынести и невыносимое, сохранить и в самых отчаянных положениях веру в победу. Когда у Сашки спросили, как же он решился не выполнить приказ комбата — не стал расстреливать пленного, разве не понимал, чем это ему грозило, — он ответил просто: «Люди же мы, а не фашисты...» И простые слова его исполнены глубочайшего смысла: они говорят о неодолимости человечности, которая была тем рубежом, который фашисты взять не смогли, именно здесь они потерпели поражение.

«Ржевская» проза Кондратьева, в которой с такой скрупулезной и беспощадной точностью, без малейшей ретуши нарисован жуткий лик, вернее оскал, войны: грязь, вши, голодуха, кровь, трупы, — проникнута верой в торжество свободы и человечности. И эта вера, этот свет не позднего, ностальгического происхождения, они оттуда — из нашей войны, из тех тяжелых лет, которые справедливо называют и свинцовыми, и пороховыми, и кровавыми. Так было... И для тех, кто прошел этот ад, годы на фронте остались самыми главными в жизни, их звездным часом. Герой кондратьевского рассказа «Знаменательная дата» прожил после войны благополучную и вполне достойную жизнь. Он не может пожаловаться на судьбу: доволен своей работой, на заводе его ценят и уважают, у него хорошая семья. «Но все равно, — признается он, — тоска иногда забирает по тем денькам. Понимаете, по-другому тогда все было». Очень непросто объяснить — и ему, и мне, — что же в войну было по-другому, о чем эта тоска. Но суть герой Кондратьева, кажется, ухватил верно: «На войне я был до необходимости необходим». Наверное, ничего для человека не может быть важнее этого чувства...

В конце войны Семен Гудзенко — первый из возникавшей тогда плеяды поэтов-фронтовиков — написал стихотворение «Мое поколение». От имени фронтовиков-окопников — вчерашних школьников, недоучившихся студентов — обращается к читателям поэт. Это поколение Сашки, лейтенанта Володьки и самого Вячеслава Кондратьева, давшего им жизнь в литературе. В этом стихотворении есть такие строки:

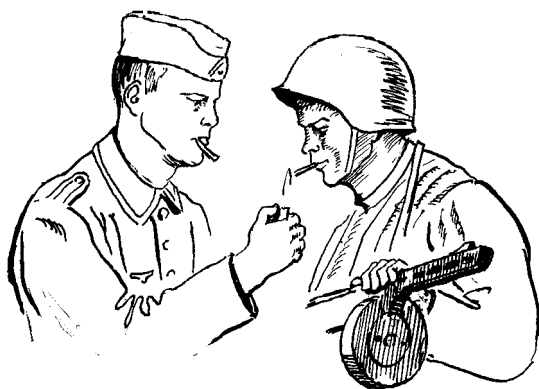
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
тот поймет эту правду, — она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.
Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, —
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты...

Долгие годы у нас не больно жаловали эту добытую с боем окопную правду. С каким яростным энтузиазмом науськанные высоким армейским начальством литературные стервятники клевали ее — это, мол, «очернительство», «дегероизация», да и что вообще мог видеть солдат из окопа, кому интересна, кому нужна его приземленная правда? А это была правда тех, кто на своих плечах вынес главную тяжесть жестокой и великой войны, заплатив за победу тысячами тысяч юных жизней. Окопная правда — это народная память о пережитом на тех смертельных рубежах, где между нами и врагом была лишь ничейная земля. И если молодые поколения, к которым обращается в своем стихотворении Гудзенко, действительно захотят знать ее, эту горькую и высокую правду, — пусть читают «ржевскую» прозу Вячеслава Кондратьева.

Л. Лазарев

САШКА

*Всем воевавшим подо
Ржевом—
живым и мертвым —
посвящена эта
повесть*





1

К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке на ночной пост. У края рощи прилеплен был к ели редкий шалашик для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда ноги за немеют, но наблюдать надо было безотрывно.

Сектор Сашкиного обзора не маленький: от подбитого танка, что чернеет на середине поля, и до Панова, деревеньки махонькой, разбитой вконец, но никак нашими не достигнутой. И плохо, что роца в этом месте обрывалась не сразу, а сползала вниз мелким подлеском да кустарником. А еще хуже — метрах в ста поднимался взгорок с березняком, правда, не частым, но поле боя пригораживающим.

По всем военным правилам надо бы пост на тот взгорок и выдвинуть, но побоязничали — от роты далековато. Если немец перехватит, помощи не докличешься, потому и сделали здесь. Прогляд, правда, неважный, ночью каждый пенёк или куст фрицем оборачивается, зато на этом посту никто во сне замечен не был. Про другие того не скажешь, там подремливали.

Напарник, с которым на посту чередоваться, достался Сашке никудышный: то у него там колет, то в другом месте свербит. Нет, не симулянт, видно, и вправду недужный, да и ослабший от голодухи, ну и возраст ска-

зывается. Сашка-то молодой, держится, а кто из запа-са, в летах, тем тяжко.

Отправив его в шалаш отдыхать, Сашка закурил осторожно, чтобы немцы огонек не заметили, и стал думать, как ему свое дело ловчее и безопаснее сделать — сейчас ли, пока не затемнело совсем и ракеты не очень по небу шаркают, или на рассвете?

Когда наступали они днями на Паново, заметил он у того взгорка мертвого немца, и больно хороши на нем были валенки. Тогда не до того было, а валенки аккумулятивные и, главное, сухие (немца-то зимой убило, и лежал он на верховине, водой не примоченной). Валенки эти самому Сашке не нужны, но с ротным его приключилась беда еще на подходе, когда Волгу перемахивали. Попал тот в полынью и начерпал сапоги доверху. Стал снимать — ни в какую! Голенища узкие стянулись на морозе, и кто только ротному ни помогал, ничего не вышло. А так идти — сразу ноги поморозишь. Спустились они в землянку, и там боец один предложил ротному валенки на сменку. Пришлось согласиться, голенища порезать по шву, чтоб сапоги стащить и произвести обмен. С тех пор в этих валенках ротный и плавает. Конечно, можно было ботинки с убитых подобрать, но ротный либо брезгует, либо не хочет в ботинках, а сапог на складе или нету, или просто недосуг с этим возиться.

Место, где фриц лежит, Сашка заприметил, даже ориентиры у него есть: два пальца влево от березки, что на краю взгорка. Березу эту пока видно, может, сейчас и подобраться? Жизнь такая — откладывать ничего нельзя.

Когда напарник Сашкин откряхтелся в шалаше, накашлялся вдосыть и вроде заснул, Сашка курнул наскоро два разка для храбрости — что ни говори, а вылезать на поле, холодком обдувает — и, оттянув затвор автомата на боевой взвод, стал было спускаться с пригорка, но что-то его остановило... Бывает на передке такое, словно предчувствие, словно голос какой говорит: не делай этого. Так было с Сашкой зимой, когда окопчики снежные еще не растаяли. Сидел он в одном,

сжался, вмерзся в ожидании утреннего обстрела, и вдруг... елочка, что перед окопчиком росла, упала на него, подрезанная пулей. И стало Сашке не по себе, махнул он из этого окопа в другой. А при обстреле в это самое место — мина! Останься Сашка там, хоронить было б нечего.

Вот и сейчас расхотелось Сашке ползти к немцу, и все! «Отложу-ка на утро», — подумал он и начал взбираться обратно.

А ночь плыла над передовой, как обычно... Всплескивались ракеты в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз, к развороченной снарядами и минами земле... Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада... Как обычно... Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что не похожа война на то, что представлялось им на Дальнем Востоке, когда катила она свои волны по России, а они, сидя в глубоком тылу, переживали, что идет война пока мимо них, и как бы не прошла совсем, и не совершить им тогда ничего геройского, о чем мечталось вечерами в теплой курилке.

Да, скоро два месяца минет... И, терпя ежечасно от немцев, не видел еще Сашка вблизи живого врага. Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые, не видать в них было никакого движения. Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки, которые, контратакуя, перли на них, урча моторами и поливая их пулеметным огнем, а они метались на заснеженном тогда поле... Хорошо, наши «сорокапятки» затаивали, отогнали фрицев.

Сашка хоть и думал про все это, но глаз от поля не отрывал... Правда, немцы сейчас их не тревожили: отдывались утренними и вечерними минометными налетами, ну и снайперы постреливали, а так вроде наступать не собираются. Да и чего им тут, в этой болотной низинке? До сих пор вода из земли выжимается. Пока дороги не пообсохли, вряд ли попрут немец, а к тому времени сменить их должны. Сколько можно на передке находиться?

Часа через два пришел сержант с проверкой, угостил Сашку табачком. Посидели, покурили, побалакали о том о сем. Сержант все о выпивке мечтает: разбаловался в разведке — там чаще подносили. А Сашкиной роте только после первого наступления богато досталось — граммов по триста. Не стали вычитать потери, по списочному составу выдали. Перед другими наступлениями тоже давали, но всего по сто — и не почувствуешь. Да не до водки сейчас... С хлебом плохо. Навару никакого. Полкотелка жидни пшенки на двоих — и будь здоров. *Распутица!*

Когда сержант ушел, недолго и до конца Сашкиной смены. Вскоре разбудил он напарника, вывел его сонного на свое место, а сам в шалашик. На телогрейку шинелишку натянул, укрылся с головой и заснул...

Спали они тут без просыпу, но Сашка почему-то дважды ото сна уходил и один раз даже поднялся напарника проверить — ненадежный больно. Тот не спал, но носом клевал, и Сашка потрепал его немножко, встряхнул, потому как старший он на посту, но вернулся в шалаш какой-то неуспокоенный. С чего бы это? Подсасывало что-то. И был он даже рад, когда пришел конец его отдыху, когда на пост заступил, — на самого себя надежи-то больше.

Рассвет еще не наступил, а немцы ракеты вдруг перестали запускать — так, реденько, одна-другая в разных концах поля. Но Сашку это не насторожило: надоело пулять всю ночь, вот и кончили. Это ему даже на руку. Сейчас он к немцу за валенками и смотается...

До взгорка добрался он быстро, не очень таясь, и до березы, а вот тут незадача... Расстояние в два пальца на местности в тридцать метров обернулось, и ни кустика, ни ямки какой — чистое поле. Как бы немец не засек! Здесь уж на пузе придется, ползком...

Сашка помедлил малость, обтер пот со лба... Для себя ни за что бы не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы насквозь водой пропитались — и за лето не просушить, а тут сухенькие наденет и походит в сухом, пока ему сапоги со склада не доставят... Ладно, была не была!

Без останову дополз Сашка до немца, схоронился за него, осмотрелся и взялся за валенок. Потянул, но не выходит! То, что приходится мертвого тела касаться, его не смущало — попривыкли они к трупам-то. По всей роцце раскиданы, на людей уже непохожие. Зимой лица их цвета не покойницкого, а оранжевого, прямо куклы какие, и потому Сашка брезговал не очень. И сейчас, хотя и весна, лица их такими же остались — красноватыми.

В общем, лежа снять с трупа валенки не получалось, пришлось на колени привстать, но тоже не выходит, тянется весь фриц за своим валенком, ну что делать? Но тут смекнул Сашка упереться ногой в немца и попробовать так. Стал поддаваться валенок, а когда стронулся с места, уже пошел... Значит, один есть.

Небо на востоке зажелтелось немного, но до настоящего рассвета еще далеко — так, еле-еле начинало вокруг кое-что проглядываться. Ракеты немцы совсем перестали запускать. Все же, перед тем как за второй валенок приняться, огляделся Сашка. Вроде спокойно все, можно снимать. Снял и пополз быстро ко взгорку, а оттуда меж осинок и кустов можно и в рост без опаски до своего шалашика.

Только подумал это Сашка, как завыло над головой, зашелестело, а потом грохнули разрывы по всей роцце, и пошло... Что-то рановато сегодня немцы начали. С чего бы так?

Со взгорка сполз он в низинку и залег под кустом. В роццу возвращаться сейчас незачем — там все в грохоте, треске, в дыму и гари, а сюда немец не бьет. Опять подумалось: неспроста в такую рань начали и обстрел большой — рвутся мины одна за другой, пачками, будто строчит очередь какой-то здоровенный пулеметище. Авдуг наступать, гады, надумали? Эта мысль обожгла, но заставила Сашку глядеть в оба. В роцце-то теперь под таким обстрелом вдавились все в землю, им не до наблюдения.

Вот заразы так заразы! Всё не перестают! И верно, такого налета Сашка не помнит: уж больно силен и долог. Глянул назад, и впрямь творится там страшное — раз-

рывы по всему лесу, взмываются вверх комья земли, падают вывороченные с корнем деревья. Как бы не побито всех. Сашке даже неловко стало, что оказался не случайно в безопасности, от своей роты в отрыве, но валенки рукой погладил.

Курнуть захотелось смертно, и Сашка начал крутить сигарку, глаза на миг от поля отведя, а когда поднял их — обомлел!

Из-за взгорка поднимался громадный немец... Огляделся и дал сигнал рукой остальным, еще не видимым Сашкой: дескать, можно идти. Высунулись еще двое, такие же огромные, — сперва головы в касках, потом в полтуловища, а потом и во весь рост...

Цигарка у Сашки выпала из рук, дыхание перехватило, сердце провалилось куда-то, тело зацепенело — ни рукой, ни ногой не двинуть. А немцев тем временем прибавлялось — то здесь, то там появлялись. Большие, серые, размытые предутренней дымкой, страшные...

И Сашка понял: не выдержит он сейчас, поднимется, заорет благим матом: «Немцы!» — и бросится бежать в рощу, к своим, лишь бы не быть одному. Уже напряглось тело, уже растянулся рот... Но тут услышал он приглушенную команду «форвертс, форвертс», которую немцы исполнили не сразу, а заколебавшись. И вот эта минутная заминка у них, безохотное выполнение приказа дало Сашке время прийти в себя, и страх, сдавивший его поначалу, как-то сошел с него.

Двигались немцы осторожно, с опаской, и это дало Сашке мысль: побаиваются они тоже, разве знать им, сколько русских в роще и что ждет их здесь? И это вдруг успокоило Сашку, голова заработала, мысли не пересекали друг друга, а стали строиться в ряд — что делать сначала, что потом... Наперво поглядел он назад и выбрал место поукрытистей, да не одно, а два, потом, привстав на колена, чтоб видеть лучше, резанул длинной очередью по немцам и сразу побежал к намеченному кусту, тут он опять с колена дал веерок трассирующих, перекатился в сторону, а уж оттуда что есть мочи бросился в рощу.

Здесь только услышал он ответную пальбу, крики, свист, улюлюканье и треск разрывных пуль вокруг, а оглянувшись, увидел — немцы бежали вовсю, раскрыв рты, прижав автоматы к животу...

Сашка влетел в рощу, крича: «Немцы! немцы!», чтоб упредить своих, и тут же столкнулся с ротным, схватившим его за грудь и прокричавшим прямо в лицо:

— Много их? Много?

— Много! — выдохнул Сашка.

— Беги передай — всем за овраг! Там залечь и ни шагу!

— А вы?

— Беги! — повторил ротный, и Сашка побежал.

«И верно, — подумал Сашка, — принимать бой здесь, когда немцы вошли уж в рощу, нельзя. А перед оврагом ручей и место открытое, там немцы, если попрут, на виду будут, там и прищучить можно, ну и вторая рота поможет».

В середине пяточка столпилась их битая-перебитая рота около раненного в ногу политрука. Тот размахивал карабином и кричал:

— Ни шагу! Назад ни шагу!

— Приказ ротного — отойти за овраг! — крикнул Сашка. — А оттуда ни шагу!

Этого будто и ждали, побежали резво, откуда силенки взялись, а политрук, побелевший, скривившийся от боли, растерянно глядел, как неслась схваченная паникой рота.

Один из бойцов, коренастый татарин, нагнулся над политруком, схватил под мышки и потянул к ручью. Сашка подмогнул ему, а потом, спешно подзарядив диск, бросился туда, где остался ротный. Опять столкнулись они, чуть не сбив друг друга с ног.

— Попридержи их! — прохрипел ротный и, пустив короткую, видать из последних патронов, очередь, миновал Сашку.

Схоронившись за ель, Сашка водил стволом автомата, пуская длинные очереди, но его выстрелы тонули в резких и звонких хлопках разрывных, которыми была наполнена роща. Да и обычные пули взрывали совсем рядом, сбивая ветви елей, взрыхляя землю вокруг. Ста-

ло Сашке страшновато — как бы не ранило! Тогда хана! Тогда к немцам попадешь запросто. И, не расстреляв всех патронов, Сашка метнулся назад.

За оврагом командовал сержант, останавливая не в меру разбежавшихся. Теперь-то к политруку подбежали человек пять и, пожалуйста, готовы нести в тыл его хоть на руках. Но он, ругаясь, гнал их от себя, посылая в оборону, а потом и подоспевший ротный разметал всех по местам.

Немцы к тому времени неожиданно замолкли — ни стрельбы, ни криков, ни свиста...

И рота, занявшая оборону — кто за деревом, кто за кустиком, кто в окопчике для стрельбы лежа (были тут такие, неизвестно кем копаные), — тоже притихла в напряженном ожидании, что вот-вот начнут выползать фашисты и пойдет уже настоящий бой. Лица были хоть и бледные, но живые, хоть и со сдвинутыми бровями и сжатыми ртами, но не испуганные, не такие, как при налетах и бомбежках, когда нету другого спасения, как вжаться в матушку-землю... Тут враг был рядом и, главное, их оружие доступный — и пуле, и гранате, и штыку, — а стало быть, от них самих зависит, как этот бой провести.

Но немцы не выходили... И тишина, такая неожиданная после грохота сегодняшнего утра, тяготно давила на них ожиданием неизвестного и страшного, что вот-вот должно сейчас произойти, и потому, когда взорвалась она не громом выстрелов, не криками немцев, а хриплым и жалким: «Братцы, помогите... Братцы...» — они растерялись, и даже ротный выкрикнул не сразу:

— Сержант! Все люди на месте?

— Вроде все... — не враз, а сперва приподнявшись и глазами пересчитав людей, ответил сержант не особо уверенно.

— Точнее!

Сержант еще раз огляделся, помедлил малость с ответом, но подтвердил:

— Все, товарищ командир.

— Провокация... — процедил ротный. — Передать по цепи: без команды не стрелять!

Сашка тоже вертел головой, стараясь разглядеть, все

ли на месте, потому как голос этот ему знакомым показался, но ребята затаились, замаскировались, кто как мог, не разглядишь. Да и кто мог там остаться, такой огонь проспать, такой шум?

— Братцы... — донеслось опять оттуда, еще более хриплое, придушенное, и снова тяготящая тишина нависла над ними.

И вдруг другой голос — молодой, какой-то торжествующий и даже приятный на слух — прокричал им:

— Товарищи! Товарищи! Бросайте оружие, закурим сигареты! Товарищи...

— Ух, лявры, — проскрежетал Сашка. — Знают, сволочи, что мы без курева...

А приятный голос продолжал уговаривать настойчиво:

— Товарищи! В районах, освобожденных немецкими войсками, начинается посевная. Вас ждет свобода и работа. Бросайте оружие, закурим сигареты...

Они продолжали слушать, ничего не понимая, стараясь разгадать, какую игру ведут с ними немцы, пока ротный не поднялся с перекошенным лицом и не закричал каким-то не своим голосом:

— Это разведка! Ребята, их мало! Это разведка! Их мало! Вперед! — и бросился через ручей без огляда, бегут ли за ним люди.

Но люди побежали, растянув рты в «ура» и недружно стреляя редкими выстрелами из винтовок и короткими очередями из ППШ, а за ними и Сашка, который, вскоре обогнав ротного, заглянул тому в лицо, увидел, как растерянно оно, потому как взводит он на ходу затвор автомата, а тот не стреляет. Смекнул Сашка, что ротный расстрелял свой диск, а сообразить это не может и недоумевает. Отцепил он с ремня свой диск и сунул в руку ротному. Тот кивнул благодарно, и побежали они дальше... А за ними, шумно дыша, матюгаясь, топала их рота, а за нею и подоспевшая вторая.

Хоть и впервые Сашка столкнулся так близко с немцами, страха он почему-то не ощущал, а только злость и какой-то охотничий вспыл — настичь немцев непременно и перестрелять их, когда они на поле высыплют-

ся и будут видны как на ладони, а он с того взгорка, у которого сегодня фрица искал, будет резать по ним трасирующими... Вот будет им закурка! А то «закурим сигареты»! Вот гады! В таком раже обогнал Сашка ротного, который задерживался, подтягивая людей, и проскочил уже больше половины их леска, не встречая ни немцев, ни их стрельбы ответной. Странно что-то... Но тут недолго и до края, а там уже будут на виду немцы, деться им некуда, обратный путь — через поле, другого нету. И жал Сашка из последних сил, пока не рассекся над ним воздух нарастающим, выворачивающим душу воем. И уже по нему понял Сашка: не одна, не две летят мины, а целая стая. И впрямь грохнули разрывы по всей роще, а особенно густо перед краем. Стали стеной перед Сашкой, огненными кустами. Пришлось брякнуться на землю, и, падая, понимал он: отрезают немцы их от своей разведки, которая спокойненько уходит сейчас восвояси.

И так обидно стало — уйдут, заразы, безнаказанно, — что Сашка поднялся и рванул через огонь. Когда бежал сквозь разрывы, страшно не было, а когда добежал до опушки и залег, пробрала дрожь. Отсюда и взгорок виден, и часть поля, но немцев не было. Куда же они, сволота, делись? Как сквозь землю провалились!

И Сашка уже просто так, чтоб выплеснуть злобу и обиду, пустил длинную очередь наобум, пока не заглох ППШ. Тут только опомнился — запасного диска-то нет, ротному отдал...

А минометный огонь подползал сзади, к опушке, и пришлось Сашке вперед податься, чтоб от него уйти. Опять он от роты оторвался, но что делать, немцев-то они упустили, как ни верти. Обидно очень. Только раз за эти месяцы выпал им случай поквитаться с фрицем, ан нет, не вышло! Матюгнулся Сашка, но что-то ему говорило, не все еще кончилось. Может, податься ему к тому взгорку, может, застанет еще немцев на поле? Но что он один да с пустым диском? Но когда услышал Сашка, как кричит сзади ротный, поднимая людей, видно стараясь прорваться с ними через огонь, решил и он продвинуться подальше и приподнялся... Но тут же

просвистевшая над ним автоматная очередь бросила его наземь.

Откуда? Значит, тут еще немцы! Сашка быстро отполз чутко в сторону и осторожно поднял голову, чтоб оглядеться, и чуть было не вырвался у него вскрик: «Стой, мать твою! Халът!» Впереди метнулось что-то серое и скрылось. Непослушными пальцами расстегнул Сашка чехол «лимонки», а когда вынул ее и прихватил пальцем кольцо, зашептал:

— Теперь не уйдешь, гад... Не уйдешь...

Что есть силы, царапая лицо, руки, поправляя непрерывно налезаящую на глаза каску, пополз он по направлению к немцу, но не прямо, а стороной, сообразив, что надо заползти тому в тыл, отрезать его от поля.

Немца было не видать. Залег, наверно, а всего скорее — ползет он к взгорку. Теперь кто кого упредит.

Кадровый боец, Сашка полз умело, не приподнимая зада, полз споро и потому решил: если немец лежит на месте, то должен он его уже обойти, а если тот тоже ползет, то сравняться по крайней мере. Приподняться Сашка боялся — немец, наверно, нет-нет да оглядывается. Если заметит, то резанет из автомата, и потому приходилось двигаться вслепую — какой обзор у ползущего?

То, что патронов у него нет, Сашка помнил и на что идет, понимал, но выхода-то другого не было, иначе упустишь немца, а сколько ребят из разведки положили, пока за «языком» лазили, Сашка знал.

Сполз он уже в низинку, и теперь, как немец на взгорке поползет, будет ему виден непременно. Как прихватить его только? Этого Сашка пока не знал.

Но немец выскочил вдруг в нескольких шагах от Сашки и, не оборачиваясь, рванул к пригорку. Не помешкав и секунды, бросился Сашка вдогон и хотел было метнуть гранату вслед — достал бы! — но раздумал, боясь прибить немца насмерть, а он, гад, живьем нужен. Судя по тому, что отстал фриц от своих, был он, видать, не очень-то расторопный... Эти мысли пробегали в Сашкиной голове, пока он за немцем гнался, но главной была: не дать уйти тому на поле — там его не взять, там оба на виду будут, там их обоих и угробят немцы запросто.

А до взгорка считанные метры! Пока они здесь, в низинке, надо и действовать! На Сашкино счастье, не обернулся фриц ни разу, знал, что за ним стена огня, что прикрывают его свои, а насчет Сашки думал небось, что прибил его своей очередью... Раздумывать больше некогда! Сделал Сашка хороший замах и бросил «лимонку» с расчетом, что упадет она впереди немца и тот, увидя ее, бросится наземь, тут Сашка и навалится...

Так и вышло... В несколько прыжков достиг Сашка лежащего немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. В тот же миг рванулась граната, просвистели осколки, обсыпало Сашку землей, но он крепко прижал правой рукой фрицевский «шмайссер», а левой сбоку что есть силы ударил немца по виску, благо был тот без каски, а только в пилотке. Но удар не оглушил немца, и стал он под Сашкой изворачиваться, пытаясь скинуть его. Вцепился тогда Сашка ему в шею, но одной рукой сильно не придавишь, и немец не переставал барахтаться. Но все же чуял Сашка: немец не сильнее его и, кабы не маета их двухмесячная, смял бы он его быстро. Пахло от немца каким-то чужим запахом: и табаком не таким, и одеждой другой, и даже потом другим... Лица его Сашка не видел, только затылок и шею, не особо толстую, которую он отпустил на секунду, чтоб трахнуть еще раз левой по виску. Но удара не получилось — дернулся тот головой в сторону, а рукой прихватил Сашкину руку и держал крепко, не вырвать... Теперь вправо немного немец повернулся и часть его лица показалась. Молодой был и курносый, чему Сашка удивился — в роще все больше длинноносые лежали. Обезручил Сашка — одна рука немцем прихвачена, вторая автомат и правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, и изловчиться немец сможет, вывернуться из-под Сашки.

Хоть бы подоспел кто. Но звать на помощь Сашка не стал — метался сзади минометный отрезающий огонь, как бы не прибило кого, если начнут пробиваться. Беспokoился Сашка, конечно, за ротного. Тот у них такой, побежит первый на помощь, а Сашка ротному жизнью обязан, природнились за эти месяцы страшные.

Не успел Сашка это подумать, как услышал сквозь разрывы голос ротного:



— Сашка! Где ты? Сашка!

Не ответить было нельзя, и он откликнулся:

— Здесь я, командир! Фрица прижал!

— Иду! Не выпускай, Сашок!

«Догадался ротный, что без патронов я», — с тепло-той подумал Сашка, но немец враз стал выворачивать-ся, пытаясь скинуть его, и пришлось рискнуть — ото-рвать руку от фрицевского «шмайссера»... Удар, кото-рый нанес Сашка правой по лицу немца, пришелся тому по носу, и хлынула кровь у фрица. Приослаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ею бить немца опять по виску. Как только тот обмяк, бить перестал, но прижал увесистей, приговаривая:

— Ну что? Не ушел, зараза! Теперь все, капут!

Тяжело дыша, ротный упал справа от Сашки, вырвал к себе немецкий автомат, потом так же резко сорвал с пояса немца гранату с длинной деревянной ручкой и от-бросил от себя.

— Теперь все, можешь отпустить... — сказал он Саш-ке, и тот отвалился от немца влево. И лежал фриц меж-ду ними уже обезоруженный, плененный уже оконча-тельно. — Молодец, Сашок! Как это вышло? — спросил ротный.

— А шут его знает. Дуриком, товарищ командир. Я к краю проскочил — никого. Ну, думаю, упустили фри-цев. Потом приподнялся... — Но тут Сашке пришлось умолкнуть.

Заметили их, видно, разглядели в бинокли, потому как перенесли огонек прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться. Одно успокоение — если прибьют, то с немцем заодно. Близо рвались мины, взметая клочья земли, вырывая с корнями кусты, и все это носилось над их головами, потом падало, вжимая их еще больше в сухую, желтую, прошлогоднюю траву... Но все это было привычное, испытываемое ими каждодневно и потому особого страха не вызывало и не могло забить того радо-стного, что ощущалось, — ведь первого немца взяли!

Захотелось Сашке курить, прямо невмочь, и стал он сворачивать сигарку.

— И мне сверни, — попросил ротный.

Немец вроде с любопытством смотрел, как рвет Сашка газетку, насыпает махру, сворачивает недрожачими пальцами, спокойно прислуживает, и все это под огнем, когда то здесь, то там рвутся мины, свистят осколки. А Сашка, видя внимание немца, делал это еще неспешней, еще размеренней — дескать, плевать мы хотели на ваш огонь... Но еще большее удивление, если не сказать — недоумение, вызвало у немца то, как Сашка, вынув кресало и трут — «катушей» они это называли, — начал выбивать искру, а она, как назло, то не выбивалась, то выбивалась слабая, и трут никак не загорался. Тогда немец заворочался, полез в карман... Ротный его руку, лезшую в карман, прихватил, но тот зажигалку вынул и протянул ее лейтенанту.

Ротный обмундированием от Сашки не отличался: такая же телогрейка, грязью заляпанная, ремня широкого командирского ему еще не выдали, такое же оружие у него солдатское — автомат. Только маленький кубарь в петлицах отличает его, но немец рассмотрел.

Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. Был он вроде бы Сашкин одноклассник, лет двадцати — двадцати двух, курносый и веснушчатый, на вид прямо русский. Напомнил он Сашке лицом одного его друга деревенского — Димку. Тот чуть поскуластей был и поплотнее. С Димкой Сашка в борьбе не справлялся, и была у них либо ничья, либо бывал Сашка побежденным.

Ротный взял зажигалку, чиркнул, прикурил и дал огня Сашке. Улыбнувшись, сказал:

— Гляди, какие мы вежливые. — Повертел зажигалку, рассматривая, и подал ее обратно немцу.

— Хорошая зажигалка, — сказал Сашка и добавил: — Всё не кончат никак, заразы. Прибьют тебя свои же, фриц. Ферштеен?

Немцу было не до «ферштеен» — кровь из носа хлестала не переставая, и весь платок, который он прижимал к лицу, был красный. Есть такие, подумал Сашка, чуть до носа дотронешься — и сразу кровь. Видно, немец из таких. Правда, ударил Сашка, не жалея кулака,

до сих пор костяшки пальцев ноют. Кабы не обстрел, перевернули бы немца на спину, может, кровь и перестала, но сейчас не до того — ужались в землю, аж до боли в животах, скорей бы пронесло...

— Может, рванем, товарищ командир? — предложил Сашка, но ротный покачал головой: порядочно до роци, могут пулеметом прихватить, место-то открытое.

Но вот наконец начинает сбавлять силу налет, редчают разрывы, тихнет вой над головой... Чавкнули в стороне две мины, видать последние, и затихло все.

Они пролежали еще немного, докуривая, потом ротный сказал что-то фрицу по-немецки и, прихватив его руку, резко поднялся, за ним немец, потом и Сашка. И все трое — ходу, без перебежек, в свою роту. Хоть и нет там ничего — ни укрытий, ни окопов, ни щелей, только шалашики, — но попривыкли к ней, словно дом родимый...

Влетели, запыхавшись, а их уж встречают. Стабунилась рота около сержанта, и стыда не заметно, что не помогла, а отлеживалась, пока Сашка с ротным немца брали. И сразу к немцу поближе, оглядывают, любопытничают.

Немец стоял потупившись, переминаясь с ноги на ногу, руки длинные болтались как-то потерянно, но страха особого не выказывал. Был он без шинелишки, в сереньком мундирчике с погонами, в коротких сапогах, довольно побитых, с аккуратной заплатой на голенищах. Роста он был повыше Сашки. Лицо в грязи и крови. Воротник мундира в красных разводах.

— Ранен он, что ли? — спросил один из бойцов.

— Да нет. Это я по носу его вдарил, — не без гордости ответил Сашка.

Подошел к ротному сержант, пробормотал виновато:

— Простите, товарищ командир. Сплошали. Отрезал немец. И хотим к вам пробиться, да через огонь не перескочишь. Больно густо бил.

— Ладно, — вроде добродушно ответил ротный, но сержант подошел ближе и шепнул что-то. Ротный нахмурился, помрачнел и скомандовал Сашке резко: — Веди немца ко мне.

Но тут один из бойцов, недавно к ним прибывший из пополнения, но быстро здесь освоившийся, озорной такой парень, сказал немцу с вызовом:

— Ну что, фриц... Манили нас сигаретами, так давай закуривать.

Немец понял и вытащил из кармана небольшой портсигар и протянул его ротному, но без суеты и подобострастия. Ротный отказался. Тогда Сашке. Но тот тоже отрицательно помотал головой — раз ротный не берет, и он не будет. Немец отвел руку с открытым портсигаром к ребятам, те брезговать не стали, навалились, и фрицевский портсигар мигом опустел, да и было там сигарет восемь. Только один замахнулся на немца:

— Да иди ты, гнида, со своими сигаретами!

Остальные задымили вдумчиво, не спеша, оценивая немецкий табачок, и вроде не одобрили — крепости мало, с нашей «моршанской» не сравнить.

После этого повел Сашка немца к землянке ротного (выкопали ему недавно через силу, вышла не ахти, но все ж не шалашик) и там остановился. Немец все прижимал платок к носу, но, видимо, кровь пошла на убыль. Ротный пришел скоро, в глазах былой радости нет, озабоченный чем-то, смурной...

— Забрали у нас немцы одного раззяву, Сашок...

— Неужто? Это, верно, напарника моего, с кем на посту стоял... Когда «братцы» кричал, чую, голос знакомый, а чей, не пойму. Эх, негоразд какая!

— Это очень плохо, — сказал ротный серьезно.

— Достанется вам?

— Не в этом дело, — махнул рукой ротный и приказал немцу спускаться в землянку.

Сашка слышал, как балакают они что-то по-немецки. Потом крутил ротный телефон и разговаривал с помкомбатом.

Привалился Сашка к пеньку, вытянул ноги и только тут почувствовал охватившую тело усталость и тянущее изнутри ощущение пустоты в желудке, которое прихватывало их всех по несколько раз на день.

Немец вылез из землянки красный, со сжатыми уп-

рямо губами и какими-то ошалелыми глазами, а ротный, наоборот, побледневший и злой.

— Вот тебе рапорт начальнику штаба. Ну и сам расскажешь, как все было. И веди немца.

— В штаб?

— Да. И смотри, чтоб не случилось чего с немцем. Он мне главного ничего не сказал.

— Во паразит! — удивился Сашка.

— Перехитрили они нас. Пока мы, раскрыв рты, их болтовню слушали, остальные уходили с этим... раззявой. Этот фриц, которого ты взял, прикрывал переводчика. Вот такие дела. Понял?

— Вот гады, — пробормотал Сашка. — Кто бы мог подумать...

— Ну ладно, после драки кулаками не машут. Иди. — Ротный махнул рукой, а Сашка, сменивший уже диск в автомате, щелкнул затвором и скомандовал немцу «КОММ».

Немец поежился от звука взводимого затвора и пошел, поначалу часто оборачиваясь на Сашку, видно боясь, что тот может стрельнуть ему в спину. Сашка это понял и сказал наставительно:

— Чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем.

Немец, опять посеревший, сморщил лоб, стараясь понять, что толкует ему Сашка, который, видя это, добавил:

— Мы, — ударил он себя в грудь, — ни хт шиссен тебя, — устали палец на немца. — Ферштеен?

Теперь тот понял, кивнул головой и пошел резвее, посматривая по сторонам. Изредка недоуменно пожимал плечами, покачивал головой, а иногда чуть кривился в улыбке. Это, как понял Сашка, дивился он никудышной нашей обороне. А чего дивиться? Мог бы рассказать Сашка, как с ходу после ночного марша бросили их в атаку на Овсянниково, да не раз и не два... Потом каждый день ожидали — сегодня опять идти в наступление. Чего ж перед смертью мучиться, окопы в мерзлой земле колупать? Земля — как камень. Малой саперной лопатой разве одолеешь? Потом, в апреле, во-

дой всю рощу залило, каждая махонькая воронка ею наполнилась. Ну, а сейчас, когда пообсохло малость, силенок уже нет, выдохлись начисто, да и смену со дня на день дожидаем. Чего тут рыть? Придут свеженькие, пусть и роют себе... Но немцу этого не расскажешь, да и незачем тому это знать... Просто взял Сашка левее сразу, в глубь леса, чтоб миновать расположение второй роты, хотя и хотелось ему форснуть перед знакомыми ребятами своим немцем.

Здесь, в роще, много наших, советских листовок было разбросано, когда немцы еще тут находились. Пользовали их на завертку самокруток, на розжиг костров и еще кое для чего.

В одной они разобрались без труда: была там таблица, сколько немцы в нашем плену продуктов получают. «Брот» — столько-то, «буттер» — столько-то и всего прочего столько-то... Выходило богато! Особенно в сравнении с тем, что они сами сейчас здесь получали. Даже обидно стало. Начальника продснабжения бригады без матерка не поминали, но, когда в апреле концентрат-пшенку получили с отметкой на этикетке, что выпущена она в марте месяце, задумались...

Так вот сейчас попалась на глаза Сашке эта листовочка, поднял он ее, расправил и дал немцу — пускай успокоится, паразит, и поймет, что русские над пленными не издеваются, а кормят дай Бог, не хуже своих.

Немец прочел и буркнул:

— Пропаганден.

— Какая тебе пропаганда! — возмутился Сашка. — Правда это! — Немец еле заметно пожал плечами, а Сашка, не успокоившись, продолжал: — Это у вас пропаганда! А у нас правда! Понял? Мог я тебя прихлопнуть? Мог! Гранату под ноги — и хана! Валялся бы сейчас без ног и кровью исходил. А я не стал! А почему? Потому как люди мы! А вы фашисты!

— Их бин ниht фашист, — сказал немец.

— Ну да, рассказывай... Скажи — Гитлер капут! Скажи! — Немец молчал. — Вот зараза так зараза! Значит, фашист, раз молчишь.

— Их бин ниht фашист, — упрямо повторил немец. — Их бин дойче зольдат. Их бин дойче зольдат.

— Заладил — зольдат, зольдат... А ну тебя! — махнул рукой Сашка. — Что я, с тобой политбеседу проводить буду! Пропади ты пропадом!

Немец листовку все же не бросил, а, сложив аккуратно, положил в карман мундира.

Встречались на передовой и другие наши листовки. На одной была фотография девушки в белом платье с аккордеоном, а рядом парень в гражданском, и написано было: «Немецкий солдат! Этот счастливый час не вернется для тебя, если ты не сдашься в плен...» Ну и, конечно, что будет обеспечена жизнь, возвращение домой после войны и прочее... Эту листовку ротный им перевел. Вот эту бы немцу дать почитать, но что-то ее по дороге не попадалось.

То, что немец не стал повторять «Гитлер капут», вначале разозлило Сашку, но, поразмыслив, он решил: значит, немец не трус, не стал ему поддакивать. А раз так, победа над ним показалась Сашке более значительной. Разве уж таким дуриком он взял его? Все же проявил смекалку и красноармейскую находчивость. И, что ни говори, смелость. Ведь с пустым диском немца догонял.

Прошли они почти половину пути... Эти две версты до штаба последнее время Сашка без передыха не осиливал. Ходил всегда через вторую роту, там и делал перекур, чтоб поболтать со знакомыми. Правда, почти совсем не осталось однополчан-дальневосточников, один-два на роту...

И теперь, почувствовав слабинку в ногах, решил Сашка приостановиться и малость передохнуть. Должна быть тут недалеко большая воронка, а около — поваленное взрывом дерево. Вот на нем и посидеть можно. Забыл только Сашка, что рядом лежат там еще не захороненные убитые, а немцу смотреть на них ни к чему. Но было уже поздно сворачивать, подошли вплотную.

Воронка была доверху наполнена черной водой, в которой плавали желтые прошлогодние листья, обертки от махорки и табака «Беломор», какие-то тряпки, бинты. Тут можно и в порядок себя привести, обмыться да почиститься. В штаб же идут, не куда-нибудь.

Сашка первым набрал в ладони воды, плеснул на лицо и жестом пригласил немца последовать его примеру. Тот постоял, посмотрел на застойную воду, поморщился, потом взял свой окровавленный носовой платок, пополоскал его и стал вытирать лицо и воротник мундира. Сашка после умывания стал свою телогрейку отряхивать, грязь с брюк счищать и даже попытался налипшую глину с ботинок соскрести, и все норовил перед немцем быть, загораживая телом полянку, на которой и лежали наши.

Немец, глядя на Сашку, тоже стал отряхиваться. Закончив приводить себя в порядок, Сашка присел на ствол поваленного дерева и сказал:

— Передохнем, фриц... — и стал наскребать из кармана махру, но немец, присевший рядом, не замедлил вытащить смятую пачку с несколькими сигаретами и предложил Сашке. — Попробуем вашего табачку, — не отказался Сашка.

Немец чиркнул зажигалкой, поднес огонек. Задымили...

«Жаль, немецкого не знаю, — подумал Сашка, — поговорил бы...» Многое можно было спросить у немца, но немецкие слова, что учил он в семилетке, все выветрились, призабылись, а если и всплывали в памяти какие, то не те, которые нужны. Вертелся в голове какой-то «Геноссе Купфербарт» из учебника, а вот спросить, какая у них в Овсянникове оборона, сколько народа, сколько орудий и минометов, слов нет. Не то учили, зубрили стишки какие-то. И для чего? А многое было Сашке любопытно: и как у немцев с кормежкой, и сколько сигарет в день получают, сколько рому и почему перебоев с минами нет, да мало ли что можно было спросить?

Про свое житье-бытье Сашка, разумеется, рассказывает бы не стал, хвалиться пока нечем. И со жратвой туго, и с боеприпасами. Но это все временное: далеко от железной дороги оторвались, распутица. Еще стояли в Сашкиных глазах газетные январские фотографии, когда гнали немцев от Москвы, — и трупы их замерзшие, и техника брошенная, и какие они были жалкие, в бабьи платки закутанные, с поднятыми воротниками жид-

ких шинелишек... Какие у них шинели хлипкие, Сашка знает, просвечивают насквозь, с нашими не сравнить.

Тут немец кинул случайно взгляд на полянку, покачал головой и залопотал что-то по-своему, из чего только «шлехт... зэр шлехт» Сашке было понятно. Сам знает Сашка, что плохо, но нету силенок ребят хоронить, нету... Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах. Но немцу об этом не скажешь, он и так нагляделся предостаточно на то, на что ему глядеть не положено.

А немец, подняв две веточки с земли, обломил их, соединил крестом, показывая Сашке, как хоронят они своих. Знает это Сашка! Видал в Малоярославце, как всю площадь центральную березовыми крестами немцы украсили.

Озлился Сашка и, вспомнив немецкое слово «генуг», прервал немца резко:

— Генуг! Хватит болтать! Не твоего ума дело! — Немец сразу осекся, умолк. — Ты мне скажи, чего с моим напарником, что в плен к вам попал, делать будете? Шиссен, наверное? Иль пытать будете?

Немец, кроме «генуг», ничего, конечно, не понял, но при слове «шиссен» вздрогнул, сжался, лицо побелело... И тут понял Сашка, какая у него сейчас страшная власть над немцем. Ведь тот от каждого его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит. Он, Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. Захочет — доведет до штаба живым, захочет — хлопнет по дороге! Сашке даже как-то не по себе стало... И немец, конечно, понимает, что в Сашкиных руках находится полностью. А что ему про русских наплели, одному Богу известно! Только не знает немец, какой Сашка человек, что не такой он, чтоб над пленным и безоружным издеваться.

Вспомнил Сашка, был у них в роте один больно злой на немцев, из белорусов вроде. Тот бы фрица не довел. Сказал бы, при попытке к бегству, и спросу никакого.

И стало Сашке как-то не по себе от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком.

— Ладно уж, — сказал он, — кури спокойно. Раухен.

Немец сразу в лице изменился, оживел, бледнота сошла... Курил он мелкими, неглубокими затяжками, не как они — взхлеб, вдыхая дым что есть мочи, чтобы продрало до самого нутра.

Интересно, доволен фриц, что в плен попал, что отвоёвался? Или переживает? В плену, ясно, не радость, но живым-то останется.

Что касается самого Сашки, то он плена не представлял. Лучше руки на себя наложить. Но можно и не успеть. А если раненый, да без сознания? Вот замешкался бы он утром с этими валенками, мог бы и прозевать немцев, могли бы и прихватить его. Даже дрожь пробежала по телу — бр-бр...

Размышляя об этом, Сашка искоса поглядывал на немца. Любопытно ему, кем этот фриц на гражданке был. Может, тоже из деревни? Припомнив, как по-немецки «рабочий» и «крестьянин», он спросил:

— Ты кем был? Арбайтер или бауэр?

— Штудент.

— Вот оно что... — протянул Сашка. Значит, вроде ротного их. Выходит, грамотный немец, а в Гитлере не разобрался. — Эх ты... штудент, а пошел с фашистами...

— Их бин ниht фашист, — как-то устало перебил его немец.

— Это я уже слышал. Ну ладно, отдохнули, и хватит, — поднялся Сашка. — Пошли.

Как ни старался Сашка вести немца так, чтоб не попадались убитые, нет-нет да натыкались они на них, и опять стыдно было Сашке, что незахороненные, словно сам в чем-то виноватый.

При подходе к Чернову, где штаб расположен, увидел Сашка на опушке свежую могилку — настоящую, закиданную лапником и даже с венком из еловых веток. Звезды фанерной, правда, не было (не успели, видно), но могилка как могилка, будто в мирное время. Приостановился Сашка. Кого же похоронили так? Ладно, дойдем, узнаем у ребят...

В деревне было пусто... И верно, расхаживать по ней днем не очень будешь. На пригорке она и прямо напротив Усова, что немцем занято, и просматривается отту-

да куда хорошо. Каждый раз, приходя сюда то с донесением, то когда раненых помогал приносить, примечал Сашка, как уменьшалась и без того малая эта деревенька... Вот и сейчас увидел: не стало сарая, где они первую ночь укрывались, дома крайнего тоже нет, одни головешки, ну и воронок поприбавилось.

Всю дорогу, пока вел сюда немца, где-то на самом краешке души затаенная хоронила у Сашки надежда: а вдруг его с немцем в штаб бригады отправят? Далекое это, за Волгой, туда-обратно целый день протопаешь, но могла быть у него тогда *встреча*, о которой мечтал и в глубине сердца держал все эти месяцы. Поэтому сейчас, подходя к штабу, где могло все решиться, Сашка забеспокоился. Хотя и не любил он ни у кого ничего просить, тут решил даже попроситься, как бы в награду за то, что немца полонил.

Изба, в которой штаб батальона находился, была пока целехонькая, только рядом две воронки здоровые — это, наверно, после бомбежки самолетной, что недавно была. На крыльце сидел боец с винтовкой, покуривал, греясь на солнышке. Увидев Сашку и немца, вскочил:

— Гляди, ребя, фриц!

Из дома выскочили несколько человек связистов, уставились.

— Это ты его? — спросил один.

— Ну я, — вроде неохотно, но с достоинством ответил Сашка. — Мне к начштаба. Тут он?

— Нет никого. Всех в штаб бригады вызвали.

— Куда же мне его? — кивнул Сашка на немца.

— Ждать придется... Или к комбату веди, он у себя. Только, понимаешь, больной он сейчас, не в себе... — сказал один. — Знаешь, где блиндаж его?

— Знаю.

— А может, не стоит капитана тревожить? — вступил другой. — Несчастье вышло: убило вчера Катеньку нашу. Переживает комбат...

— Значит, ее могилка на опушке? — спросил Сашка упавшим голосом. — Жалость-то какая...

— Ее. Когда хоронили, страшно на комбата глядеть было — все губы покусал, почернел весь.

Вспомнил Сашка, как на марше, когда они с ротным

подтягивали отстающих в хвосте колонны, подъезжал комбат на белом жеребце, сам в белом полушубке, к штабным саням и ласково справлялся, не замерзла ли, сидевшую там сестренку из санроты... Катей ее вроде звали. Эх, жалко дивчину! Очень жалко. И зачем только берут их на войну? Неужели без них не обойтись? Каково им среди мужиков-то? Хорошо, что остальные девчата в тылу, за Волгой, но и там может всякое приключиться. Засосало у Сашки под ложечкой — ничего он про Зину не знает... Последний раз на разгрузке сиделись, попрощались, и все... А времени два месяца прошло — для войны время огромное.

— Ладно, поведу к комбату, — решил Сашка.

У комбатовского блиндажа, не особо крепкого, тоже, видать, на скорую руку сделанного, сидел на бревнышке, полуразвалясь, комбатов связной — парень расторопный, но нахальный (знал его Сашка, из одной дальневосточной части они были). Лицо красное, загорелое, наверно, часто на солнышке припухает, глаза полужакрытые и будто хмельные.

Поднялся он лениво, поправил на груди автомат, скользнул взглядом по немцу небрежно (словно видал их каждый день) и процедил:

— Привет.

— Здорово, — ответил Сашка, уязвленный немного равнодушием связного к его немцу.

— К комбату, что ли?

— К нему.

— Нельзя! — резанул тот и сделал шаг к двери.

— Я ж с немцем, разве не видишь?

— Нельзя!

— Чего заладил? Пойди доложи. Разведка немецкая сегодня на нас нагрянула. Выбили мы их и вот фрица взяли. Доложи.

— Не велел комбат никого пускать. Понял?

— Понял. Знаю, что у вас. Но куда мне с фрицем? Может, его в бригаду вести надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен.

— Ты его, что ли, взял?

— А кто же?
— Кроме тебя, народу на передке нет, что ли, чудило?

— Я самолично. Только под конец ротный подмогнул.

— Герой! — усмехаясь и, видно, завидуя, процедил связной.

— Может, и не герой, а повозиться пришлось. Я ж его с пустым диском, брат, в рукопашной. Ну, иди доложи.

— Фриц-то не из здоровых, — оглядывая немца, сказал тот. — Такого невелико дело взять.

Сашка озлился, хотел было съязвить насчет мурла, которое наел тот на тыловых харчах, да раздумал.

— Иди доложи. — Уж очень надеялся Сашка, что пошлет его комбат в бригаду немца вести, потому и настаивал.

— Уж так и быть, — снизошел связной и стал спускаться в блиндаж.

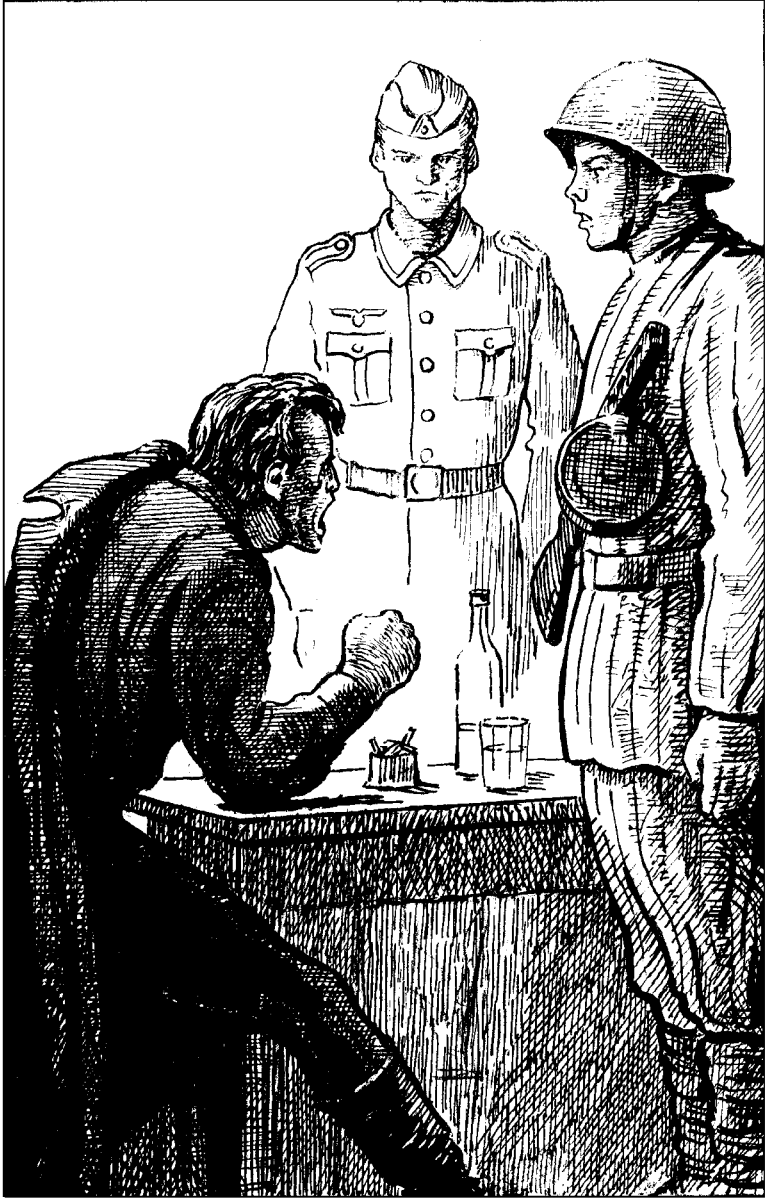
Немец что-то забеспокоился, вытащил свои сигареты, быстро прикурил, жадно затянулся несколько раз. Дал сигарету и Сашке.

— Ты не робей, — решил подбодрить немца Сашка. — Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял?

Немец, разумеется, не понял, но одернул мундир, подтянул пояс, поправил пилотку, а лицо его, несмотря на суетливость движений, наоборот, как-то поспокойнело, отвердилось, хоть и побледнело. Губы упрямо сжались, на лбу складка наметилась.

— Проходите, — не поднимаясь, а снизу пригласил связной.

В блиндаже было совсем темно, только керосиновая лампа с разбитым стеклом тускло мерцала в углу стола. После света Сашка не сразу и разглядел комбата, сидевшего в глубине в наброшенной на плечи шинели. И, разглядев, не узнал. Всегда чисто выбритый, подтянутый, в белом подворотничке, сейчас комбат имел вид другой — обросший, со спутанными волосами, лезшими ему на лоб, в расстегнутой гимнастерке, согнутый, с отвисшей нижней губой и черными кругами около глаз, необычный и страшноватый.



— Докладывайте, — приказал он негромко, взглянув на Сашку и немца мертвыми, пустыми глазами.

Сашка вытянулся, набрал воздуха, но что-то мешало ему... Он откашлялся, скользнул взглядом по столу, а там — разбросанные окурки, куски черного хлеба, бутылка водки, кружка, банка консервов початая, раскрытая планшетка с картой, и понял, что вот этот беспорядок на столе и вид самого комбата мешают ему начать.

— Я слушаю. — Комбат отпил из кружки.

Сашка вдохнул еще раз и громко начал с того, как обрушили на них немцы утром огонь невиданной силы, как...

— Тише, — перебил капитан, поморщившись.

Это сбило Сашку, и он скомкал все остальное — как навалилась неожиданно немецкая разведка, как пришлось, опасаясь окружения, отойти за овсянниковский враг...

Тут комбат позвал к столу и велел показать на карте, откуда пришла разведка. Сашка показал и, закончив доклад, передал рапорт ротного.

Комбат прочитал записку, вскинулся вдруг, поднялся резко во весь рост, стукнувшись головой о потолок, выругался и, ударив кулаком по столу, закричал:

— Разини! Своего проморгали! А вы тут заливаете — выбили, отбили, в плен взяли... А своего упустили! Судить буду ротного! Судить! — Он опустил на стул, хлебнул еще из кружки, сминая «беломорину», сломал ее, взял другую, закурил и усталился на немца.

Тот вытянулся по-солдатски и вначале глядел на комбата прямо, но потом, не выдержав упорного, тяжелого капитанова взгляда, вздрогнул, потупился и отвел глаза.

Капитан тем временем поднялся, вышел из-за стола и медленно надвигался на немца. Сашка глянул на комбата, на побелевшие его глаза, на сведенные губы, и пробрала его дрожь — такого взгляда не видел он у людей никогда.

— Немец... — прохрипел капитан, подойдя вплотную. — Вот ты каков, немец...

Тот отшатнулся.

Комбат не переставал смотреть на немца немигающи-

ми мутными глазами, пока тот не отступил назад, прижатый взглядом капитана к стене блиндажа.

— Сейчас ты мне все расскажешь, фашист, все... — продолжал капитан. — Толик! Где разговорник?

Ординарец бросился к топчану, вынул из-под матраца русско-немецкий словарь и подал комбату. Тот отошел к столу, сел и буркнул:

— Выйдите оба!

Сашка вышел из блиндажа мало сказать расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось. А думалось: порадуетя комбат «языку», похвалит Сашку, поблагодарит. Не исключал он и стопочку преподнесенную, и обещание награды... ан нет, по-другому все обернулось. И за ротного беспокоило стало: неужто и вправду судить будут? Сержант же подвел, не смог с перепугу людей сосчитать. Кабы хватились сразу, разве отдали бы? Поднялись бы в атаку, отбили бы Сашкиного напарника... Да... и комбат нехорош сегодня...

Начальство Сашка уважал. И не только потому, что большинство командиров были старше его по возрасту, но и потому, что понял он за два года кадровой — в армии без этого нельзя. И теперь ему было неловко за комбата, что не в своем он виде, хотя горе его понимал... Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного...

Вот когда поднялись они из-под взгорка — серые, страшные, нелюди какие-то, — это были враги! Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно! Но когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым... Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе...

Привалившись на бревнах около блиндажа, опять Сашка почувствовал, как сморила его усталость — обмякло тело, залипли веки, зазевалось. И захотелось ему растянуться прямо тут и вздремнуть хоть минутно. Ска-

зались и ночь неспаная, и напруг во время обстрела, и драка с немцем из последних сил... Чуток попротивившись сну, он все же не выдержал, прикрыл глаза и провалился, ушел от тягомотины этого утра.

Очнулся он, когда тряхнул его за плечо комбатовский ординарец:

— Слушай! Хватит дрыхнуть! Не говорит твой немец ничего. Понял? Ни номера части, ни расположения. Ничего, сука, не говорит.

Из блиндажа неясно раздавался хриплый капитанов голос, кричавший на немца.

Сашка протер глаза.

— Он и ротному ничего не сказал. Такой немец... — проговорил Сашка, подавляя зевоту.

— Ничего, — продолжал Толик, — у капитана заговорит. А не расколется — к стенке!

— Чего городишь? — уже проснувшись окончательно, встревожился Сашка.

— А чего с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.

— А ты бы заговорил, если бы в плен попал?

— Чего равняешь?

— Так он тоже присягу небось принимал.

— Кому? — возмутился Толик. — Гитлеру-гаду! Ты что-то запутался, герой. — Он снисходительно похлопал Сашку по спине. — Нельзя нас с ними равнять. Понял?

— Именно, — сказал Сашка. — Раз они гады, значит, и мы такими должны быть? Так, что ли, по-твоему? Ты листовки наши для немцев читал?

— Нет.

— То-то и оно. А там написано: обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны. Вот так.

— Так это если добровольно сдастся, если расскажет все. А этого ты в бою взял, и говорить он, сука, ничего не желает.

— Ладно, дай покурить лучше. Труха у меня одна, — попросил Сашка, а у самого зависло в сердце что-то тяжелое от этого разговора.

— Держи. — Толик протянул туго набитый кисет с вышитой надписью: «Бей фашистов».

— У вас тут с табачком, видать, получше.

Сашка оторвал газетки побольше и махры прихватил не стеснясь. Цигарка свернулась на славу, раза три можно прикладываться.

— Фриц сигаретами угощал, но не тот табачок — до души не доходит, — добавил Сашка, затянувшись во всю силу, и, выдыхнув дым, спросил: — Откуда кисет такой?

— Подарок из тыла. Прислали тут посылочки с Урала.

— До нас что-то не дошло, — заметил Сашка, возвращая кисет, а потом спросил: — Много капитан выпил?

— По нему не поймешь. Как Катю вчера утром похоронили, так и начал. И ночью не спал, небось подкреплялся.

— Как убило-то?

— Шла из штаба в блиндаж, и убило... У нас здесь тоже потерь хватает.

— Ну, с нашими-то не сравнить.

— Не скажи... Вы сами виноваты, капитан говорит, окопов вырыть не можете.

— Тебя бы туда. Рассуждать легко, а мы еле ноги таскаем, не до рытья, — стало Сашке обидно. Что они, враги себе? Кабы могли, разве не выкопали бы?

Никто на передовой особо в душу к Сашке не лез, никто особо не интересовался, что чувствует, что переживает рядовой боец Сашка, не до того было. Только одно и слышал: Сашка — туда, Сашка — сюда! Сашка, бегом в штаб с донесением! Сашка, помоги раненого нести! Сашка, этой ночью придется в разведку! Сашка, бери ручной пулемет!

Только ротный, бывало, перед тем как приказать что-нибудь, хлопал Сашку по плечу и говорил: «Надо, Сашок. Понимаешь, н а д о». И Сашка понимал — надо, и делал все, что приказано, как следует.

Но на все, что тут делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он — не слепой же! — промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки... И с распутицей этой, на которую теперь все валят,

что-то не так. Разве весна негаданная пришла? Разве зимой припасов нельзя было заготовить? Просто худо пока все, недохват во всем, и воевать, видать, не научились еще. Но в том, что вскорости все изменится к лучшему, Сашка ни на минуту не сомневался.

От дыма, что глотал густо, кружило в голове, и хотелось ему сейчас только одного — поскорей бы с немцем все кончилось и отпустили бы его обратно в роту. На то, что в штаб бригаады направят, уже не надеялся — не та обстановка сложилась.

— Может, идти мне можно? Разберетесь тут с немцем без меня? — спросил он у Толика.

— Разобраться-то разберемся, будь спок, — насмешливо осклабясь, ответил тот. — Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания твоему ротному с тобой отправит.

— Муторно что-то... — вздохнул Сашка.

Из блиндажа слышался только комбатов голос, а немца словно и не было. Молчит, зараза! А чего молчит? Рассказал бы все, выложил начистоту, и отпустил бы его капитан. Упрямый немец. Зло на него поднялось у Сашки — все задумки из-за него, гада, пошли прахом. И вообще неурядь вышла — и дивчину эту убило, и комбат из-за этого не в себе, и в штабе никого, и немец не раскалывается... Всё к одному.

Наконец затихло в блиндаже, и потянулась тишина... Сашка уж полцигарки искурить успел, а оттуда ни слова. Думает комбат чего-то...

— Ко мне! — расколол тишину капитанов голос.

И Сашка с ординарцем, слетев мигом с лестницы, оказались опять в полутьме блиндажа.

Желтый свет керосиновой лампы освещал капитана сбоку, резко обозначая морщины у губ и прямую складку у переносицы. На столе лежал русско-немецкий разговорник и зловеще поблескивал вороненым металлом капитанов пистолет. Немец стоял в тени, и когда Сашка, проходя вперед, коснулся его плеча, то почувствовал, как бьет немца дрожь.

У капитана ходили желваки на скулах и играли руки. Он стоял — большой, в свалившейся с одного плеча шинели и оттого какой-то скособоченный, странно не-

похожий на себя прежнего, прямого и собранного. Он грузно опустился на табуретку, вытирая пот со лба и откидывая одновременно назад волосы, и тихо, словно бы через силу, выдавил:

— Немца — в расход.

У Сашки потемнело в глазах и поплыло все вокруг — и стены блиндажа, и лампа, и лицо комбата, даже качнулся Сашка... Но потом, придя в себя, бросился к немцу, схватил того за грудки и закричал:

— Да говори ты, гад! Говори! Убивать же будут! Понимаешь? Говори, чего капитан спрашивает! Говори, зараза!

Немец, обмякший, недвижимый, только мотнул головой и закусил губу.

— Не понимаешь? Шиссен будут! Тебя шиссен! Говори...

— Прекратить! Не ломайте комедии! — крикнул капитан и, размяв чуть дрожащими пальцами папиросу, уже спокойнее добавил: — Выполняйте приказание.

— Вы мне, товарищ капитан? — упавшим голосом спросил Сашка, отпуская немца.

— Вам, — негромко сказал капитан, а Сашке показалось, будто гром с неба. — По исполнении доложить. Толик, пойдешь с ними, проверишь.

— Есть проверить! — вытянулся тот.

— Товарищ капитан... — начал заикаться Сашка. — Товарищ капитан... Я ж обещался ему... Я листовку нашу ему показывал, где все сказано... Где у тебя листовка? — подался он опять к немцу. — Где папир, которую тебе дал? Покажи капитану!

Немец, возможно, и понял, но даже рукой не шелохнул, чтоб достать листовку. Тогда Сашка рванул карман его мундира, выхватил оттуда сложенную аккурат-но бумажку и ринулся к комбату:

— Вот она, товарищ капитан! Там сказано... Вы ж по-немецки читаете... Вот она!

Комбат листовку не взял, отстранил ее от себя будто брезгливо, и обескураженный, растерянный Сашка сунул ее опять в карман немцу.

— Сколько у вас в роте было человек? — спросил капитан, упершись в Сашку тяжелым взглядом.

— Сто пятьдесят, товарищ капитан.

— Сколько осталось?

— Шестнадцать...

— И ты гада этого жалеешь?! — гаркнул капитан, переходя на «ты».

— Я... я... не жалею... — У Сашки сметало рот, занемели губы, и он еле-еле выдавливал слова.

И сказал он неправду. Жалел он немца. Может, не столько жалел, сколько не представлял, как будет вести его куда-то... К стенке, наверно, надо (читал он в повестях о Гражданской войне, что к стенке всегда водили расстреливать), и безоружного, беспомощного стрелять будет... Много, очень много видал Сашка смертей за это время — проживи до ста лет, столько не увидишь, — но цена человеческой жизни не умалилась от этого в его сознании, и он пролепетал:

— Не могу я, товарищ капитан... Ну, не могу... Слово я ему давал, — уже понимая, что ни к чему его слова, что все равно заставит его капитан свой приказ исполнить, потому как на войне они, на передовой и приказ начальника — закон.

— Какое право имел обещать что-то? И кому — фашисту!

— Он не фашист, — вырвалось у Сашки.

— Выпить бы ему, товарищ капитан, перед этим, — осторожно вмешался Толик, чуть побледневший и наглость свою малость утративший.

Но капитан оставил это без внимания — и Сашкин возглас, и предложение Толика. Глядя на Сашку в упор, отчеканил:

— Повторите приказание!

Сашка утер рукавом липкий пот со лба... Он видел: пошло дело на принцип, и капитан от своего не отступится, придется покориться. Но повторить приказание просто физически не мог, не раскрывался рот, залип язык...

— Повторите приказание! — уже раздраженно и повысив голос, сказал комбат и потянулся к пистолету.

Толик дернул Сашку за полу ватника — не валяй дурака, дескать, а то плохо будет. Так понял его жест Сашка.

— Я жду! — прикрикнул капитан и положил ладонь на ручку ТТ.

Ординарец дернул Сашку еще сильнее, и Сашка, уже обессиленный этим неравным поединком, прошептал чуть слышно:

— Есть, немца — в расход...

— Не слышу! — перебил капитан.

— Есть, немца — в расход, — погромче повторил Сашка.

— О выполнении доложить!

— О выполнении доложить...

— Теперь сначала и как следует!

— Есть, немца — в расход. О выполнении доложить.

— Выполняйте! — Капитан отвернулся от Сашки и сел.

— Есть выполнять. — Сашка попытался повернуться по-строевому, но не получилось, не было силы в ногах, и услышал вслед:

— Отставить!

Пришлось еще раз. Старался Сашка прицелкнуть каблуками, но заляпанные грязью ботинки звука не давали, и ожидал он опять «отставить», но комбат сказал только:

— Выполняйте.

Сказал тихо, каким-то усталым, без прежнего напора голосом.

Когда Сашка повернулся, немец, понявший все, без Сашкиной команды пошел к выходу, тяжело топая ногами по лестнице. За ними вышел и Толик.

— Ты чего ломался? — бросился он на Сашку. — Из-за этого гада жизни лишиться хотел? Видишь же, не в себе капитан. Такой, он все может...

— Ладно, не суети... — Сашка неверной рукой стал выбивать искру и прижег свой чинарик. — Обещал я жизнь немцу. Понимаешь?

— Чокнутый ты, что ли? Обещал он! Тоже мне, командующий нашелся! Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье... Приказали — исполнил! А ты...

— Не суети, говорю. — Сашка глубоко втянул в себя дым, даже раскашлялся и сказал немцу: — Кури тоже...

Тот вытащил свои сигареты и, видно забыв про свою

зажигалку, потянулся к Сашке прикурить дрожащей сигаретиной. И тут столкнулся Сашка с его глазами...

Много пришлось видеть на передовой помирающих от ран ребят, и всегда поражали Сашку их глаза — посветлевшие какие-то, отрешенные, уже с того света будто бы... Умирала глаза раньше тела. Еще билось сердце, дышала грудь, а глаза... глаза уже помертвевшие. Вот и у немца сейчас такие же... Отвел Сашка взгляд, потупился.

А капитанский ординарец, когда немец сигареты доставал, ухватил цепким взглядом часы на его руке и уже не отпускал.

— Боишься ты, что ли? — сказал он, вскинув автомат. — Давай я.

— Не балуй! — ударил Сашка рукой по стволу ППШ. — Горазды вы тут... Ты бы взял его наперед, а тогда...

— Да я пошутил, — поспешил Толик.

— Нашел чем...

— Куда поведем фрица-то?

— Не знаю.

— К сараю пойдём, в сторону.

— погоди, дай человеку докурить.

— Слушай, а куда ты трофей денешь? — спросил наконец Толик, не сводя взгляд с часов на руке немца.

— Какой трофей? — не понял Сашка.

— Часики фрицевские.

— А, часики... Что ж, трофей законный, в бою добытый... Ротному отдам. Ему без часов нельзя, а свои разбил он намедни при обстреле.

Толик помялся немного, потом сказал вроде небрежно:

— Я бы тебе буханку черняшки дал... за часики-то...

— Нет, ротному отдам.

— Обойдется твой ротный... Махры могу пачку в придачу. Идет?

Сашка слушал вполуха, а сам соображал, что же такого придумать? Хоть и повторил он приказание комбата, но до сих пор представить не мог, как выполнять его будет. И решил он, что надо наперво отделаться от этого Толика, чтоб не мешался. И он закинул:

— Может, я тебе часики и за так отдам.

— За так? — удивился тот.

— За так, — повторил Сашка. — Только не мешайся. Договорились?

— А чего я тебе мешаю? Я приказ получил — проверить.

— Потом и проверишь. А я хочу без тебя это *дело* сделать. Понял?

— Как хочешь. Мне смотреть на это — удовольствия никакого.

На немца Сашка не глядел. Не мог глядеть. Однако, пересилив себя, повернулся к нему и хотел было подойти и часы снять, но увидел, что немец, видно догадавшись, о чем речь у них шла, стал сам ремешок у часов расстегивать, только не мог — дрожали пальцы. Остановился тогда Сашка.

— *Потом* тебе часы отдам... Понимаешь? — бросил он Толику.

— Понимаю, — тихо ответил Толик, а сам в лице изменился, побледнел, сробел видно, и сказал немцу как бы с сожалением: — Эх, фриц, надо было шпрехен. Понимаешь, шпрехен. А теперь на себя пеняй.

Немец его не слушал. Он вынул из кармана листовку и стал рвать ее на мелкие куски, бормоча что-то, и только слово «пропаганден», повторенное не однажды, понял Сашка. Хотел он было крикнуть: «Не смей нашу листовку рвать! Не смей!» Но... не крикнул, только кольнуло сердце — сроду никого он не обманывал, а тут обманул. И в чем? В самом главном, чего уже не поправишь.

— Пошли, — сказал он немцу.

Медленно, тяня шаг, двинулись они к полуразрушенному сараю — впереди Сашка, за ним немец, а Толик в хвосте. Сарай этот Сашке памятен. Ночью после самого первого их наступления дали немцы огня по тылам, и под этим сараем погребены человек двенадцать его однополчан-дальневосточников. И до передка не дошли ребята, и все молодые, Сашкины однолетки. У сарая до сих пор трупным духом веет. Остановились...

— Здесь и решать будешь? — спросил Толик.

Но у Сашки свои мысли.

— Нет, больно близко к штабу... Вон туда поведу, — показал Сашка на пепелище, черневшее по обеим сторонам большака, что проходил в полуверсте от Чернова. — А ты меня здесь подождешь.

— Чего ты крутишь, герой? — подозрительно оглядел Толик Сашку. — Надеешься, одумается капитан? Нет, брат, он не такой. Что сказал...

— Подождешь? — перебил Сашка.

— Подожду, — как-то странно ответил тот, оглядывая Сашку.

Что делать и как быть, Сашка еще не решил. Разные мысли метались, но ни одной стоящей. Может, встретится кто из начальства и приказ комбата отменит (по уставу последнее приказание выполняется), может, комиссар и начштаба вернутся, тогда все в порядке будет — отменит комиссар приказ этот непременно... Может быть, обойти это разорище, что на большаке, и, минуя Черново, в роту податься и к помкомбата сразу?.. Ничего-то пока Сашка не решил, но знал одно — это еще в блиндаже, когда приказ повторял, в голове пронеслось, — есть у него в душе заслон какой или преграда, переступить которую он не в силах.

— Побудь с немцем чуток, я мигом, — попросил он ординарца.

— Куда ты?

— Только немца не тронь! А то часики тебе не понадобятся, — пригрозил Сашка больше так, чем по делу. Видел он, что Толик похвалиться любит, а сам слабак.

— Валяй, иди. Не трону, не бойся.

Сашка затрусил к штабу батальона — авось пришел кто, может, дежурный есть?

И верно, сидел на перилах крыльца незнакомый лейтенант, видать из пополнения. Сашка к нему. Козырнул и напрямик:

— Такое дело, товарищ лейтенант. Немца я в плен взял, к комбату привел, а тот...

— Что?

— Ну, не в себе комбат немного... И приказал немца — в расход.

— Ну и что вы хотите?

— Нужен же немец... Отмените его приказание.

Лейтенант удивленно вскинул голову, подумал и спросил:

— Допрашивал его комбат?

— Допрашивал вроде, — в подробности Сашка вдаваться не стал.

Лейтенант опять подумал, провел рукой по подбородку.

— Мда... Не могу я, брат, отменять приказание комбата, когда он здесь, на месте. Понял? *Не могу.*

Сашка махнул рукой досадливо и побежал обратно, но вскоре на шаг перешел, а потом и остановился совсем. Не забежать ли в санчасть, там военврач — мужик хороший и по званию тоже капитан, его попросить за немца вступиться? Да нет, едва ли тот станет. Строг комбат, все его побаиваются, повернет кругом, и весь разговор.

— Ну как? — усмехнулся Толик. Видел он, как Сашка с лейтенантом разговаривал.

— Дожди меня здесь. Приду, вместе на доклад пойдём.

— Ну, хорошо. — Толик с любопытством смотрел на Сашку. Понял он, хочет Сашка как-то выкрутиться, но ничего у него не получится. — Смотри только... Ты капитана не знаешь, он на руку скорый. Учти. Из-за тебя и я рискую.

— Не пугай. С передка я. Пошли, — кивнул Сашка немцу.

Шел Сашка позади немца, но и со спины видно — мается фриц, хотя виду старается не подавать, шагает ровно, только плечами иногда передергивает, будто от озноба. Но когда поравнялся с ним Сашка, кинул взгляд, лица немца не узнал — так обострилось оно, построжало, посерело... Губы сжатые спеклись, а в глаза лучше не глядеть.

Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно-снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел по-другому, серьезней и даже с некоторым уважением — блюдет свою солдатскую присягу фриц, ничего не скажешь. Только обидно, что

зазря все это, ведь за неправоное дело воюет! И захотелось Сашке сказать: «Эх, задурили тебе голову! За кого смерть принимать будешь? За Гитлера-гада! Эх ты...» — однако не сказал, понимая: не до слов сейчас, не до разговора, когда такое страшное впереди.

На половине пути немец остановился и попросил покурить. Сашка разрешил, и они остановились. Закурив, немец опять стал совать пачку с сигаретами и зажигалку Сашке в руку.

— Не надо, себе оставь, — мотал головой Сашка, отказываясь, но фриц совал и совал.

Хотел было сказать Сашка, что сгодятся еще ему сигареты, но не сказал — не может он его зря обнадеживать, может, и верно, не нужно будет курево немцу. Пришлось взять и сигареты, и зажигалку.

Пока стояли, обернулся Сашка — Толика уже было не видно, да и Черново лишь крышами виднелось. А погорелая деревня, которая на большаке, почти рядом. Если в штаб бригады идти, надо этот большак пересечь и по полю до леса, а через лес к Волге. И только за ней уж Бахмутово будет. Далеко. Если до этого была у Сашки мысль вести немца в штаб бригады, то теперь отошла — нет у него права без приказа в такую даль идти, дезертиром могут счесть запросто.

Немец шаг сузил, а Сашка подгонять не стал. Так и шли еле-еле, а куда спешить?..

Немец всю дорогу слюну глотал часто, и дергался у него кадык, и у Сашки тоже в горле комок давит, дышать мешает. Понимает он, чего немец сейчас испытывает, какую тяготу несет, и завел с ним Сашка мысленный разговор: «Понимаешь, какую задачу ты мне задал? Из-за тебя, язвы, приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, трибунал, а может, комбат в горячах прихлопнет? Есть у него такое право — война же! Ты вот листовку порвал, «пропаганден, пропаганден» бормотал, а каково мне было глядеть, как ты нашу листовку рвешь? А что мне было сказать, когда из-за капитана вышло, что брехня эта листовка. А не так это! Правда она! И писалась людьми повыше комбата. И что мне теперь делать? Что?» — закончил он безответным вопросом.

А пепелище уж близко... Вот подошли они к первой сожженной избе. Надгробием торчала печная труба из груды пепла. Немец в нерешительности приостановился, но Сашка повел его дальше, чтоб из Чернова было их не видно. Вокруг пепелище, кое-где остались стены изб обгоревшие, а так только уголья чернели да что железное сохранилось: кровати искореженные, чугуны, сковороды, ну и кирпичи битые. Немецкая, видать, работа. При отходе сожгли, сволочи! Вот поджигателей этих стрелял бы Сашка безжалостно, если б попались, а как в безоружного? Как?..

Тут подумал Сашка: а как бы ротный на его месте поступил? Ротного на горло не возьмешь! Он бы слова для капитана нашел! А что Сашка — растерялся начисто, лепетал только «не могу»... Да что может Сашка, рядовой боец, которому каждый отделенный — начальник? Ничего вроде бы. Но хватило же у него духу капитану перечить, а сейчас такое умыслил, душа переворачивается — приказ не выполнить! Да кого? Самого командира части.

Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что ему приказали. И еще третье есть, что сплелось с остальным: не может он беззащитного убивать. Не может, и все!

Остановился Сашка. Приставил ногу и немец. Близко стоят друг против друга. Поднял голову немец, глянул на Сашку пустыми, неживыми уже глазами, и предсмертная тоска, шедшая из них, больно хлестнула по Сашкиному сердцу... Отвернулся он и, забыв, что есть у него фрицевские сигареты, набрал в кармане махры, завернул цигарку, прижег... Потом очнулся и протянул немцу его пачку. Тот помотал головой, отказался, и понял Сашка почему: небось решил, что последняя перед смертью эта сигарета, и не захотел этой милости.

— Кури, кури... — не убирал Сашка пачку.

Немец опять вскинулся, и пришлось Сашке принять его взгляд, а лучше бы не видеть... Померкшие глаза и

мука в них: чего тянешь, чего душу выматываешь? Приказ есть приказ, ничего тут не поделаешь, кончай скорей... Так или не так понял Сашка его взгляд, но обдал он его такой тоской, что впору и себе пулю в лоб.

Поглядел он с надеждой на поле — не идет ли кто? Нет, не видать. Он и вышел-то сюда, к пепелищу, потому что отсюда поле почти до самого леса проглядывается, и, если будет начальство из Бахмутова возвращаться, он издалека увидит, а как увидит, побежит сразу навстречу и к комиссару...

И тут послышался какой-то крик со стороны Чернова. Обернулся Сашка и обмер — маячила вдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом напрямик к ним, а рядом ординарец Толик, то забежавший поперек капитана, то равнявшийся с ним. Он-то и кричал что-то — наверно, Сашку звал.

Побледнел Сашка, съезился, облило тело ледяным потом, сдавилось сердце — идет комбат, конечно, про-верить, исполнен ли приказ его! И что будет-то?..

Кинул он тоскливый взгляд опять на поле, а вдруг... Но пусто поле. Тогда вышел Сашка из-за обгоревших бревен показаться Толику, чтоб не орал он, ординарец, заметивший его, перестал кричать и размахивать руками.

За спиной Сашки тяжело задышал немец, подошедший и тоже увидевший идущих. Задышал часто, с хрипом, словно воздуха ему не хватало.

«Теперь все! Теперь уже ничего не придумаешь! — безнадёжно пронеслось в Сашкиной голове. — Конец теперь немцу...»

Комбат был без шинели и без фуражки (ушанку он вообще не носил, даже на марше в метели лютые в фуражечке красовался), воротник гимнастерки расстегнут, незатянутый ремень оттягивался кобурой, но походка была твердая, не качнулся ни разу.

Вспомнил Сашка: так же вот ровно шел комбат в последнем их наступлении на Овсянниково, когда ни ротные, ни помкомбата не смогли поднять вконец измученных, перемаянных людей. Красиво шел... Глядели на него тогда с восхищением и поднялись, как один, через немоготу и усталость... И теперь прет, как танк, срав-

нил Сашка, потому как ощущения были схожие — тогда он знал, что никуда не денешься, и сейчас тоже...

И секундной вспышкой мелькнуло — ну, а если... хлопнуть сейчас немца и бегом к капитану: «Ваше приказание выполнено...» И снята с души вся путань... И, не тронув автомата даже, только повернувшись чуть к немцу, увидел Сашка: прочел тот мысль эту секундную, смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык...

«Нет, не могу...» Прислонился Сашка к уцелевшей полуобгорелой стене — такая слабость охватила, но в душе нарастало: «Не буду, не буду! Пусть сам комбат стреляет. Или своему Толику прикажет. Не буду!»

И когда решил так бесповоротно, вроде спокойней стало, только покой этот — покойницкий... Лишь бы скорей подходил комбат, лишь бы скорей все это кончалось. И немцу маета эта невпроворот, и Сашке...

А капитан с ординарцем все ближе и ближе... Ну, что комбат делать будет? Силой заставит немца угрожать? Есть в уставе такое — обязан командир добиться выполнения своего приказа во что бы то ни стало и, если нужно, оружие применить. Или просто за невыполнение приказа Сашку на месте кокнет?

Уже шагах в сорока они. Видно, как попыхивает сбитая в самый угол рта папироска, как треплет ветром незачесанный чуб на лбу капитана, и ждать уж недолго.

И стал Сашка считать капитановы шаги, чтоб не думать ни о чем: «Раз, два... семь, восемь... двенадцать... двадцать, двадцать один... тридцать... тридцать четыре, тридцать пять...»

Совсем рядом комбат... Что будет-то? Приослаб Сашка, но все же нашел в себе силу выйти навстречу и, остановившись, вытянуться под стойку «смирно» и уставиться в лицо комбата.

Тот тоже остановился, широко расставил ноги и глянул на Сашку, но долго взгляда не задержал, хотя Сашка глаза не отводил, а прошелся вскользь, переводя потом на немца, тоже ненадолго... Откинув прядь со лба, комбат затянулся сильно папиросой и вроде задумался, уставившись в землю.

Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолетно: что, допрыгался, предупреждал я...

Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маятными, такими же мытарными... И тихо бывало так же. Только теперь за спиной Сашки шумно глотал слюну немец и поскрипывали его сапоги на переступающих на одном месте ногах.

Комбат докурил, затоптал носком сапога брошенный окурок, опять отбросил налезший на лоб клочок и, шагнув к Сашке, уперся в него своим неморгающим тяжелым взглядом.

«Теперь конец, — подумал Сашка, — сейчас закричит, затопает, вытащит пистолет, и что тогда?»

Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нем чувство собственной правоты, встретил взгляд капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить: «Ну, что будешь делать? Меня стрелять? Ну, стреляй, если сможешь, все равно я правый, а не ты... Ну, стреляй... Ну...»

Чуял Сашка; озлится комбат на его непокорный ответный взгляд, но на Сашку тоже накатило, ничего ему не страшно, будь что будет... И верно, раздул капитан ноздри своего чуть кривоватого, с горбинкой носа, но не закричал, не затопал, к кобуре руку не потянул, а глядел на Сашку хоть и сурово, но без злобы, очень серьезно и вроде раздумчиво, — может, отошел малость, одумался...

Это дало Сашке надежду, и вызов в своих глазах он погасил, и смотрел на комбата уже без дерзости, но твердо, хотя и колотилось сердце как бешеное, отдаваясь болью в висках.

И отвернул глаза капитан.

— Пойдем, — сказал он пораженному ординарцу, который хотел было что-то вякнуть, но не вякнул, а повернулся кругом, еле успев задеть Сашку недоуменным взглядом.

Сашка же стоял окаменело в той же стойке «смирно», все еще не сводя глаз с комбата, все еще не зная, радоваться ему или нет.

Уже на ходу, на миг остановившись, комбат повернулся к Сашке и бросил:

— Немца отвести в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

У Сашки zaseкся голос ответить «есть», закружилось все, и чуть не осел он у обгоревших бревен, чувствуя, как железный обруч, стягивавший его голову все это время, начинает понемногу ослабевать и наконец отпускает совсем.

— Повторите приказание, боец! — словно издали услышал он капитана и, набравши воздуха, выдохнул:

— Есть отвести немца в штаб бригады! — очень громко, как ему казалось, а на самом деле еле слышно.

— Выполняйте! — Комбат зашагал так же ровно, неспешно, сильно размахивая левой рукой, а около него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые непонимающие взгляды на Сашку.

Сашка же вздохнул глубоко, полной грудью, снял каску, обтер со лба пот, провел рукой по ежику отросших за эти месяцы волос и окинул взором все окрест — и удаляющегося комбата, и большак, и церкву разрушенную, которую и не примечал прежде, и синеющий бор за полем, и нешибко голубое небо, словно впервые за этот день увиденное, и немца, из-за которого вся эта неурядь вышла, и подумал: коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым незабывным...

2

Поначалу, когда что-то толкнуло Сашку и сразу вдруг ничего не стало видно, кроме неба, он ничего не понял.

Только потом, когда вырвавшийся из рук котелок со звоном поскакал вдоль ручья, а левую руку в двух местах ожгло болью, до него дошло — *ранило*.

Но, обнаторенный двухмесячной игранкой со смертью, Сашка даже не повернул головы, лежал недвижно и только тихонько подвигал пальцами: шевелятся — значит, порядок, и только не колыхаться, немец-то наблюдает и, стоит шелохнуться, режет очередь. Но долго смотреть в одну точку тот стомится и, убедившись, что русский готов, удовлетворенно хмыкнет и потянется за сигаретами... Вот тогда можно рвануть, но как угадать?

И потому лежал Сашка застывшие, уставившись в

небо, чувствуя, как быркая вода, промочив ватник, заледенила спину, затекла в левый ботинок и ознобила все тело.

Но все же надо поглядеть, что сотворил немец с его рукой, и Сашка скосил глаза. Из разорванного в двух местах рукава телогрейки торчала вата, но не белая, а бурая, и два темных до коричневости пятна медленно расплывались вокруг дырок.

«Почему это кровь не красная?» — удивился Сашка, а потом испугался, что уйдет она из него вся без перевязки и не добратья тогда до саньзвода. И страсть как захотелось очутиться на верху оврага, перевязаться и немедля в тыл, пока есть еще силенка и пока не доби́ли.

Но что-то удерживало Сашку внизу — как бы не промахнуться. И, все так же бессмысленно глядя в небо, старался он представить себе немца, который его подбил. И виделся ему его враг не таким, каким был взятый им недавно в плен немец, а совсем другим — старым, с лицом злым и желтым, как у трупов, а из-под нахлобученной каски выпучен белесый, прижатый к окуляру глаз, нацеленный на Сашку, а скрюченный палец на спусковом крючке готов вот-вот сжаться, чтоб пустить очередь.

И вдруг словно воочию увидел Сашка, как отнял немец руку от оружия и зашарил ею по карману — но глаза все еще на прицеле, — как вынул сигареты, потом зажигалку, и тут... тут надо рвать! И Сашка не замешкался, вскочил рывком, охнул от боли, и пульей через ручей, и взлетом по склону оврага. Плюхнулся он на землю под первой же елью. Дальше не побежал — нельзя! Если приметил его фриц, то хлопыстнет поперед его, хлопыстнет наобум, но может и прибить...

И впрямь пулевая очередь проскочила впереди Сашки, посбивала ветки с деревьев, потом прорезала в правую сторону, где шел дальше редкий подлесок и где обитает его первая, битая-перебитая рота в тринадцать штыков — чертова дюжина, — измытаренная, оголодалая, мокрая.

Кривясь от боли, стащил Сашка с левого плеча ватник, засучил рукав гимнастерки и увидел рваное, раз-

вороченное мясо — одна из пуль прошлась касательно — и кое-как, наскоро перевязался.

Крови было почему-то немного, и подумал Сашка, что от этой треклятой жизни на передке ее вообще у него осталась самая малость. В голове кружило, тело обмякло в слабости, и захотелось курнуть, хоть одну затяжку сделать, чтоб приободриться, но одной рукой самокрутку не свернешь, да и табачишко у него — одна труха, придется перетерпеть.

«Ну что ж, — подумал Сашка, — полежу чуток, отдышусь и в тыл... Неужто отвоевался на время, неужто живым отсюда выберусь?» Даже не верилось.

Спустя немного поднялся он и небоязно — закрывали его тут деревья и кустарник — затопал по тропке, ведущей в тыл, но, не пройдя и десятка шагов, остановился... Постоял в нерешительности недолго, потом, махнув рукой, двинулся дальше.

На передовой такой порядок: если ранило, уходишь в тыл, отдай свой автомат или СВТ оставшимся, воевать которым, а сам бери родимую трехлинейную, образца одна тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, которую и сдашь в тылу. Будет проходить Сашка расположение второй роты, там и произведет обмен. Но его-то роте ППП тогда не достанется... Сашка опять приостановился. Да и с ребятами, и с ротным надо бы проститься, начал уговаривать он себя, потому как смертно не хотелось ему перебежать опять этот проклятуший ручей, возле которого не один десяток пробитых котелков и касок... И главное, уж больно редок лесок за оврагом, кустики одни да осинки тонкие. Сквозь них весь на виду будет Сашка, и только метров через сто станет укрытистей. Вот эти-то метры самые злые, и если приметит его там немец, врежет наверняка!

И Сашка заколебался... Конечно, фриц не ждет его обратно — какой дурак, ежели ранен уже, попрется назад, на тот гнилой болотный пятачок! — немец ждет кого другого, кто приползет за водичкой, и наблюдает, конечно, зараза. И дважды придется пройти Сашке под смертью — туда и обратно. А такая неохота, если добьют.

Но Сашка все эти страшные два месяца только и делал, чего неохота. И в наступления, и в разведки — все это ведь через силу, преодолевая себя, заколачивая страх и жажду жить вглубь, на самое доньшко души, чтоб не мешали они делать ему то, что положено, что надо.

Но сейчас-то это *надо* не так уж обязывало, потому как раненый он и имел право распоряжаться собой по своему и *надо* ему топтать поскорей по этой тропке, которая в тыл, которая к жизни, да поторапливаться, пока тихо, пока силы есть... Но пока эти мысли крутились в голове, ноги принесли его обратно к оврагу.

И здесь с ходу, даже не приостановившись — потому, если задержаться хоть на минуту, не заставить себя дальше, — бросился Сашка вниз по уклону, перемахнул через ручей и грохнулся на землю уже на той стороне, вжался в траву и замер, ожидая выстрелов, но их не было — проморгал фриц! Но сердце колотилось как бешеное, и пришлось Сашке некоторое время полежать, прежде чем поползти дальше.

Как ни старался он не беречь раненую руку, задевалась она о землю и мешала. Мешал и автомат, и диски у пояса, и гранаты, и каска, налезавшая на лоб, и не раз замирал Сашка для передышки.

Миновав это гиблое, прозрачное место, он приподнялся и заковылял в расположение роты, но не совсем в рост, а пригнувшись.

Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, кругом вода. Даже мелкие воронки от мин и те ею до полна, и уютлась, битая-перебитая, в шалашиках. Только у ротного был жиденький блиндажик, на бугорке выкопанный, но и в нем воды до колена. К нему-то и держал Сашка направление.

Ротный стоял у своего обиталища и, видно, ждал Сашку. Он ведь и послал его за водой к ручью.

— Вот ранило, товарищ командир, — словно извиняясь, доложил Сашка. — Снайпер поймал, чтоб его...

— Зачем вернулся? — перебил ротный.

— Автомат принес... Да и с ребятами проститься...

— Тоже мне, сантименты, — буркнул ротный свое любимое словечко.

— Неудобно же так, не доложив... — Сашка бережно опустил автомат на землю.

— Ладно. Не задерживайся только, чем черт не шутит...

— Закурить бы... Не завернете, товарищ командир?

— Сейчас.

Ротный вынул кисет и немного дрожащими пальцами стал крутить большую сигарку. Ему тоже это несподручно: руки-то у него перевязаны. Уж месяц, как пошла по ним какая-то болезнь нервная от этой их жизни, что невпроворот, но в санчасть ротный не шел, а когда ребята уговаривали, отделялся небрежно этими своими «сантиментами».

Сашка принял сигарку, поблагодарил, затянулся во всю мочь, и попыло все перед глазами — хорошо...

Подошли бойцы-товарищи, обступили Сашку, обглядели.

— Отвоевался, Сашок.

— По-легкому отделался — в ручку.

— Повезло черту...

— А он везучий, Сашка-то.

— К праздничку в тыл подается.

— Я говорю, везучий.

— За нас праздник отгуляй. Прижми в санроте сестренку какую за всех нас. — Это сержант сказал. На передке недавно, из разведки прислали. На несколько деньков его хватило анекдоты да байки про баб рассказывать, а потом заглох, сник, жадные глаза навывкат потухли.

— Он прижмет! Его самого сейчас... Верно, Сашка? С наших харчей не разбежишься.

Потом присели кто куда и откурили. Молча.

— Давай отваливай, Сашок. — Ротный тронул его за плечо. — Нечего рассиживаться.

Сашка поднялся. Конечно, надо идти, чего судьбу пытаться, но неловко как-то и совестно — вот он уходит, а ребята и небритый осунувшийся ротный должны остаться здесь, в этой погани и мокряди, и никто не знает, суждено ли кому из них уйти отсюда живым, как уходит сейчас он, Сашка.

И топтался он на месте, все не решаясь стронуться, пока ротный не прикрикнул:

— Прирос ты, что ли! Проводите его, сержант, до ручья.

— Сменят вас! Скоро сменят! Сколько ж можно? Сменят обязательно, — торопливо, словно боясь, что перебьют, залепетал Сашка. — Свидимся еще. Я из санроты ни ногой, дождусь вас беспременно.

— Ладно, не загадывай. — Ротный протянул руку. — Ну, бывай, Сашок, смотри, чтоб не добило. Не хочу я этого. Понял? — И подтолкнул тихонько Сашку.

— До встречи, ребята! — бодро выкрикнул Сашка и сам почуял фальшивину в этой бодрости, потому как знал он точно: никаких встреч со многими оставшимися здесь не бывать, а кому уж из них остаться здесь, на этой ржевской, набухшей от крови земле, — это уж судьба...

Сашку немного пошатывало, и сержант поддерживал его за локоть. Перед тем местом, откуда ползти надо, посидели они чуток, и скрутил сержант Сашке на дорожку самокрутку, да не из «легкого», а из махорочки. Продрала она до самого нутра, приглушила боль.

— Счастливый ты, Сашка... — не тая зависти, протянул сержант.

Хотел было ответить Сашка, что нечего пока ему завидовать: впереди ручей, два километра по передовой, да и Черново обстреливают. Верст шесть надо пройти, тогда можно сказать наверняка — отвоевался, а пока...

Но глянул на сержанта, а у того глаза словно пленкой какой подернуты, нехорошие глаза, и ничего не ответил, — конечно, счастливый по сравнению с другими-то.

Долго набирался Сашка духу перед оврагом — страшно через него идти. Пожалуй, ползком придется. Конечно, замокришься весь, в грязи изваляешься, зато фриц не заметит... Но неподобно Сашке, бывалому бойцу, праздновать напоследок перед немцем труса. И опять в рост метнулся он через овраг, и опять стрекотнула по нему очередь, и опять отлеживался он под той же елью... Только теперь немец так быстро не отстает, поливает и

поливает... Вот и мины пустил, зараза, чтоб ему провалиться, и шлепнулась одна прямо в ручей, обдав Сашку комьями грязи.

«Вот язвы так язвы! — шептал он. — Неужто не дадут уйти, гады?» Но где-то предчувствие — обойдется... Минут пятнадцать бушевал фриц, а для Сашки век целый.

«Теперь все, никаких задержек больше», — сказал он себе и что было сил затрусил по тропке. До второй роты шла она вдоль опушки, и виделось ему сквозь деревья поле, то страшное ржавое поле, по которому бегал и ползал и на котором мог бы остаться навечно, как остались многие его друзья-товарищи.

Там, где тропа сворачивала влево, в глубь леса, он приостановился и окинул последним оглядом это поле и попрощался мысленно со всеми, там оставшимися... Не его вина, что не разделил он их судьбу, выпал ему просто счастливый случай до времени, но впереди-то у него еще вся война...

Свернув в лес, Сашка успокоился. И идти тут легче — посуше.

Два месяца не гляделся он в зеркало. Тот осколочек, что употреблял при бритье, показывал ему только отдельные части лица, ну а осмотреть себя всего где уж...

А вид был у него не ахти: обгоревшая, заляпанная грязью телогрейка вся в дырах, брюки ватные в клочьях, из дыр на коленях просвечивали другие брюки, диагональные, тоже протертые, и виднелись из них бежевые теплые кальсоны, а потом уж и тело синело; ушанка, задетая пулей (каска-то не всегда надевали), тоже растерзана, обмотки цвет свой потеряли и рыжи от налипшей глины, а руки черные, обожженные... Грели их над костром, а когда задремлешь на миг, падали они в огонь безжизненно, оттого и ожоги.

Не один Сашка такой, все на передке такие же и как бы в порядке вещей, но сейчас ощутил он на себе весомость двухмесячной грязи и замечтал о бане: как прогреет в парилке вконец измерзшее тело, как сдерет с него коросту наросшей грязноты, как наденет после прожарки горячее белье и как избавится наконец от противного зуда, изводящего всех их постоянно... Даже блажен-

ная улыбка проползла по Сашкиным губам, когда представилось это, но в тот же миг очутился он на земле — тонко пропели две шальные пули над головой.

И понял он: ничего загадывать пока нельзя, слишком ненадежно пока его бытие. Так и смерть может захватить расплохом... И навалился на Сашку после этих пуль страх: как бы не добило.

Насколько позволяли силы, прибавил он шагу, проклиная голодуху. Из-за нее, проклятой, не может он сейчас убыстрить ход и плетется, как обезноженный, а не ровен час, надумает фриц из миномета бабахнуть или «рама» в небе загудит, которая хоть и для разведки, но может и бомбами закидать, что не раз бывало.

Лес погустел, потемнел, и пала на Сашку мысль, что не выпустит его передовая, что возьмет свое напоследок, не даст добраться до тыла живым, и так тошно стало, что остановился он, прислонился к ели и стал пытаться одной рукой сигарку завернуть, — может, легче станет. Сыпался табак, рвалась газетка, но кое-как прислонявил он самокрутку, кое-как выбил искру «катюшей» и закурил.

О многом передумалось здесь за эти месяцы, вдосьть набедовался Сашка под этими ржевскими деревеньками, которые брали, брали, да так и не смогли взять... Но ни разу не засомневался он в победе. Казалось уж яснее ясного — сильнее немец пока и воюет осторожно, людьми не раскидывается, ночами бережется... Сколько ракет надо иметь, чтобы вот так все ночи подряд запуливать их в небо без передыха, — уйму. Мин и снарядов тоже не жалеет. Значит, навалом их у него...

Но все же знал Сашка точно — не победить немцу! Да и деревни эти могли бы взять. Один раз совсем уже подобрался. Чуток бы огоньку да пару «тридцатьчетверок» — и хана фрицам.

Понимал он и то, что дело не только в недохвате снарядов и мин, но и порядка было маловато. Не научились еще воевать как следует что командиры, что рядовые. И что учеба эта на ходу, в боях идет по самой Сашкиной жизни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, но не *обезвѣрел* и делал свое солдатское дело как умел, хотя особых геройств вроде не совершал. И совсем не думал,



что одно нахождение *тут*, в холоде и голоде, без укрытий и окопов, под каждочасным обстрелом, является уже подвигом.

Наконец-то поредел лес, посветлело впереди, и должно вскоре показаться Черново. И тут вспыхнуло в Сашкиной душе чувство чего-то очень хорошего, что ждет его впереди, но он безжалостно погасил его. Не о доме то, не о матери... До дому ему не добраться. Ранение легкое, отлежится в санроте и опять айда обратно, но именно в санроте и ждало его то радостное, о чем и гадать было страшно, как бы не сглазить... И не разрешил себе Сашка никаких мечтаний — ох как далеке до настоящего тыла, и всякое может приключиться.

Мина слепнулась неожиданно, не предупредив воем, прямо на тропку впереди Сашки, оглушив, обдав землей и вонью, охолодив тело и швырнув его в неглубокую воронку, полную мутной рыжеватой воды. За ней еще одна, и еще... И подбирались они все ближе к нему.

Заметался он между деревьями, перебегая с места на место, надеясь по звуку угадать, куда она, стерва, шарахнет, хотя и знал: лучше залечь и не суетиться, все равно не угадаешь.

Но *сейчас* отдаться на волю случаю, как прежде, он не мог. Так близок и зрим был перед ним конец его маеты, так до отчаянности было обидно замертветь здесь, на этой тропке, которая в тыл, что не один холодный пот прошиб Сашку и никогда не мельтешил он так под обстрелом, никогда не падал на него такой неумный страх, вдавливающий его до боли в землю.

Немец обстреливал, разумеется, не Сашку... Огонь велся по Чернову и по подходам к лесу. Явственно прослушивалось шелестенье тяжелых снарядов над головой и громовое уханье их разрывов впереди.

Неспроста это, неспроста... Чего надумал фриц? Вдруг наступать? Вот незадача! Не дает уйти, гад, шпарит и шпарит.

Наконец устал Сашка перебегать туда-сюда и безвольно привалился к дереву — будь что будет... Сжался комком и только вздрагивал при каждом разрыве. Будь что будет... Даже глаза закрыл. Не судьба, значит, уйти живым с передка.

Но стон где-то совсем рядом встрепенул Сашку. А потом услышал он:

— Братцы... Есть кто поблизости? Братцы... Ранило меня... Санитаров бы...

Вот еще негораздъ какая! Матюгнулся Сашка, но на голос пополз.

Раненый — большой и грузный, из «отцов», с седой щетиной на квадратном подбородке — жадно хватал ртом воздух. На груди растекалось рыжее пятно.

Одного взгляда достаточно — плохо дело. Знал Сашка: если не перевяжешь сразу, не заткнешь дырку марлей, то раненные в грудь долго не тянут, помирают тут же.

— Вот, сынок, отвоевался, видать... — с трудом выпершил раненый.

— Пакет где? — спросил Сашка и, не дожидаясь ответа, осмотрелся. Шагах в трех валялась сумка от противогАЗа. — Там?

— Там.

Кое-как расстегнул Сашка ватник, задрал гимнастерку, рубаху. Из черной щели в груди толчками била кровь. Сашка поморщился. Стало страшно — а если б его так? Быстро сунул марлевую салфетку в рану, но, пока прилаживал бинт, пропиталась она уже кровью.

— Не выдюжу... — Раненый бессильно запрокинул голову, а изо рта пузырилась розовая пена.

— Ничего, потерпи. — Сашка тоже кривился от боли, пришлось и левой рукой действовать. — Что делать будем?

— Не уходи, сынок, долго не протяну.

— В санчасть тебя надо. Пойду я, санитаров пришлю. А ты лежи.

— Не найдут меня. Ты покричи, может, есть кто поблизости.

Не один раз видел Сашка смерть, и всегда дивило его, как безжалобно помирают люди. И не понимал он этой безропотности. А теперь вроде дошло — просто, когда ранит тяжело, нету уж сил за жизнь бороться.

Понимал Сашка, что, пока дойдет он до санзвода, пока придет оттуда помощь, будет уже поздно и един-

ственное, что он может сделать для этого человека, — остаться с ним, пока не умрет тот. Но такое бездействие не по Сашке, да ему и самому в тыл нужно, нужно скорей уйти отсюда. Немец пока приутих, но может и по новой начать. Так что же делать?

— Я пойду все же, — поднялся Сашка. — На тропке заметку сделаю для санитаров, найдут тебя. А так что? Пособить-то тебе ничем не могу...

Раненый не ответил, глаза прикрыл, только дышал взахлеб с хрипом.

— Слышишь? Пойду я. Ты потерпи, я мигом. И санитаров пришлю. Ты верь мне... верь.

— Прощай, парень...

— Ты дождись только. Обязательно дождись. Понял?

— Иди...

Сашка тронул холодную мягкую руку, сжал несильно и пошел. На тропке прочертил штыком глубокую стрелу и нацарапал: «*Раненый*». Вроде все сделал, а на душе как-то нехорошо.

На подходе к Чернову увидел он мечущихся из стороны в сторону бойцов, растерянно и зло кричащих командиров, — видать, новая часть прибыла. Вдруг им на смену? Хорошо бы. Тогда отвели бы их битую-перебитую на отдых, тогда не так совестно, что один он живым выскочил. И свиделись бы, может.

Но надо же, завтра Первое мая, а вновь прибывшие все в белых, новеньких, прямо со склада полушубках и валенках! Им-то в самые морозы в шинельках пришлось промаяться. Да и для немца примета — новенькие. Вот и угостил их сразу. Это он любит — ошеломить необстрелянных, примять страхом. Их тоже так перед наступлением разметали по всему передку, пустили кровушки.

...Возле дома, в котором санвзвод расположен, толпились раненые, все больше из прибывшей части (своего медпункта покамест еще не развернули), — очередь. Видя такое и поняв, что скоро его не перевяжут, протолкался Сашка вперед сообщить о своем раненом.

Запаренный военврач увидел Сашку и, зная его — не раз притаскивал он тяжелораненых, помогая санитарам, — бросил второпях:

— Обожди маленько, видишь, что тут...

— Я-то обойдусь, товарищ военврач, но в лесу раненый в грудь лежит, наш, с нашего батальона. Я там на тропке замету сделал. Надо бы санитаров поскорей, а то не доживет.

— Сейчас пошлю. Ну, что у тебя? Показывай.

— Ладно уж, может, до санроты и так дотопаю.

— Не валяй дурака! Быстрой!

Военврач оглядел Сашкины раны, перевязал и вкастил ему два укола.

— Недолго погуляешь, кость не задета. Уходи скорей, видишь, что здесь творится. Идиотство! Прибыли утром, да еще в полушубках. Из-за них весь сыр-бор.

— Небось нам на смену? — спросил Сашка с надеждой.

— Да нет, — пробурчал врач. — Куда-то в сторону направляются. Ну иди. — Врач улыбнулся и подтолкнул Сашку. — Сейчас тебе не больно будет и даже весело.

Сашка растолковал санитарам, где найти раненого, и хотел было уходить из Чернова, но посмотрел, как неспоро поплелись они, размахивая не в лад носилками, и чертыхнулся — знает он этих санвзводовских, на передок арканом не затащишь. Вернутся и скажут — не нашли, дескать, или что помер уже раненый. Кто их проверять будет? А потом вдруг замету его затоптали или мина в это самое место ненароком угодила? Тогда и будут искать — не найдут. А ведь он слово дал. Умиряющему — слово! Это понимать надо. И Сашка крикнул:

— Погодите, провожу вас! — и пошел им вдогон.

Те приостановились и удивленно глядели на Сашку.

— Рехнулся, что ли? — сказал один из них.

— А вдруг не найдете?

— Ошалел от морфину, — произнес другой. — Катись обратно, нечего судьбу пытаться. Мало тебе немец влепил? Добавки захотел?

И впрямь был Сашка словно пьяный немного, и с руки боль снялась. А главное, не страшно ему обратно к передку идти, хоть и «рама» в небе зависла, а после нее, как пить дать, жди обстрела...

Когда подошли к тому месту, и верно, стрелка, наца-

рапанная штыком, была почти не видна, а надпись «раненый» и вовсе стерта — прошелся, видно, по тропке народ, затоптал.

Раненый лежал там же. Глаза закрытые, но дышал.

— Ну вот, привел тебе санитаров, дядя. Не обманул. Слышишь? — нагнулся над ним Сашка.

Тот глаза приоткрыл, но ничего не ответил: обессилен, видно, совсем.

И тут Сашка, довольный собой, что слово сдержал и что раненый подмоги дождался, не помер, не зря, значит, санитаров он проводил, задерживаться больше не стал и весело, почти рысцой затрусил в тыл.

Над Черновом все еще кружилась «рама», высматривала, зараза, и деревня как вымерла, попрятались все кто куда, и новенькие в полушубках тоже скрылись, и прошел Сашка ее, никого не встретив, ни с кем из знакомых не простившись.

От Чернова дорога шла в низинку, и опять грязища, но тут недолго и до большака, вон и виднеется черными трубами разорища. Деревеньку эту сожженную Сашке не забыть... Тут он со взятым им немцем и стоял, дожидаясь комбата, маясь и не зная, что капитан с ним делает за то, что не выполнил он его приказ немца застрелить... Отсюда и повел фрица к штабу бригады, после того как капитан приказание свое отменил.

Большак Сашка пересек и пошел напрямик через поле к виднеющемуся вдали лесу. Не шибко разъезжена здесь дорога, да и дорогой-то не назовешь, так, протор какой-то, следы тощие, редкие. По ним как по писаному видно — бедует фронт.

От уколов докторских в Сашкиной голове туман приятный, боли в руке никакой, и шел он ходко, глубоко втягивая в себя чистый, пахнущий весной воздух, весной, которая и неприметна была там, на передке, где трупный дух и гарь забивали все ее запахи. И идти было хорошо, просторно, не надо под ноги глядеть — ни воронок тут, ни убитых.

Солнце било прямо в глаза, немного пригревало и радовало. На передовой его не жаловали и ясную погоду недолюбливали — из-за самолетов. При пасмурном, облачном небе было спокойней.

Когда дошел Сашка до подбора и пахнуло на него пряно хвоей, остановился он, вздохнул полной грудью, снял с головы ушанку, провел рукой по голове и осел на родимую землю, где желтую прошлогоднюю траву отдельными пучочками живила зелень нонешней. Сорвал несколько травинок, поднес к лицу, и только тут непрестанное напряжение, не отпускавшее его ни на минуту, даже во сне, все эти долгие кровавые месяцы нахождения на передке, начало понемногу сходить с него, и радость, что он все же живой, которой не давал до этого хода, нет, не нахлынула на него, а так, потихоньку начала пробиваться, просачиваться в душу... Столь долго держал себя Сашка на замке, что непросто было отомкнуться.

Но все же оживал он помаленьку... Оживал и разрешил себе теперь подумать о Зине, сестренке из санроты, с которой бегал вместе при бомбежках в эшелоне — вагоны их рядом были, — о Зине, которую прикрыл своим телом, когда шпарили «мессера» крупнокалиберными и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли.

Разрешил и сразу же забеспокоился: как она там? Хоть и в тылу она, конечно, от передней линии километров восемь, но это по Сашкиному понятию тыл, а вообще-то фронт тоже — и бомбить могли, и дальнобойной достать нетрудно, и всякое могло случиться.

И опять — в который уже раз — заглушил в себе радость Сашка. Не время еще. Дойти еще надо, встретиться, тогда...

Поднялся Сашка, потянулся, а потом остервенело здоровой рукой начал скрести по всему телу. Пригрело солнышко, и зазудело во всех местах, спасу нет.

Отчесавшись, побрел он дальше и вскоре вступил в сухой светлый сосновый бор, обжитый каким-то войском.

На передовой казалось: нет уже народа у страны, вроде побило всех за одиннадцать месяцев войны (ходили же Паново братья в двадцать штыков!), а людей вон сколько у неоскудной России-матушки! И в землянках настоящих живут, и кухни дымят, и сквозь маскировку танки виднеются, и для артиллерии позиции по всем

правилам (у них-то «сорокапятки» за кустиками стояли). Почему у них в бригаде так все боком вышло, задумался Сашка, но ответа не нашел, только стало на душе спокойней и уверенней от этой уймы народа и техники.

На Сашку поглядывали. На передке, видать, еще не бывали и любопытничали — вот как парня измочадило.

Подошел один лейтенантик молоденький, спросил:

— Ну, как *там*?

— Да ничего, — ответил Сашка и вроде не покривил душой. Издалека все прошедшее не казалось уж таким страшным, будто ничего особенного и не было.

— По тебе видно, досталось, — медленно и как-то раздумчиво произнес лейтенант, покачивая головой. — Закуришь?

— Это с удовольствием. С табачком неважно было.

— А с чем хорошо? — усмехнулся тот, протягивая Сашке завернутую сигарку.

Сашка поблагодарил, а на вопрос отмолчался — не зачем лейтенанту раньше времени знать, все у него впереди: и обгорит, и наголодуется, и в грязи изваляется...

Тронулся Сашка дальше и минут через несколько дошел до того места, где с начальством повстречался, когда немца вел. Здесь он с этим фрицем и распрощался. Тот все «данке, данке» лепетал и даже руку хотел Сашке протянуть, но сделал Сашка вид, что не заметил, — начальство же вокруг.

Забрал немца капитан из разведки и повел того в штаб бригады, а Сашка вместе с комиссаром, начштаба и другими командирами пошел обратно в Черново. По дороге комиссар спрашивал: чего это немец Сашку благодарил? Сашка ответил: небось за то, что пленил его, что живым теперь немец останется, вот и «данкал». Про комбата и его приказание расстрелять немца Сашка, конечно, ни слова не сказал.

Ну вот наконец и блеснула сквозь сосны Волга крутым поворотом, близится конец Сашкиного пути.

Берег этот угористый Сашка помнил. Лезли на него ночью по скользоте, падали, а кто и обратно вниз соскальзывал. Небо над ними, тогда уже расцветенное ракетами, показалось и багрянело дальним заревом.

И припомнилась ему та ночная маета, когда знали уже точно — *дошли!* И уже на рассвете примет их незнаемая и потому жутковатая передовая, и беспрерывно пойдут они утром в бой... В первый бой! А что это такое, ни Сашка, ни шедшие с ним люди еще не знали и даже не представляли, и потому стягивало сердце холодком, а изнутри шла и разбегалась по телу мелкая противная дрожь...

Остановился Сашка... Надо бы порадоваться, что стоит он живой на этом берегу, что достался ему случаем обратный билет *оттуда*, с той, почти необратной дороги на передовую, что развернулось уже на том берегу Бахмутово, целехонькое, непобитое, но сжато еще все внутри, напряжено, не пробиться радости в душу, особенно как подумаешь, скольким его товарищам не выдалось пути назад, сколько осталось *там*, на ржевской земле, перед теми тремя русскими деревеньками...

Внизу по воде сновали туда-сюда две плоскодонки — вот и вся переправа. Волга здесь, правда, неширока, но много ли таким манером перевезешь припасов? И съездов к реке никаких, ни на чем к воде не подъедешь, значит, вручную все, и снаряды, и провизию, на своем горбу по крутизне. И стало Сашке попонятней, почему они так бедовали. Выходит, зря материли начальника ПФС и все тыловые службы. Но уж очень обидно было — жизни люди клали, а ни курева, ни жратвы, ни боеприпасов.

Спустился Сашка к воде и стал ждать лодку. Тут еще несколько раненых, ходячих, находилось. Ребята незнакомые, из других батальонов, но выглядели не лучше. Видать, всем на этом пятаке досталось. Завернули Сашке самокрутку, дали огоньку, но разговора что-то не завязывалось. Все в себе, усталые невпроворот, глаза пустые, равнодушные — поскорей бы в санроту, отлежаться в тепле да сухости, а может, и в сытости. На последнее особо надеялись.

— А по переправе-то бьют, — заметил один из бойцов, показывая на воронки у берега.

— Скажешь тоже, далече же, — ответил другой, но, взглянув на воронки, поежился, словно от озноба. Верить в это никому не хотелось.

- Старые воронки. Чего пугаешь?
- А что? Врежет напоследок, и к рыбкам...
- Не болтай. Раз там уцелели, прорвемся...

Одна из лодок подошла к берегу и стала разгружаться. Сухари в бумажных крафтмешках с хрустом ложились на землю. У Сашки да и других, наверно, тошнотно заныло в желудках.

— Пожевать бы... — вырвалось у кого-то.

И направились мысли к другому. На завтрак они опоздали, придется обеда дожидаться, а каков он будет — с хлебушком или с сухарями, опять ли пшенка или в тылу чего другого дадут?

В лодку садились суетливо и, когда отошла она от берега, дружно вздохнули с облегчением — отчеркнет их от войны Волга.

Гребцы не спешили: за день наматываешься туда-обратно, а раненым хотелось, конечно, поскорей.

Шелестенье снаряда услышали все, мгновенно сжались, оползли со скамеек. Сашка свернулся в три погибели, уткнулся головой в колени, закрыл глаза — неужто добьют, гады?

Разрыва он не видел, но, по звуку, близко шарахнуло. Плеснуло водой, закрутило лодку... Потом рвануло еще два раза, но подальше. Гребцы поднажали, и, когда лодка резко ткнулась носом в берег, Сашка открыл глаза и выпрямился.

— Ну что, говорил я, долбанет фриц напоследок!

— Да иди ты к...

Выскакивали все из лодки резво и, не оглядываясь, заспешили от берега, только один Сашка почему-то не заторопился — каким-то слабым был, разбитым... Не хотелось ему таким вот встретиться с Зиной. Он постоял на берегу немного, теребя подбородок и стараясь успокоиться. Хоть и плохо рос у него волос на бороде, но все же кололось. Побриться бы где перед встречей. Да ладно, поймет Зина, что другим возвратиться он не мог, не с тещиных же блинов пришел. Беспokoило другое — как встретятся? Ведь два месяца прошло. И ничего вроде у них и не было... Ну, бегали вместе при бомбежках, ну, рванул он ее в сторону от пулевого веера, прикрыл

своим телом, ну, и поцеловались несколько раз... Но когда ночью при разгрузке эшелона глянул на нее, помахал рукой, понял, что роднее и ближе нет у него сейчас никого, а когда она, спрыгнув с вагона, подбежала к нему, прижалась холодным мокрым лицом и шепнула, чтоб возвращался он обязательно, что будет ждать его, то прищемило сердце какой-то сладкой болью и понял он, что готов для этой девчушки в шинели сделать все, что угодно, лишь бы было ей хорошо и покойно.

И потом в наступлениях, чтобы унять страх и поднять злобу на немцев, представлял Сашка, что идет он в отчаянные атаки не только для того, чтобы взять эти деревни, но идет защищать и ее, Зину, ждущую его там, за Волгой... И легчало от этого.

Но о встрече Сашка там не думал, вернее, отгонял мысли о ней. А теперь вот должна она произойти, вроде бы нежданная, но в то же время давно ожидаемая. А как?.. И потому шел медленно, как бы оттягивая эту минуту.

Бахмутова он почти не помнил... Тогда ночью темнели углами крыши домов как-то угрожающе и неприятно, знали ведь: приходит конец их пути и ждет их страшное и неизвестное *завтра*.

К приемному пункту для раненых подошел он последним и занял очередь, присев на крыльцо. Наскреб махры, попросил соседа завернуть и жадно затаился. Рука почти не болела, голод особо не сосал, тело не зудело — вроде бы все хорошо, но волновала предстоящая встреча и робел он как-то.

Когда подошел черед и направился он в перевязочную, Зину увидеть совсем не ожидал и потому, наткнувшись прямо на нее, похудевшую, с опавшим лицом, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то, а когда осмотрела она Сашку, и слезы.

В помещении, резко пахнущем лекарствами, находился еще врач в белом халате и незнакомый Сашке старший лейтенант.

Сашка шагнул к Зине, хотел было что-то сказать, непроизвольно потянул руки к ней, но она, отступив

в сторону и давая ему проход, почти беззвучно произнесла:

— Проходите, раненый...

Сашкины руки, повисев недолго в воздухе, бессильно упали, а сам он не сдвинулся с места.

— Ко мне проходите, ко мне, — сказал военврач вроде ласково. — Зина, снимите повязку.

Как во сне, подошел Сашка к столу, сел на табурет и протянул раненую руку Зине. Она ловко размотала бинт, но, когда присохшая подушечка отрывалась от раны, резануло болью, и Сашка еле-еле сдержал стон.

— Пошевелите пальцами. Вот так. Еще. — Врач осмотрел раны, потрогал руку и начал что-то писать.

— Опять в руку. И опять в левую, — поморщился старший лейтенант. — Обратите внимание, доктор. Слишком много у нас... таких ранений.

— Перевязывайте, Зина, — пропустил мимо слова лейтенанта врач.

— Я повторяю, товарищ военврач, обратите внимание!

— У него два пулевых ранения.

— Это ничего не значит. Они там умудряются по-всякому делать.

До Сашки пока не доходил смысл этого разговора. Он замирал и таял от прикосновения Зининых рук.

Но потом, поймав на себе подозрительный пристальный взгляд, догадался: этот аккуратненький, поскрипывающий новыми, еще не успевшими пожелтеть ремнями штабник в чистенькой гимнастерке с ослепительно белым подворотничком, не хлебнувший и тысячной доли того, что довелось Сашке и его товарищам, подозревает его, Сашку, что он... сам себя... Да в самые лихие дни, когда, казалось, проще и легче — пулю в лоб, чтоб не мучиться, не приходила Сашке такая мысль.

Кровь бросилась в голову, а горло будто петлей захлестнуло — ни вдохнуть, ни выдохнуть. Не помня себя, поднялся Сашка, шагнул на лейтенанта... Будь в руках автомат, невесть чего мог натворить...

— Да ты что?.. Ты что, старшой, сдурел, что ли? Ты что?.. — дальше Сашка слов не находил, только сжимал до боли, до хруста в костях пальцы правой руки.

Зина, охватив его сзади, потянула к себе, а лейтенант поднялся и цыкнул:

— Молчать! Прекратить истерику!

— Да ты роту... роту собери здесь... и я с тобой обратно на передок какой есть, раненый пойду! Понял? Пойдем! — Сашка захлебывался, выбрасывая все это. — Пойдем с ротой-то? Да в наступление, да в разведку! Посмотрел бы я на тебя там. Эх ты... — Сашка выругнулся и, притянутый Зиниными руками, рухнул на табуретку.

Из ран хлынула кровь, в глазах потемнело. Не держи его Зина за плечи, свалился бы на пол.

— Уйдите, старший лейтенант, — сухо сказал врач. — Зина! Морфий.

— Как его фамилия? — потянулся лейтенант к Сашкиной санкарте. — Распустились там совсем...

— Я прошу: выйдите и не мешайте работать, — повторил военврач.

А Сашка, бывалый боец Сашка, у которого все смерти на передке не выжали ни одной слезинки, вдруг забился во всхлипах вперемежку с ругательствами.

Словно в полусне, было остальное — как сделала Зина укол, как снова перевязала руку, как украдкой поглаживала его по голове, говоря, будто чужому:

— Успокойтесь, раненый... Успокойтесь...

Очнулся Сашка только на улице, когда солнечные лучи полоснули по глазам, а Зинина рука, сжав его локоть, повела по ступенькам крыльца.

— Что это я?... Психанул, никак? И матерился?

— Ничего, ничего... Идем до палаты. Отдохнуть тебе надо. Успокойся, обойдется все...

— Кто этот старшой?

— Из штаба... А кто по должности, не знаю.

— Вот оно что... Вы тут разве не слышали, что меня сам комиссар батальона к награде представил... за немца... А он...

— Ну его! Забудь об этом. Пойдем.

— погоди, закурю. — Сашка полез в карман за табаком.

— Давай заверну.

— Умеешь? — удивился он.

— Научилась, просят раненые-то.

Сашка поглядел на Зину — изменилась она. И не только что побледнела и похудевшая, а что-то новое в лице и глаза беспокойные.

— Ну, как ты тут?

— Что я? О себе расскажи.

— Что рассказывать? Видишь, живой я...

— Вижу, Сашенька... И не надеялась. Раненые такое рассказывали — сердце холодело. Спрашивала о тебе всех, а смешно — фамилию твою не знаю, в какой роте, в каком взводе — тоже. Никто ничего толком мне ответить и не мог. А целых два месяца... Господи, хоть весточку какую прислал с кем.

— Не до того, Зина, было... — Он опять взглянул на Зину. — Досталось и тебе, вижу. Скулы-то подвело.

— Вначале, когда первые бои шли, раненых было уйма, уставали очень. Сейчас чуть посвободней стало, так о тебе думала, как ты там...

— Думала-таки?

— А как же?.. Спас ты меня тогда, — сжала она легонько Сашкины пальцы.

— Ну, об этом ты не поминай, — перебил Сашка, а потом, помолчав немного, спросил: — А зачем он приходил в перевязочную-то?

Повернулись его мысли на происшедшее. Все же неудобь вышла — старшего лейтенанта да на «ты», да матом... Не то что Сашка боялся — чего ему бояться, когда самое страшное позади, — но не по себе как-то было. Ведь Сашка боец дисциплинированный, а тут вот как получилось...

— Ты про кого? — спросила Зина.

— Да про старшего этого.

Зина замаялась как-то, и он заметил это.

— Кто его знает? Зашел зачем-то... Не помню.

— А ты вспомни, — не отставал Сашка.

Зина помолчала немного в нерешительности, а потом сказала:

— Ладно, скажу, все равно узнаешь. Завтра же Первое мая. Так приглашал в штаб на вечер...

— На вечер? — недоуменно протянул Сашка.

— Да, на вечер. У них там патефон есть, баян... Танцы будут...

— Какие танцы! Врешь, Зина! Быть этого не может! — почти выкрикнул Сашка, и шатнуло его даже.

— Может, — ответила Зина. — Еще как может, Саша. Не пойду я, не волнуйся. Еще до тебя отказала.

— погоди. Как же это так... — все еще не приходил в себя он, все еще не укладывалось у него в голове услышанное.

Шагов пятьдесят они прошли, и только тогда смог Сашка осмыслить, что тыл есть тыл, конечно, и у него своя жизнь, что ничего, в сущности, нет зазорного, что будет праздновать он Первомай, что из какого-то НЗ будет и выпивка и закуска... Но то умом, а душой принять этого он не может. Ведь, что ни говори, бригаду-то почти всю побилло... До праздников ли тут, до вечеров ли?

— Успокойся, Саша, успокойся. Не пойду я, — говорила Зина, видя, что у Сашки подрагивают губы, а лицо будто почернело.

— Да, не ходи, Зина, — строго так сказал он. — Понимаешь, нельзя это... Веселиться нельзя, когда *все поля в наших!* Понимаешь?

— Понимаю, конечно. Не переживай ты. Сейчас уложу тебя на коечку, отдохнешь, поспишь... Хлеба принести тебе? У меня есть немного.

Сашка проглотил слюну, но отказался. Еще не хватало, чтобы он Зину стал объедать. Вот табачку бы... Кончился у него.

— Есть у меня, — радостно сообщила она. — Девчата на сахар меняли, а я оставила пачку...

— Надеялась все же, что вернусь я?

— Не очень, Саша, — как-то серьезно ответила она. — Но все же надеялась. Как без надежды-то?

Изба, к которой подвела его Зина, была большой, на две половины, и в просторной комнате стояло коек двенадцать — с одеялами и простынями! Даже не верилось Сашке, что ляжет он сейчас в настоящую постель.

Встретила их заунывная, тягучая песня, которую не то пел, не то выстанывал сидящий на койке и медленно

раскачивающийся из стороны в сторону раненый — одна рука по плечо отнята, другая без кисти. Этот отвоёвывался вчистую.

Зина откинула одеяло свободной койки, но Сашка запротестовал — куда он такой грязный да на простынь, так пока приляжет. Зина помогла скинуть ватник, и он присел.

— Отдыхайте, раненый. Сейчас принесу, что обещала, — сказала она и выскользнула из палаты.

Сашка огляделся: знакомых вроде нет. В их первой роте последнее время все чаще убивало либо ранило тяжело, а здесь все легкораненые — кто в ногу, кто в руку.

— Ну, как *там*? — спросил один, раненный в ногу. — Наступать фриц не думает?

— Вроде нет. А там кто его знает.

— А тут паникуют. Кто ходячие, сразу в тыл мотают. А мне вот на костылях далеко не уйти, сижу, жду у моря погоды...

— Кормежка как? — поинтересовался Сашка. Ни раны, ни уколы, ни волнения не забили противно тянущего из нутра ощущения пустоты.

— Не густо. Та же пшенка. Только с хлебушком.

Сашка вздохнул: ладно... Зато в тепле, в сухости и в покое, а со жратвой перетерпеть можно.

Пение безрукого на всех нагоняло тоску, но как ему скажешь? Понимали: мучается человек и от боли, и от того, куда же ему теперь без двух рук-то? Куда? И собственные ранения казались пустячными, а о том, что ждало их после выздоровления, не задумывались, призывали на фронте жить часом, а то и минутой.

Сашка прилег не раздеваясь — ну, оторву минуток шестьсот! — но сон не приходил.

— А я тут, в санроте, останусь, — сказал он, воображая, как месяц целый, никак не меньше, будет он с Зиной вместе.

— Ну и дурак! — раненный в ногу погасил чинарик о спинку койки и сплюнул. — Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. И вообще чем подальше отсюда, тем спокойней... А ежели немец поперет? Прихлопнет запросто. Сам знаешь, сколько народу на передке, раздавит сразу.

— Не раздавит. За Волгой людей много. И танки даже есть.

Вошла Зина и, подойдя к Сашкиной кровати, сунула незаметно ему под подушку пачку махорки.

— Не спишь почему?

— Сам не знаю.

— Я к вечеру высвобожусь, приду. Надо спать, раненый, — досказала громко.

Сашке донельзя хотелось прикоснуться к ней, взять ее руку в свою, погладить, но при народе неудобно, да и видел он: не хочет Зина открываться при посторонних.

— Приду... — Зина поглядела на него каким-то особенным, обещающим взглядом, от которого бросило Сашку в жар.

Разговоры в палате плыли тихие — кто о доме, о родных, кто о прошлой жизни на гражданке, о войне не говорили. Только гадали, дадут ли на Майский праздник водочки. Уж больно хотелось всем забыться хоть минутно, смыть хмельком воспоминания о фронте, о смертях, о крови, о погибших товарищах. Под них Сашка и задремал.

Очнулся он от шума отодвигаемых табуреток, скрипа коек и, когда открыл глаза, увидел, что почти все раненые стоят. Он тоже вскочил и вытянулся... В палату вошли врач, делавший ему перевязку, тот самый старший лейтенант и комиссар бригады.

Комиссара Сашка видел только раз, на формировании, и еще тогда показался он ему больно неказистым для такой должности — и ростом невысок, и шинель не подогнана, мешком, видать, не кадровый, а из запаса комиссар, а сейчас в сравнении с видным, подтянутым лейтенантом и совсем не смотрелся.

— Сидите, товарищи, сидите, — поспешно сказал комиссар, обводя всех внимательными и, как показалось Сашке, добрыми глазами. — Как самочувствие?

— Обыкновенное. Отдыхаем со всеми удобствами. Только еды пока не хватает, — ответил за всех раненый в ногу.

А Сашка подумал: «Сказал что лейтенант комиссару или нет?»

— Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй... — продолжал комиссар, но безрукий перебил:

— А водочки дадут завтра? На передке не баловали, так, может, здесь попотчуют?

— Обязательно, — улыбнулся комиссар, — и покормить постараемся получше, хотя, сами знаете, положение со снабжением неважное, распутица. Но что-нибудь придумаем.

— А как с эвакуацией? Я в ногу раненный, сам не могу...

— Для машин дороги пока непроезжие, а на подводах отправляем только тяжелораненых. Потерпите, товарищи, вот пообсохнет...

— Тогда и фриц попереть может, — сказал раненный в ногу.

— Есть данные, товарищи, что на нашем участке фронта немцы наступать не собираются.

Сашка приметил на себе взгляд лейтенанта. Он не был злым, скорее любопытным, но стало Сашке опять неловко. Не то чтоб страшился чего, просто происшедшее было противно Сашкиному нутру и он никак не мог отделаться от чувства какого-то неудобства.

И показалось ему теперь, что ничего уж такого не было в подозрениях «старшого». Чего греха таить, были же самострелы. Двоих из трофейной команды засекли; один, совсем пацан, к ним в роту был прислан уже после трибунала — искупать кровью. И Сашка вдруг, еще не зная, чего скажет лейтенанту, спросил комиссара:

— Разрешите обратиться к старшему лейтенанту, товарищ комиссар?

— Обращайтесь, — разрешил тот.

Сашка помялся немного, потом нашелся:

— Вы меня, товарищ старший лейтенант, простите за давешнее... Не в себе был...

— Очнулся, герой? Ну, ладно. Я тоже не прав был, — улыбнувшись и совсем добродушно ответил лейтенант.

— Что это такое у вас было? — полюбопытствовал комиссар.

— Так, погорячились немного, — ответил «старшой»

и добавил, обращаясь ко всем: — Завтра, товарищи бойцы, командир бригады будет лично вручать награды. У меня нет с собой списков, но могу сказать почти точно, что кое-кого из вашей палаты можно будет поздравить. — И показалось Сашке, что глянул лейтенант именно на него.

Что ж, вполне возможно. Ротный еще до немца послал на него наградные листы, но и за немца-то должны дать обязательно. Сашка заулыбался — меньше чем «За отвагу», быть не должно, а может, и «Звездочка»...

Когда начальство ушло, угостил Сашка на радостях всю братву Зининым табачком, и мутный осадок, оставшийся с утра, разошелся в его душе совсем. Доволен он и что с лейтенантом вроде улажено, и что награда впереди почти верная. А потом и обед — правда, не очень, та же пшенка, только погуще и с хлебушком — окончательно поднял Сашкино настроение, и продремал он в покое почти до вечера.

Проснувшись, вышел Сашка на крыльцо покурить и воздухом свежим подышать. Солнце еще высоко было, но подходило уже к западу, к передовой. Там оно закатывалось за Овсянниковом и раскаляло разбитую эту и не достигнутую ими деревеньку докрасна, и после маялись они в ожидании обстрела — немец был точен и бил в аккурат после захода солнца.

И представилось Сашке, как через час будет дрожать его родная рота в продувных шалашиках, и как кого-то беспрерывно сегодня пришлепнет, пожалуй сержанта, — не понравился он Сашке сегодня утром, — и как ротный будет говорить стоящим около убитого бойцам: «Ребятки, только без сантиментов, война есть война», — и как закидают того лапником, а потом разбредутся по своим лежкам, выскребывая из карманов последние табачинки.

И смутно стало на душе и вроде стыдно, что находится он сейчас в тихом, словно дремлющем в майском вечере селе, где звенят ведра у колодцев, негромко перебирает лады гармонь, вьются приятно пахнущие дымки из труб, где ходят люди спокойно, не таясь и не крадучись, не ожидая ни шальных пуль, ни минометного обстрела, а его товарищи и его ротный — там...

Зина пришла не сразу после ужина, а когда все раненые улеглись по постелям, и присела около Сашки.

— Ну вот, пришла я. Как ты тут?

— Нормально. Тебя ждал.

— Я спиртику малость достала, — сказала шепотом. — Ночью у вас дежурить буду, а пока свободная...

— Знаешь, приходил этот «старшой»...

— Ну и что? — с тревогой перебила Зина.

— Порядок... Прощения я попросил за мат-то...

— Ты — прощения? Это он должен...

— Он тоже неправым себя признал. Так что порядок, Зина.

— Ты правду говоришь?

— Конечно.

Зина помолчала немного, поглядела на Сашку, хотела что-то сказать, но потом тряхнула головой, раздумав, и проговорила безразлично:

— Вот и хорошо, — и стала разливать спирт: Сашке в кружку, а себе в мензурку. Потом достала хлеба немного, и... — Смотри, что раздобыла, — и показала ему соленый огурец. — У хозяйки выпросила. Здорово?

— Здорово! С гражданки не ел.

— Ну, давай, Саша... За твое возвращение и за праздничек...

— ...за победу, Зина, — серьезно и проникновенно досказал Сашка.

— Конечно. Но главное, за то, что живой ты... Правду сказать, в последние дни совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то... что в эшелоне, и вот все, не встречу тебя никогда больше... Не поверишь ты, а я тогда, честное слово, впервые в жизни целовалась... Ну, чокнемся, Сашенька, только тихонечко.

Спирт огнем прошелся по Сашкиному телу, и стало ему хорошо, так хорошо, как никогда в жизни. Зинина рука лежала в его заскорузлых обожженных пальцах, и тепло от нее доходило до самого его сердца.

И отошло куда-то все, что было в эти месяцы, ушло страшным сном, стало небылью, а в мире только эта изба, неяркий свет керосиновой лампы, тишина, преры-

ваемая неровным дыханием раненых, и Зина, ее руки, ее глаза, смотрящие на него ласково и жалостливо.

Ничего-то она не спросила о том, что было *там*. Видно, знала все — не один раненый прошел через ее руки, и рассказывали, и жаловались, — и потому в ее взгляде видел Сашка какую-то смятенность и сострадание.

— Как чувствуешь себя, родненький? Рана не болит?

— Не болит, — соврал Сашка. К вечеру-то рука за-
ныла.

— Может, пройдемся до Волги? Сможешь?

— Смогу, конечно, — обрадовался он и подумал, какое счастье его ждет — побыть с Зиной наедине, без людей-свидетелей.

Было еще не темно... Солнце, правда, уже ушло за правый кряжистый берег, но еще не закатилось совсем. Там оно еще висит над Овсянниковом и его отблески кроваво полосят небо и сжигают рваные края темного, растянувшегося по всему горизонту облака.

Огородами вышли они на тропку, что петляла к реке, и шли, крепко прижатые друг к другу, так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, — тепло ее тела.

— Я сюда часто приходила вечерами. Смотрела на небо и думала, думала... И всегда оно страшное было, словно в крови. — Зина крепче прижалась к Сашке. — Думала, как ты *там*? Живой ли? Или отмучился?

Они остановились... Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него.

Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы. И не верилось, что сейчас он может опять прижаться к ним и испытать ту же острую сладость, которую испытывал тогда, когда отстрелявшиеся «мессеры» с воем уходили от эшелона, а он медленно притягивал ее лицо к своему и касался ее губ... Они замирали, а в их придавленные страхом души опять возвращалась жизнь.

И оба оттягивали поцелуй, но, когда их губы сошлись, все было так же, только без той отчаянной горькости, какая была в тех поцелуях после бомбежки, когда думали они, что это последнее в их жизни, что вот-вот возвратятся самолеты опять и что будет — неизвестно.

А теперь Сашка сможет целовать Зину и завтра и послезавтра... И казалось это ему чудом.

От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, немного потом, и Сашка знал: эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут связаны с нею, с Зиной, всегда будут напоминать об этом вечере. И он упивался ими, близостью Зины, но, даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желаний — только нестерпимая нежность заполняла до краев.

Вначале это не встревожило его, но когда разморенная поцелуями Зина сама прижалась к нему, распахнув шинель, и он почувствовал ее всю, и его рука невольно пошла вниз по Зининому бедру до края юбки, а потом, приподняв ее, пошла вверх по шершавому в резинку чулку и, пройдя его, наконец коснулась голой горячей Зининой ноги, и тут Сашка ничего в себе не ощутил, и его рука, остановившись на миг, обескураженно пошла вниз.

— Потом, Сашенька, потом... — зашептала Зина. — Пойдем дальше, там скамеечка есть, — и потянула его по тропке.

Слева от них зеленовато поблескивала река, зримой чертой отделяя мир этот, в котором Сашка сейчас, и мир тот, в котором он находился еще сегодня, и ему представилось, что не взаправду все это, а сон, который вот-вот прервется, и он заспешил.

— Далеко еще?

— Сейчас, родненький, вон у той сосны.

Хотя Сашка и не был опытен в любви, он чувствовал, позволит ему Зина все, и потому, когда подошли к скамейке, он не грубо, но настойчиво стал приваливать Зину на нее.

Но и тут — когда совсем близко живое, трепетное женское тело, к которому не прикасался по-настоящему целую вечность — в нем никакого ответа, словно ничего мужского в нем нет.

Сашка недоумевал, не понимая, что же такое с ним стряслось, а Зина уже мягко отталкивала его от себя, пришептывая:

— Не надо, Сашенька, потом... Слабенький ты сей-

час, израненный, не надо... Вот что с тобой сделали-то... Господи...

Она взяла черную, обгоревшую Сашкину руку и припала к ней губами.

— Не надо, — смутился Сашка, отнимая свою руку, которую жгли Зинины слезы. — Ну, что плачешь? Пройдет это...

— Не о том я, глупенький... Но что сделали-то с тобой...

И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, даже рада, что не вышло у них ничего, — уж больно скоро она стала его отталкивать... И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого, и слова-то она говорила все жалкие: родненький, глупенький, бедненький... Может, из жалости и решилась на все да еще потому, что считает себя жизнью обязанной?

Стал он гладить Зинины плечи, и тоже жалость к ней пронизала душу — потерянная она какая-то, не такая, какой была в эшелоне, будто гложет ее что-то...

— Достается вам тоже, Зинок?

— Да нет. Мы ж под смертью не ходим. Разве сравнить.

Они помолчали немного, потом Сашка спросил:

— Пристают мужики-то?

— Пристают, — просто ответила Зина.

— А этот... «старшой», не лез к тебе?

— Понимаешь, Саша... — не сразу ответила она. — Нравлюсь я ему. Ухаживает он за мной, но... по-хорошему, без глупостей... Понимаешь?

— Понимаю.

— Гулять приглашал не раз...

— Ходила? — с тревогой спросил Сашка.

— Ходила, — чуть замямвшись, дала она ответ. — Два раза ходила.

— Ну и что?

— Ничего. Он до меня даже пальцем не дотронулся... А вообще-то, Саша, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же...

— Останусь у вас, при мне никто к тебе лезть не посмеет.

— Конечно, милый, — без особой уверенности сказала она. — Месяц у нас только, Сашенька... А что потом, родненький? Что потом? — всхлипнула опять Зина.

Что потом, Сашка не знал и ответить ничего не смог, только привлек ее к себе, потянулся губами, прижался... И прервала их поцелуй неожиданная вспышка на том берегу — первая ночная ракета. И смотрели они на мерцавшее недолго — минуту-две — небо и как потухло оно, погрузив опять в темень правый берег с соснами на нем.

А подумалось Сашке почему-то — вот такой же короткой, как вспышка ракеты, и будет их любовь... Погорит недолго, согреть как следует не успеет и... погаснет — разведет их война в разные стороны.

Наверное, и Зине пригрезилось то же, потому как вздрогнула она, сжалась комочком и затихла у Сашкиного плеча.

Так и сидели они, примолкнувшие, отрешенные от всего, связанные негаданно пришедшей любовью, любовью ненадежной и зыбкой, как ненадежна и непрочна была их жизнь вообще в эту лихолетнюю весну сорок второго года, весну подо Ржевом.

И, словно напоминая им об этой ненадежности, на западе мертвенно и угрозно вспыхивало небо и глухо рокотала артиллерийской переголосицей недалекая передовая...

Еще глубже пронзила Сашку жалость к этой прижавшейся к нему девчужке в военной форме, дарившей ему себя и свою любовь без всякой надежды на долготу, на крепость, без веры в хоть какое-то будущее. И он подумал: пожалуй, даже хорошо, что не случилось главного... которое, может, и не главное совсем, а так...

С реки несло прохладой, но Сашке было жарко: видно, температура поднялась, и, как всегда при тепле, заудело тело.

— Как бы не набралась от меня, — сказал Сашка, осторожно отодвинувшись от Зины.

Она тихонько засмеялась:

— Это не самое страшное, Сашенька... Пойдем, милый, пора мне, да и ты, вижу, притомился.

— Есть малость.

И они пошли слитно друг к дружке, и опять Сашка ощущал сладостное колыхание Зинино бедера у своей ноги.

— А меня не погонят от вас в госпиталь какой? — затревожился вдруг Сашка.

— Нет. Но тебе-то в тылу будет лучше, чем у нас...

— Без тебя-то? Нет. Понимаешь, должны же нас сменить наконец. Тогда и на формировании вместе будем. Вот что загадываю.

— Хорошо бы. — вздохнула Зина.

А недалекая передовая непрестанно давала о себе знать: то негромким похрипыванием, то взблеском ракет, то красными нитями трассирующих, режущих небосклон.

— Устал, Саша? Замучила я тебя. Не надо бы сегодня ходить, не отдохнул ты еще.

— Ну что ты. Хорошо же было...

— Вот вернемся в палату, уложу тебя, дам снотворного, выспишься как следует. — Зина ласково провела рукой по Сашкиной щеке.

— Небритый я... Да и вообще грязный я, оборванный...

— Будто я не знаю, откуда ты, — махнула она рукой.

— Тут у вас все чистенькие, побритые...

— Ты ж с войны настоящей, Саша, разве я не понимаю, о чем говорить.

— Да-а, — задумчиво протянул Сашка. — Война была взаправдашняя, это ты верно сказала. Видишь, что со мной наделала. Ты уж не обижайся на меня... Усталый я сильно. Очень усталый, — повторил он.

— Глупенький, ты опять о том же. Понимаю я все. Отлежаться тебе надо, отдохнуть...

Последние метры перед селом Сашка насилу шел.

В палате уже все спали — кто храпел, кто подстанывал, а кто и вскрикивал во сне, — только обезрученный сидел на койке, уставившись в одну точку.

— Заверни, браток, — поднял он глаза на Сашку.

Научившись за день справляться с сигаркой одной

рукой, Сашка свернул, прижег и, присев рядом, прямо в рот сунул тому самокрутку.

— Вот какие дела, парень... Куда я теперь? Прибило бы лучше... Тебе-то повезло.

— Да, повезло, — согласился Сашка.

Зина оправила ему постель, взбила подушку и сказала:

— Ложитесь, раненый.

Сашка усмехнулся. Да и верно, зачем кому знать, что у них промеж собой.

— Сейчас, сестрица, покурим с товарищем, — ответил он в тон ей, и Зина тоже улыбнулась.

Так он и просидел с раненым, пока тот не докурил, то давая ему в рот сигарку, то отнимая, словно малому дитю соску.

Подойдя к постели, Сашка подивился еще раз. Когда же он спал раздетый до белья да на простыне, дай Бог памяти? И оказалось, что с двадцатого ноября, как сел в эшелон на далекой приморской станции, не видел он настоящей постели.

Долго возился он со шнурками от ботинок — заскорузли и пригорели намертво, хоть режь их, — но все же осилил. Но гимнастерку снять позвал Зину. Не лезла забинтованная рука в рукав, хоть и разрезанный, пришлось еще подрезать, а гимнастерка-то хорошая, суконная, теперь одно — выбросить, а жаль. Когда Зина принялась за брюки, Сашка застеснялся, но она ловко стянула их, не дав ему и опомниться, и остался он в бежевом трикотажном белье — неудобно, будто голый, — и нырнул скорей под одеяло.

Зина дала ему выпить чего-то горького, сказав:

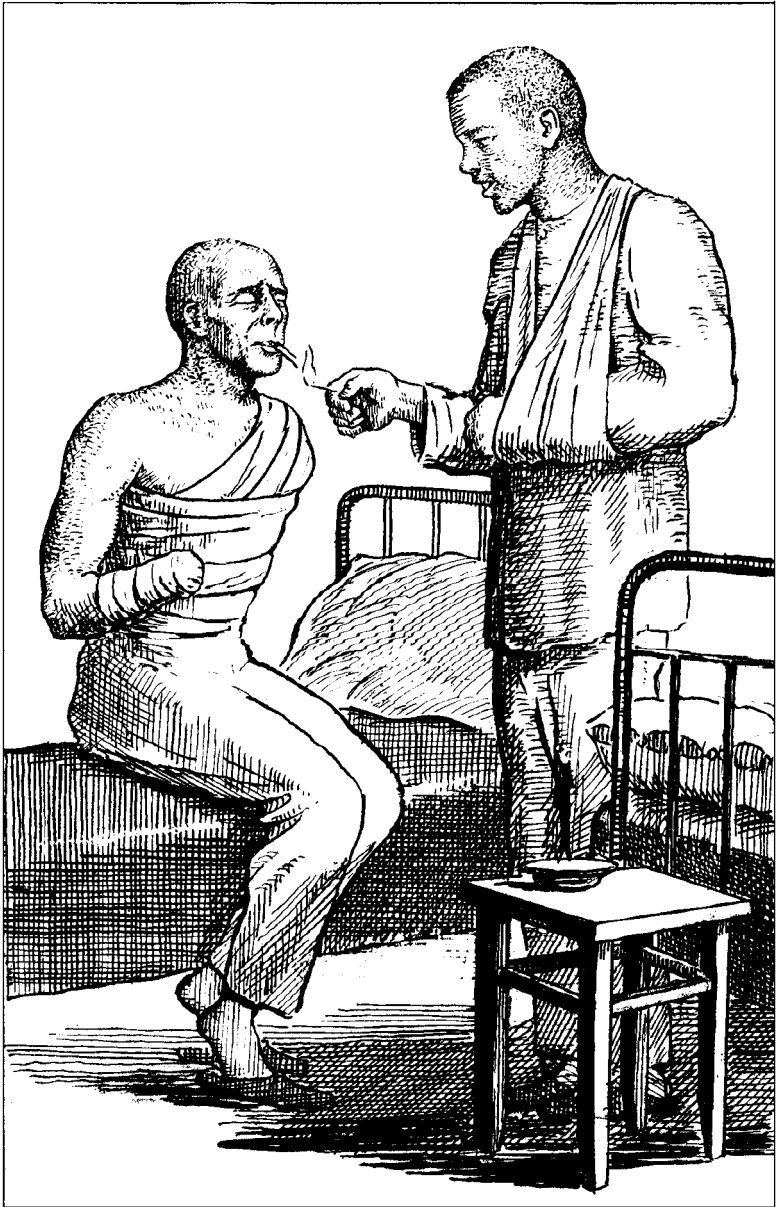
— Я тут буду, только выходить придется, у меня в трех избах раненые. Спи, родненький, — добавила совсем тихо. — Спи...

Сашка растянулся на койке блаженно — ну вот, посплю сегодня по-людски.

Гармоника, тихо наигрывавшая целый день, перебирая разные мотивы, сейчас заливалась вовсю — и «Катюшу», и «Синенький платочек», и какие-то вальсы.

— Празднуют штабные-то, — хрипловато и недобро сказал безрукий.

— Шут с ними, пусть веселятся, — равнодушно ответил Сашка.



Это утром, когда Зина сказала об этом, вспыхнуло в нем злое, а теперь разошлось.

— Веселиться-то вроде не с чего... — хмуро продолжил тот, покусывая губы.

— Праздник все же... Ты, брат, не завидуй. Этот пирог на всех. Сегодня они тут, в тылу, а завтра *там* могут оказаться.

— Тебе-то что, поднесла сестрица выпить. Знакомая, что ли?

— Знакомая. Дадут завтра всем, обещал же комиссар.

— Они дадут... Много тебе на передке водочки доставалось? То-то и оно, — добавил он, не дожидаясь Сашкиного ответа.

Думал Сашка, что уснет сразу, но не получилось. И на постели как-то непривычно, и подушка вроде ни к чему, да и рука ныла.

За день не пришлось Сашке о доме подумать, о матери. Занято все было Зиной, а сейчас подумалось — непременно завтра письмо отписать, что раненый он, что в госпитале, чтоб не беспокоилась мать. С передовой он только два письма отправил, да и неизвестно, дошли ли. Если бы не война, осенью сорок первого отслужил бы он кадровую и был бы дома, а дом Сашкин не так уж далеко отсюда — верст триста. Ерунда расстояние, если с Дальним Востоком сравнить, где служил Сашка срочную.

Но он и не задумывался о том, что может он, пока раненый и вне строя, до дома своего добраться и повидаться с матерью. Слишком дорога для него сейчас Зина, и покинуть ее и в голову не приходило.

Слышится ему, как возится она сейчас в своем закуточке, и сладко ему от ее близости и покойно. Уже засыпая, услышал он Зинины шаги, ощутил на своем лбу ее прохладную ладонь — вот и избыл этот первый тыловой день, оказавшийся для него совсем не легким, а каким-то заботным и сумятным, — и великий покой сошел на Сашку, покой, которого не знал долгие и тяжелые месяцы фронта.

Ничего ему не снилось — ни плохого, ни хорошего, — и потому не понимал он, почему проснулся с тоской,

точно такой же, как в тот день на передовой, когда нагрянула на них немецкая разведка.

Еще глаза не открыл, как придавила голову безысходная мысль — не пережить ему эту войну... Потому как в пехоте он и судьба его ясная: передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну, раз, как сейчас, ну, два... Но не вечно же? А война впереди долгая. И не избечь ему, что в каком-то из боев прибьет его насмерть.

— Зина... — позвал он тихо.

Но подошла к нему не она, а незнакомая медсестра.

— Что вам, раненый?

— А Зина где?

— Вышла Зина. Что, рана болит?

— Да нет.

— Тогда спите, раненый. — Она отошла, а Сашка полез за махоркой.

Поначалу он не забеспокоился — говорила же Зина, что выходить будет, не одна у нее палата, надо и за другими ранеными приглядеть, — но сон ушел, и, как ни старался уснуть, ничего не выходило.

Мысли смутные он прогнал. Научился он *там* не давать воли ни тоске, ни надежде. И сейчас вроде бы ни о чем плохом не думал, только хотелось отчаянно, чтоб пришла Зина, прикоснулась опять ко лбу, погладила поматерински... И может быть, тогда опять обрел бы Сашка покой и безмятежность, но она не шла, и драл Сашка горло дымом «моршанской».

В штабе все еще гуляли. Вперемежку с гармонью играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе... Давно это было. И тихие вечера в дальневосточном полку, и приятные разговоры с ребятами о скором увольнении, и задумки о будущей жизни на гражданке...

Сколько прошло времени, час ли, два, Сашка не заметил, только не выдержал более и встал. Натянув брюки и кое-как приладив ботинки, вышел. В Зинином закутке сидела та, незнакомая сестра и, привалившись к столу, дремала.

— Чего тебе? — проснулась она сразу и спросила недовольно.

- Зина не вернулась еще?
- Чего тебе далась Зина? Сказала же я...
- Где она?
- Ну... вызвали ее.
- Куда вызвали?

При свете лампы разглядел Сашка девушку — востроносенькая, некрасивая, но губки накрашены и надушена так, что голова закружиться может. И понял он, что не в других палатах Зина, а там, в штабе, на гулянке.

— Она ж не хотела идти, — упавшим голосом пробормотал Сашка.

— Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали, и пошла.

— На гулянку идти приказать не могут. Не загибай.

— Ну, не приказали, так какой-нибудь предлог нашли. А ты чего беспокоишься, парень? А, поняла... Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?

— Я, — кивнул он.

— Ничего там с ней не случится. — Голос ее помягчел. — Поест как следует, выпьет, ну потанцует с кем. Иди-ка ты спать.

Посмотрел на нее Сашка еще раз: видно, готовилась она сама на вечер идти, потому накрутила так и надушила, а заставили ее вместо Зины дежурить, и потому особого сочувствия ни Сашка, ни Зина у нее не вызывали.

— Ну, чего стоишь столбом? Иди на койку и не переживай.

— Я и не переживаю, — соврал Сашка.

— Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло...

— При чем здесь время? — не понял он.

— Подумай, — повторила востроносенькая и усмехнулась.

«Ах ты, язва», — подумал Сашка и чуть было не выругался.

Безрукий проснулся, а может, и не спал совсем или вполглаза, и попросил закурить. Присел Сашка к нему на койку, и задымили, как два паровоза.

В избе было душно. Пахло нечистым бельем, грязными портянками и кислым от волглых, непросохших ватников.

Откурили по одной, закрутили по второму разу, и все молча. Потом отошел Сашка к своей постели.

— А ты плюнь! — вдруг сказал безрукий.

— Ты про что?

— Знаешь про что. Только не думай, что сама она... Приходил лейтенант тот, уговаривал. Она вначале ни в какую — нельзя, сказала, веселиться, когда на передке люди бедуют. А он ей: не на веселье тебя зову, а на прощанье. Отправляют его, как я понял, завтра в батальон то ли ротным, то ли помкомбатом. Ну, тогда она согласилась ненадолго... — Он помолчал немного, а потом добавил не без злости: — Снимет с него стружку передовая-то, а то ходят тут фертами...

Но Сашка тому не зародовался. Зла у него на лейтенанта не было. А то, что Зина сейчас там, на вечере, затронуло больно, и что-то тошнотное стало подступать к горлу. Задышал он прерывисто, тяжело и торопливо непослушной рукой стал натягивать гимнастерку.

— Ты-то оклемаешься, — продолжал обезрученный, — это все пустяки, а мне-то как? Как домой таким ехать? Думаешь, примет меня баба?

Сашка надевал брюки.

— Зачем я ей такой? Ей ребят кормить, себя да еще меня, прихлебая...

Сашка наворачивал обмотки.

— И куда податься после госпиталя, ума не приложу. Только не домой, — не переставал тот свое, наболевшее.

Сашка накинул телогрейку и поднялся.

— Куда надумал? — спросил безрукий с тревогой.

— На двор выйду. Духота здесь.

— Ты смотри, браток, без глупостей. Оружия-то трофейного нет у тебя случаем?

— Нет. Был «вальтер», ротному подарил.

— Ну, ладно, приходи скорей. Чую, без сна будет у нас эта ночка. Вдвоем-то с разговором легче.

Сашка вышел на крыльцо. Темно, тихо. Музыка из штабного дома умолкла. Боец из охраны, проходивший мимо, шикнул на Сашку, чиркнувшего «катюшей». Сашка махнул рукой — тоже мне вояка, за столько верст от немца искры боится. Они на самой передовой такие костры запускали, и ничего.

Спустился он с крыльца, присел на завалинку и стал перебирать в уме все, что произошло у них с Зиной на прогулке. Другая она какая-то стала... Вот распахнула себя для Сашки, а как-то без легкости. Вроде и сама вела его к скамейке, но как-то безохотно, хоть и торопилась, словно точку какую-то на чем-то поставить хотела. Это он и тогда почувствовал. Может, потому и не получилось у него ничего, что уловил он Зинино нежелание тайное? Верно, есть у нее кто? А если и есть, то не кто другой, как лейтенант этот. Почему и нет? Из себя видный. И звание подходящее. И должность. С таким будешь — никто не пристанет. Всплыли Зинины слова о том, что не выдерживают девчата, сойдутся с кем, чтоб другие не лезли. А может, и любовь у них настоящая? Говорила же Зина, хороший он. Живым живое. Сама говорила, что надежду на Сашкино возвращение потеряла в последнее время. И это понять можно. Представил он, что могли ей рассказывать раненные, ужаснутые первыми боями...

Да нет, успокоил себя Сашка, не должно быть так. Сказала бы Зина прямо: так, мол, и так, прости и не обесчуди. Разве повела бы его тогда она к Волге? Нет, конечно. Ну, а на вечер пошла просто потому, что неудобно отказаться, раз завтра на передок уходит лейтенант. Это понять можно.

Но все же мысль, что могут обидеть Зину там, на вечеринке, промелькнула и ожгла болью. И то, что музыка кончилась, показалось Сашке приметой того, что расплозлись празднующие по углам тискать девчат и что Зину тоже тянет этот старшой... А он, Сашка, сидит здесь на завалинке и ничего, ничего не может сделать, ничем помочь.

И такое же унижительное отчаяние бессильности, какое бывало на передовой, когда немец накрывал их рядами и минами, а им нечем было ответить, охватило Сашку, и, еще не зная, что будет делать, поднялся он и быстро запетлял огородами, чтоб не столкнуться с патрульным, к тому дому.

Он хорошо виднелся белым фасадом, да из окошка второго этажа еле заметной полоской пробивался свет из-под маскировки.

Обошел он его издалека, чтоб не заметили часовые у дверей, и приблизился к дому с другой стороны, где был не то сад, не то парк какой, и затаился за деревом.

Опять взвизгнула гармонь с переливами, раздалась песня, и слышны были даже разговоры и смех девчат.

Сашка заостенело стоял, привалившись к стволу, стараясь в шуме голосов услышать ее, Зинин, голос, но напрасно. Кончилась песня, и вскоре завели там патефон, и послышалось ему шелестение шагов — танцуют, верно.

Может, и правда, как сказала востроносенькая, выпьют, закусят, потанцуют, и ничего того страшного, что мерещится Сашке, и не произойдет, и вернется Зина, как была.

Но даже если и так, то все же не дело это, подумал он. Рассказать про такое ребятам на передке — осудили бы непременно и поматерились бы обязательно. Что ни говори, пока война, пока истекает кровью его батальон, пока белеют нижним бельем на полях незахороненные, какие могут быть праздники, какие танцы?

Конечно, понимал Сашка, что любого из тех, кто поселится сейчас в штабном доме, в любое приспевшее время могут мигом отправить туда, к смерти, от которой счастливым случаем ушел сегодня Сашка и навстречу которой пойдет утром старший лейтенант, но все же...

Патефон нес из окон знакомую давнюю песню «Любимый город может спать спокойно...», песню, под которую и началась для него война в июньский теплый вечер у танцплощадки в дальневосточном полку... Ребята посмелее танцевали с боевыми подругами, женами командиров, а Сашка стоял, покуривая, и слушал музыку. И лились тогда эти же задевающие за сердце слова, словно для Сашки и его одноклассников сложенные. «Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины...» — и вдруг оборвались, прохрипел динамик «важное сообщение», и пошла речь Молотова.

А после нее закричал кто-то визгливо: «Тревога! Боевая тревога! По подразделениям!» — и побежали они по своим ротам. В небе гудел самолет, и тревожно царапала мысль — не начнет ли теперь Япония? И, несмотря

что вечер был тих и ясен, показалось им, будто потемнело небо. До ночи простояли они на плацу в полном боевом, а когда распустили, в курилке было необычно — ни смеху, ни шуточек, ни ласкового матюжка... Понимали: ворвалось в их жизни необыкновенное, очень важное и страшное, что станет их судьбой. Правда, тогда грезились им еще и подвиги, и поступки геройские, которые совершат они непременно, лишь бы война не мимо, лишь бы не просидеть ее на востоке. И потом, после всего совершённого, вернуться они героями по своим домам — и «...любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд...». Да, приманчива была война издали...

Вот и прошел Сашка не все «бои и войны», прошел только одну свою первую, не ахти какую долгую, всего в два месяца, войну, прошел вроде честно, не давая себе послаби, и стоит он сейчас, переломанный и умаянный малой этой войной, в чужом селе, около чужого дома и слушает для него написанное, но не для него сейчас предназначенное: «Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины...» — и даже покурить ему здесь нельзя: вдруг заметят и пойдут расспросы, зачем он здесь и для чего.

И эта, казалось бы, мелочь, что нельзя ему здесь курнуть, вдруг сжала Сашкино сердце горькой, унижительной жалостью к самому себе, что бывала только в детстве, когда выплакивал он свои обиды, прижавшись к материнским коленям. И почувствовал он себя почему-то таким чужим здесь, никому не нужным, чего никогда не бывало на передовой, где все были свои, как бы родные, даже комбат и комиссар, не говоря уж о ротном...

А из окон неслось: «...когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят, любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...»

И только один у него здесь родной человек — Зина, и та не с ним, а там, за окнами... И представилось Сашке, как липнет лейтенант к ней, как тянет ее где потемнее, как шарит жадными пальцами по ее телу... И забродит-

ло в душе страшное: если обидят Зину, махнет он обратно на передок, заберет у ротного свой «вальтер», а там будь что будет...

И только мысль, что не одна же там Зина с лейтенантом, народу много, возможно, и комиссар сам там, а при нем никакого баловства никто допустить не посмеет, умирила Сашку немного.

Но все равно нарастало комом в груди что-то холодное, тяжелое, подступало к горлу, давило... И пойти бы ему сейчас в палату, броситься на койку, забыться, не держат же ноги совсем, как-никак оттопал он сегодня без мала верст пятнадцать, но неотступен Сашка в своем решении дожидаться Зину во что бы то ни стало. Он и не подошел бы к ней. Только посмотрел, что возвращается она веселая и необиженная. И за вечер корить бы не стал. Сделал бы вид, что и не знает.

И намедлил — услышал Зинин голос! Но не там, где музыка, а прямо из ближайшего к нему окна. Не разобрать что, но мерещится ему что-то жалкое, упрашивающее, а мужской голос по-пьяному настырен и с приказными нотками.

И тут будто разорвалось что в Сашкиной голове — что делать-то, что делать?

Бросился он вперед, поближе к окну, и там уж громче Зинин голос, и чудится Сашке даже зов о помощи, и тогда, не помня себя, нашаривает он рукой на земле что-то твердое, не то камень, не то кирпича обломок, и еще минута... рванулась бы в броске Сашкина рука, но окно вдруг раскрылось и в его проеме беловато засветилось Зинино лицо, и услышал Сашка уже явственно, как сказала она стоящему за ее спиной лейтенанту:

— Не надо, Толя... — и отвела его руки мягко и несердито.

Вздыбись рядом земля от взрыва, не ошеломило бы так Сашку. И ни слова, ни обращение по имени, а вот жест этот покойный, даже ласковый, каким отвела она его руки, словно имеет она силу на лейтенанта, поразил Сашку в самое сердце и уверил его, что любовь у них...

Словно ударом под вздох надломило Сашку и откинуло назад. Медленно пятясь, не сводил он глаз с окош-

ка, где неясно мерцали два плывущих и колеблющихся пятна — Зинино и лейтенантово лица... Они говорили еще о чем-то, но Сашка не вникал...

Так и пятился он, пока не ткнул локтем раненой руки о ствол дерева и не сдержал матерного вскрика. И замолкли тогда в окне, и высунулись, прислушиваясь... Тогда, повернув резко, побежал Сашка, не разбирая дороги, натыкаясь на деревья, царапаясь о кусты, не таясь уже никого, все держа еще в намертво сведенных пальцах ненужный уже кирпич. Бежал как оглушенный, разодрав рот в беззвучном крике, — не закричишь же... Это там, в наступлениях, выхлестывали они в протяжном «ура-а-а» и боль, и отчаяние, а тут подвалило к горлу, а не выплеснешь.

На крыльце стояла Зинина сменщица и смотрела на штабной дом, откуда опять гроханула музыка, и «Синенький платочек» в который уже раз поплыл над селом. Она глянула на Сашку удивленно и вроде вознамерилась спросить что, но, разглядев почерневшее Сашкино лицо, смолчала, поняв, видать, откуда он прибрел.

Палата пахнула на Сашку спертым, тяжелым духом... Чуть заметным огоньком чадила керосиновая лампа. Не раздеваясь, рухнул он в постель, моля Бога, чтоб не заговорил безрукий... Рухнул лицом в подушку, закусил губы, чтоб стон не прорвался, и лежал так, будто омертвелый, только в душе клокотала и билась шальная мысль — завтра же утром на передок податься, пусть добивают...

И только под утро, когда зажелтелось чуть небо, смог он поразмыслить обо всем малость спокойней — не один он на свете и нет у него права своей жизнью самовольно распоряжаться. Мать у него, сестренка малая... И опять, перебрав все, что у него с Зиной за тот день и вечер было, припомнив опять разговоры их все и представив ее жизнь тут за эти месяцы, пришел он к тому — неосудима Зина... Просто война... И нету у него зла на нее...

А за горизонтом тем временем вспыхнула последняя ночная ракета, плеснула в окошко далеким мертвенным, будто нездешним светом и, посветив недолго — минуту-две, — отгорела...

Уже совсем обутрело, когда Сашка и еще двое раненых из ходячих приостановились у края села на совет. Продуктов им на дорогу не дали, только продаттестаты, отоварить которые можно будет лишь в Бабине, что в верстах двадцати отсюда. Вот стояли и гадали, дойдут ли за день. А если не осият, то где ночевать, где покориться? Правда, особо не сомневались, что их-то, Родины защитников, должны удовлетворить в деревнях обязательно, неужто картохи да хлеба кус не заработали они своим ратным делом? Только деревень-то живых по дороге мало, тем более по большакам, а крутить им другими путями без удобства — и заблудиться можно, и путь удлинить, а силенок маловато.

Сашка в разговор не мешался, как-нибудь доберутся, лишь бы поскорей из Бахмутова. Потому и пристал к этим двум, которые решили подалее в тыл податься, где и жратва должна быть погуще и где немец, если попрет, не достанет.

Скользнул он последним оглядом по селу, по штабному дому, белеющему вторым этажом, и вздохнул. А ребята уже тронулись. Докурил Сашка сигарку, сплюнул и пошел вдогон...

А верст через двенадцать обессилели они окончательно, а до этого Бабина, где продукт обещанный, еще неизвестно сколько, и дойдут ли сегодня, потому как день уже к вечеру клонился, солнце на западе к горизонту запало и потянуло холодком.

Сашка всю дорогу позади плелся не потому, что был других усталей, а просто говорить не хотелось, а один из раненых уж больно болтливый оказался, лопотал что-то все время. А Сашке не до болтовни, весь он в своих мыслях, во вчерашнем вечере, проведенном с Зиной. Но из всего, что у них было, не поцелуи вспоминались, не объятия, а как прижималась Зина губами к почерневшим его пальцам, как горячили руку ее слезы. Вот тут и была, наверное, вершина его чувств к ней — и жалость, и нежность необыкновенная. И когда представлялось это, сдавливало сердце больно — навсегда

же расстались. Словно умерли друг для друга, словно листья павшие разнесло ветерком в разные стороны, не сбиться уж вместе никогда.

Остановились впереди двое Сашкиных однопутников, видать, невмочь больше ноги тащить, присели, поджидая Сашку, а он, подойдя, свалился тоже, даже самокрутку скрутить не в силах.

И пошли разговоры, что они в Бабине сухим пайком получить должны, да не на один день, а, поди, дня на три. Это по целой буханке черняхи на брата должно выйти, по нескольку пачек концентрата, ну а за жир и мясо по банке консервов каких-нибудь. Такого обилия еды не видали они давно. Замечталось наесться от пуза, за все месяцы, что на передовой голодовали, там к какой-нибудь вдовухе на печку — в тепло и сыть... Уже слюнки пустили, а потом забеспокоились — как бы продпункт не закрыли, пока они здесь прохлаждаются. Кто знает тыловые порядки! Тогда зря вся их торопа через силу — придут к закрытым дверям, что может быть хуже?

Один из них, в ногу раненный, правда, не сильно, но все же более других намучившийся, сказал:

— А если, ребята, в первой деревне, которая попадет-ся, и заночевать? А с утра прямо в Бабино это, к открытию продпункта. А?

— А жрать чего? — спросил другой.

— Неужто не дадут чего?

— Может, и дадут, — сказал Сашка, — но неудобно... побираться-то.

И призадумались... Вспомнили, как через деревни проходили и интереса к ним никто не проявлял, никто не спросил ни разу: откуда, мол, идете, где ранило, большие ли бои были? Так, пройдутся взглядом, словно невзначай, и отвернутся. Странно им поначалу это показалось, а потом поняли — сотни их проходят за день, дивиться на них нечего, побывное это для людей дело стало, потому и равнодушны. А как поняли, просить поесть чего не решились, как-нибудь до Бабина перетерпят. Махорочкой, правда, разжились у одного деда. Хорошего дал самосада, крепкого, с каким-то желтым

цветом, пахучий. Им-то и поддерживали себя на передыхах — покуришь, и голод не так сосет, и подбодрит табачок малость.

Да, поняли они кое-что за этот долгий утомный день: и что в тылу голодуха и тяготы, и что на них никто как на героев каких не смотрит. Это когда по Сибири катили, глядели на них все жалостливо, руками махали, приветствовали, а бабы некоторые даже крестом осеняли их вагоны — едут защитники Родины, едут кровь проливать, жизни ложить...

А тут пролили они кровушку, а никакого по этому случаю события, никто в ладоши не хлопает, никто по этому поводу не умиляется, никто самогону на их пути не выставляет. Конечно, так они не думали, но все же представляли, что будет к ним внимания в тылу больше, а сейчас видели — прошлась война по этим проселкам, по этим деревням, разорила, своих забот полон рот у людей, не до солдатиков, которых и виноватить можно, что допустили войну до них, до глубокого тыла, чуть ли не до Москвы самой... И когда подходили к кому дорогу спросить, отвечали им охотно, но в лицах напряжение (как бы чего другого не спросили), а отходя, примечали они, как облегченно вздыхали те.

— Вы как желаете, а я больше не ходок. Буду на ночевку проситься, — сказал хромой и поднялся.

— Лады, дойдем до деревни, а там посмотрим, — решил второй, тоже в руку раненный, только в правую, и в шину проволочную упакованную, и встал вслед.

И поплелись они, тяня шаг, вздыхая и побряхтывая... Вскоре вышли к небольшой деревеньке, домов десять — двенадцать, и постучались в избу, что побогаче выглядела, с наличниками резными и палисадом из штакетника, но никто не отзывался. Постучали во второй раз — тоже ни звука. На душе смутно — никто из них в странниках не был, никто сроду не побирался, а вот довелось, стоят, будто нищие.

Раненный в ногу озлился, застучал палкой в окошко, да так, что чуть стекло не разбил. Отодвинулась тогда занавеска, и выглянула старуха древняя.

— Переночевать, бабка, требуется. Раненые мы. С фронту идем, — сказал он грубовато и настырно.

— Вижу, родимые, вижу, — запричитала старуха. — Только опоздали вы. До вас калечные пришли, все места заняли, — а глазами шаркает, прямо не глядит.

— Пошли дальше, ребята, — не выдержал Сашка, но в ногу раненный не успокоился:

— А не врешь, старая?

— Ей-богу, родимые... Зачем врать-то. Разве жалко?

— Лады, спасибо этому дому, пойдём к другому, — взял за рукав хромого третий из них, разговорчивый сильно.

— Врет же она! — упирался хромой.

— Если и врёт, силой же не попрешь. Пошли, ребята, до места, — махнул рукой Сашка.

— Вы идите, а я здесь ночлега просить буду. Не могу больше топать, и все! Бывайте... — И раненный в ногу заковылял в дом напротив, Сашка и другой раненый пошли дальше.

— Нам с тобой расставаться не след, у меня левая целая, у тебя правая. В общем, две руки на двоих — не пропадем! — весело закончил раненный в руку.

Сашка посмотрел на попутчика: вид у того какой-то ошалелый, глаза чудные, и улыбка с лица не сходит. Всю дорогу слышал Сашка, как говорил тот без умолку, похохатывал, рукой здоровой размахивал, словно чокнутый какой. И сейчас совсем вроде не расстроился, что в ночлеге отказали, что переть еще неведомо сколько.

— Ты чего скучный такой идешь? — спросил он Сашку.

— А чего радоваться-то?

— Как чего? Живые ведь... Понимаешь, живые! Из такой мясорубки — и *живые!* Как же не радоваться?

— Тяжелая у тебя рана?

— Кость перебитая. Месяца два, а то и три отваляюсь верняком. Думаешь, мне жрать неохота? Думаешь, не устал я? Но все это мелочи жизни. Главное, солнце вижу, небо, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев! Это же понять надо! — Он опять хохотнул чудно, а Сашка покачал головой — впрямь парень тронутый.

Сам Сашка особой радости не ощущал. Давила грудь разлучная тоска, да и дорога эта среди пожарищ и разора на веселье не располагала.

Правда, когда с большака сходили и шли дорогами неезжалыми, там деревни были целые, но в запустении. Много домов покинутых, ни скота не видно, ни лошадей, ни сельхозмашин каких, ну, а о тракторах и говорить нечего — туго будет колхозникам весновать. Озими тоже нигде не зеленеет, видно, не сеяли под немцем.

В каждой деревне теперь спрашивали они, как до этого Бабина путь ублизить, и везде отвечали по-разному. И вот что оказалось: сказал один старик вроде точно — не двадцать верст до Бабина, как им в Бахмутове сказали, а все сорок наберется. И позавидовали они хромому, что скумекал тот дальше не топать, а ночевать остался. Теперь и им надо куда-то к месту прибиваться, смеркается день. А тут, как назло, завела их дорога в лес — потемнело сразу, засырело, грязища, лужи огромные обходить приходится. Даже Сашкин однопутчик смешки свои оставил, хотя улыбочка блажная с губ не ушла.

Задумался Сашка... Осенью ровно три года будет, как покинул он свой дом. И с тех пор все у него казенное — и одежда, и еда, и постель, и жилище. Ничего своего у него нету, поди, только платок носовой, да огрызок карандаша, да жалованье красноармейское — двенадцать с полтиной в месяц. До войны на махорку или папиросы дешевые уходило, иной раз в редком увольнении пива кружку выпьешь. Но этим он не тяготился, зато забот никаких. И вообще служба в армии ему нравилась, интересно было, да и знал — *надо!*

Войну они на Дальнем Востоке давно чуяли. Понимали, что не зря великих русских полководцев — Суворова и Кутузова — поминать часто стали (в школе-то на уроках истории о них не мучили), ну, а когда в апреле сорок первого потянулись эшелоны на запад и в мае лекцию им прочли о «мифе непобедимости немецкой армии», тогда уж совсем ясно стало — не отслужить им мирно кадровую, придется показать немцу, что почем.

Конечно, никто в уме не держал, что так обернется. Думали, будем бить гадов на чужой территории и ма-

лой кровью. Не вышло! По-другому завертелось. И нету войне пока конца-краю, и достается на ней всем — и военным, и гражданским. Вот почему и стеснялся Сашка на ночлег набиваться. Понимал, сколько деревенькам этим ржевским довелось... Только от немца избавились, только чуток в себя приходиться стали, хозяйство поправлять, а тут течет мимо река покалеченных, и всех приюти, всех накорми, а чем?.. Это за день около сотни пройдет, а с февраля, как наступление пошло, и до сих пор сколько?

А дорога эта неторная все петляла лесом, и никакого просвета впереди. Неужто в лесу заночевать придется?

К вечеру раны начали побаливать сильнее, каждый шаг отдавался, и шли они оба, кривясь от боли, еле тая ноги, матеря ту тетку, которая на эту дорогу их послала.

Наконец шедший немного впереди Сашкин попутчик закричал радостно:

— Выходим! Слышишь, браток, выходим! Красота-то какая открывается!

Сашку раздражал он малость и своим смехом не к месту, и восклицаниями бесконечными «красота». Все у него красота: к ручью вышли — красота, на поляну какую — красота, лес вдали засинел — тоже красота! Но как узнал, что из города он, наборщик типографский, и землю-то родную только по воскресеньям видел, да не по каждому, стал понимать его вроде. Ну, а то, что не в себе он после передка и ранения, ясным-ясно. Она, передовая, может довести — это не диво. Один у них совсем рехнулся, чуть отделенного не застрелил. Шут с ним, пусть радуется, что ни говори, живыми из такой заварухи вышли... Только где-то внутри посасывало у Сашки — не к добру это.

Просвет впереди ширился, и вскоре кончилась эта запалая дорога, и вышли они к полю незасеянному, а за пригорком и деревуха показалась, домов в несколько, но не побитая и не сожженная. Видать, немец здесь не побывал.

С нехотью, скрепя сердце подошел Сашка к одной избе и постучался робковато. Сразу же на крыльцо вышла

баба немолодая, лет тридцати пяти, глянула на них усталыми прищурными глазами и спросила:

— Переночевать, что ли?

— Да, хозяйюшка. Идем весь день, а до Бабина никак не дойдем. Продпункт там у нас...

— Да до него, поди, еще верст пятнадцать.

— Неужто? Придется просить у вас ночлегу. Дальше идти сил нет, да и затемнело уже.

— Что ж, заходите... Только, ребята, вот что, место я вам предоставлю, постели устрою, но... покормить вас нечем. Может, у кого другого найдется, а у меня нету ничего. Не обессудьте.

Хотя переговоры вел не Сашка, женщина сейчас смотрела на него, видно признав в нем своего, деревенского, и искала понимания. Сашка ответил поспешно:

— Понимаем мы... Не надо нам ничего. Переможем сегодня как-нибудь...

— Не обессудьте, ребята, — повторила она, — картошки чуток осталось, на посадку только. Сами не едим, а у меня дите еще... Ну, проходите.

В дому было прибрано, полы чистые, даже на окнах занавески белые, а на кровати покрывало кружевное.

— Муж-то воюет? — спросил Сашкин однопутник.

— Воюет, ежели живой...

— А что, писем не шлет?

— Нет. Сейчас ложиться будете или погодите?

— Сейчас, только подымить выйдем.

С печки свесилась девчушка лет десяти, бледненькая, худенькая, и глядела на них внимательно, но без удивления, какими-то не детскими глазами.

— На кровати вы вдвоем не поместитесь. На полу постелю, — сказала хозяйка.

— Конечно, — заспешил Сашка, — куда нам на постель? Грязные мы больно.

Женщина, отодвинув немного стол от окна, положила на освободившееся место тюфяк, потом пару одеял старых и две подушки.

— Располагайтесь... Вот и мой небось где-нибудь по чужим домам, если живой... Только вряд ли.

— Ну, почему? — заулыбался Сашкин попутчик. —

Обязательно живой должен быть! Обязательно! И не думайте о плохом.

— Вам легко говорить... Вы-то живые вышли, — сказала она просто, но почудилось Сашке словно осуждение какое.

И в деревнях, что проходили они, казалось иной раз ему, что смотрят на них некоторые бабы, у которых мужья, видать, точно погибли, как-то недобро, будто думают: вы-то целехонькие идете, а наши мужики головы сложили.

На крыльце присели они на ступеньки, завернули дедовского самосада, помогая друг другу. Так же вдвоем «катушу» запалили — один держал кресало, другой бил, — и затанулись до круготы в глазах.

А из лесу по той же дороге и по другой, которая слева через поле тянулась, плелись калечные. Перед деревней приостанавливались на совет, а потом расползались по избам.

Разделись они в избе до белья, только брюки постеснялись снять, укрылись одеяльцами — тепло, сухо, а сон не идет. Бурчали пустые животы, и оттого тошнотная слабость во всем теле — вот и ворочались, кряхтели, вздыхали. И хозяйка на печи, видно, тоже не спала, тоже вздыхала.

— Хоть бы пожевать чего, — прошептал Сашкин сосед.

— Тише ты, — перебил Сашка, а сам о том же мечтал.

Сколько они без сна промаялись, сказать трудно, полчаса, час ли, только вдруг услышали: соскользнула хозяйка с печи, загремела чугунами и к ним подошла.

— Держите, пожуйте малость. А то ни у вас, ни у меня сна нету, — и сунула им в руки по две картофелины.

— Спасибо, — выдохнул Сашка и сразу зубами в теплую мякоть. Зажевал медленно, сосед тоже не спешил — знают они, как есть надо, научила передовая.

Утром, проснувшись рано, задерживаться они не стали. Поблагодарили хозяйку за хлеб-кров, мечтая, конечно, втайне, не даст ли она чего на дорогу, но она, пожелав доброго пути, отвернулась от них сразу. Попутчик Сашкин потоптался еще немного, делая вид, что

одежу поправляет, но Сашка тронул его за локоть — пошли, дескать, нечего себе и хозяйке душу мытарить.

Утро не выдалось — пасмурно, небо в серых облаках, но Сашкин однопутчик (Жорой его звали) воздух ноздрями потянул, расплылся в улыбке и за свое:

— Утро-то какое! Воздух! А тишина... Красота!

— Курево у нас к концу, — остудил его Сашка.

— Подумаешь, курево! Ерунда! Попросим где-нибудь табачку. Ты об этом не думай. Все это суета сует. Главное, к жизни идем, Сашка, к жизни!

— Ты почему в санроте не остался?

— Свободы, брат, захотел. Три года в армии я, все по приказу делать приходилось. А сейчас иду куда хочу. Захочу, на травке поваляюсь, захочу, в любой деревне остановлюсь, а захочу, мимо пройду. *Свобода*, брат, великое дело. Хоть на месяц, хоть на два, но сам я себе хозяин, а в санроте врачей слушайся, сестер слушайся, начальство приветствуй... Понял?

— Понял, — кивнул головой Сашка.

Сегодня и у Сашки настроение куда лучше: во-первых, выспался нормально, во-вторых, часам к двум допедают они до Бабина и продукты получают, а потом эта ночь чертой какой-то отчеркнула все, что в Бахмутове с ним произошло. Вернее, не отчеркнула, а отодвинула назад, словно давно-давно это было. Только временами толчками какими-то пробивалась боль в сердце, но воли ей Сашка не давал — прошло это, возврата не будет, чего ж беречь напрасно...

Шли они проселками, а то и тропками, и деревень на их пути не попадалось, спросить про дорогу некого, и только к середине дня вышли они на большак к селу Лукковниково. Большое село, войском заселенное. Почти у каждого дома машины стояли груженные, и шоферня вокруг них суетилась веселая чересчур, видать подвыпившая.

Подошли табачку стрелкнуть и спросить, как на Бабино пройти. Оказалось, по большаку надо, никуда не сворачивая, верст семь, совсем близко.

— Чего припухаете? — спросил Жора шоферов. — Фронт-то голодует.

— А чего мы можем, распутица. Вторую неделю пух-нем.

Ну, этим-то припухать можно — с продуктами машины. И сыты, и пьяны, и нос в табаке, а тем, кто со снарядами, тем скучней, сами небось у баб картошечку выпрашивают.

По большаку идти было плохо — разбитый весь, в ямах и колдобинах, но веселей — прохожих попадалось больше. И военных, и гражданских, женщин, конечно, с ребятней. И куда бредут?

Тут увидели они, как плелись им навстречу несколько лошадей тощих, каждую боец за узду вел, а на них выюками крафтмешки бумажные с сухарями. Ну, сколько на каждую нагрузить можно? Пудов пять, не больше. Разве таким макарон фронт снабдишь? Попонятнее стало, почему голодуха на передке. Значит, верно, распутица во всем виновата.

Бабино завиднелось издалека белой колоколенкой. Шагу они прибавить не смогли, но на душе полегчало. Подходит конец их маете. Казенного получают сейчас довольствия по полной норме и до эвакогоспиталя дойдут в сытости — милостыню просить не придется, а это самое в их пути занозное.

Вот и добрались вроде... Прошли домов несколько, ища глазами, у кого спросить, где продпункт этот. Увидели у колодца лейтенанта, тоже в руку раненного. Стоял он и поливал из ведерка кисть безжизненную медленно так, струйками. «Чего это он?» — подивился Сашка и подошел к нему. Тот глаза поднял:

— Попить, что ли?

— И попить можно... Спросить мы хотели...

— Сейчас освобожу ведро, — перебил лейтенант, выливая остатки воды на руку.

— Зачем это вы? — заинтересовался Сашка.

— Боль унимается. Ранен-то я в плечо, а болит кисть. Жмет, спасу нет, а водой смочишь — легчает.

— Мы спросить хотели, товарищ лейтенант, продпункт где находится?

— Продпункт? — зло засмеялся лейтенант и пошел материться, да так, что Жора от удивления рот от-

крыл. — Был он, продпункт! Зимой! А сейчас нету, перевели куда-то!

— Как нету? — упавшим голосом прошептал Сашка.

— А так, нету, и все! — и пошел опять лейтенант матом. — Вторые сутки топаю, у баб картошечку выпрашиваю...

— И куда же его, продпункт-то? — спросил Сашка, все еще не веря, что лопнули все их надежды, и надеюсь, что перевели продпункт куда-нибудь недалеко отсюда.

— А никто ни хрена не знает! Поближе к тылу, наверно.

— Что ж делать будем? — Сашка присел.

— Вы утром лопали чего? — спросил лейтенант.

— Нет.

— Я тоже. В первой же деревне жрать будем просить. Беру на себя. Не дадут так, купим. Денег у меня навалом.

— А здесь не раздобудем? — спросил Жора.

— Нет, пробовал. Тут своих вояк полно.

— Ну, что ж, пойдете, товарищ лейтенант, вместе тогда, — сказал Сашка, вставая.

— Брось ты «лейтенанта». Не в строю мы. Володькой меня звать. Из Москвы я. Вас-то как?

— Александр я, а он Жора.

— Срочную служили?

— Ага. Я с тридцать девятого, а он...

— ...с тридцать восьмого, — досказал Жора.

— Я тоже два года оттрубил рядовым. А как война началась, послали на трехмесячные и вот кубари привесили. А они мне... — махнул рукой лейтенант. — Я привык за себя отвечать, а тут всучили взвод, да почти все из запаса... В первую ночь на передке один у меня к немцам решил податься. Поймали, конечно. Перед строем хлопнули, а меня за шкуру: как ты врага не распознал? А я его, сукиного сына, только две недели и знал, как формировались. Да и не враг он никакой, струсил, дрянь. Ну, тронулись, ребятки...

Повернули они обратно и потащились. Надо опять по большаку, а там налево будет дорога на Лужково, где этот эвакогоспиталь расположен.

Изредка обгоняли их машины. Голосовали без особой надежды, и верно, ни одна не тормознула даже.

В первой же деревне, что попалась им, когда они с большака сошли, направился лейтенант решительно к какому-то дому и, не постучав даже, вошел.

Сашка и Жора присели на завалинке. Вскоре лейтенант вышел со стариком — старым, худым, но с глазами живыми, колючими.

— Вот, трое нас только, дед. Надо нам передохнуть, поесть чего-нибудь... Ну и табачку надо...

— Только и всего? — спросил дед. — Довоевались. Хлебушка побираетесь. Что же это вас не кормят? А?

— Пропункт из Бабина выбыл, потому и требуем...

— Требуем? А какое у вас такое право требовать-то? А?

— Раненые же мы... Кровь пролили, — вступил в разговор Жора.

— А знаешь, сколько вас с февраля идет? — повернулся старик к Жоре. — И все к мужику... за хлебушком. А мужик давно вконец разоренный. Это ты понимаешь? Нет у меня, ребятки, ничего. Сам до лета вряд ли протяну. Пройдитесь по деревне, может, у кого другого и есть, может, подаст кто...

— Подаст! — вспыхнул лейтенант. — Мы не нищие какие. Вот деньги, — вытащил дрожащей рукой из кармана тридцатки. — Сколько за картошку хочешь? Одну, две? Ну, отвечай!

— Ну что мне твои деньги? Было бы что, дал бы... Идите вы от меня, и весь сказ. Докудова немца пустить решили? До Урала, что ли?

— Молчи! За такие слова... — Лейтенант задрожал весь, глаза выкатил и зашарил рукой в кармане брюк.

— Отойди, лейтенант, — встал перед ним Сашка. — Отойди! Тут другой разговор нужен.

— Солдат-то поумнее тебя будет, — сказал старик и добавил: — Послушайте лучше, чего посоветую...

— Говори, дед, и прости, с фронта мы, нервные... — подступил к нему Сашка.

— Вот это разговор другой. А то — требуем. А чего требовать? Ты спроси сперва, есть ли чего у меня. А если нету, чего требовать? Что нервные вы и перемаянные, понимаю. Не с тещиных блинов идете. Но и нас понять

надо... Так вот, идите-ка на поле, там картоха, с осени не копанная. Накопайте и лепехи себе нажарьте. Поняли? Сам это жру.

— Поняли, — сказал Сашка.

— Пользы, может, и немного, но брюхо набьете, и полегчает малость. Идите. Сковороду, так и быть, дам и присолить чем.

Копали картошку руками. Слизнявые, раскисшие клубни расплзались в руках, и, как есть такое можно, вначале не представлялось, но когда выдавили из кожуры синеватую мякоть, размяли в руках, присолили и стали печь на сковороде, то уже от запаха, что шел от лепех, закружило в голове и сладко заныло в желудке. А когда попробовали горяченьких, то Жора зачмокал и пробормотал:

— А ничего, ребята, лады! Можно сказать даже, красота!

И вправду, то, что казалось несъедобной гнилью, шло им сейчас в горло за милую душу, а если б примаслить маленько да присолить покрепче — совсем еда хорошая.

Только у лейтенанта стояли слезы в глазах, хотя и он жевал вовсю... Обидно, конечно, но что поделаешь, война...

Решили покопать еще и напечь лепех впрок, на дорожку, благо сковорода есть. Отняло у них это часа два. Когда возвращали деду сковороду и поблагодарили, тот полез за печь, достал самосаду и дал им табаку немного, но все же подковырнул:

— И махры, значит, для вас не припасли. Как дальше воевать-то будете?

— Не беспокойся, дед, провоюем и немца погоним, — сказал Сашка.

— Кабы так, все бы я простил... — вздохнул дед.

Чего простил, кому, он не разъяснил.

Вышли они за деревню и расположились покурить не спеша, полежать немного, разморило после еды-то.

— Значит, говоришь, погоним немца? — обратился лейтенант к Сашке, чуть усмехаясь.

— А разве не так?

Лейтенант затыкнулся дымом, сплюнул.

— Так-то так, только скажи, откуда у нас такая глупая уверенность? Разве ты на передке не убедился, что немец пока сильнее нас, организованнее, умелее...

— Вот именно, умеет, гад, воевать, — сказал Жора. — Только бросьте вы о войне. До сих пор в ушах звон, дайте покурить спокойно.

— Забыть хочешь? — спросил лейтенант.

— Хочу. Я тишину слушаю... — И опять блаженная улыбка растянула Жорины губы.

— Недолго придется слушать. Через два месяца как штык опять на передке будешь.

— Знаю. Но думать об этом не хочу. Нам теперь часом жить надо. И если час твой — радуйся на всю железку. Давайте договоримся — о войне ни слова. Лады?

— Валяй радуйся. Долг свой ты выполнил, совесть у тебя чистая, валяй радуйся.

— Вы так говорите, лейтенант, словно завидуете. А вы тоже долг свой выполнили...

— Да иди ты к черту и с выканьем, и с лейтенантом. Сказал вам — Володька я! Так и зовите. — И лейтенант задумался, так и не ответив Жоре.

А Сашка, видя, что скребет что-то на душе лейтенанта, сказал:

— Война все спишет.

— Глупость! — взметнулся Володька. — Самая настоящая глупость. Вы рядовые, вам что, вы никого на смерть не гнали... Ничего не спишется. Всю жизнь помнить буду, как глядели на меня ребята, когда я им приказ на наступление выкладывал... Всю жизнь... — и замолк лейтенант.

Посидели они еще немного, Сашка с Жорой кое о чем еще поговорили, а Володька мусолил одну самокрутку за другой и ни слова. Но надо и идти, понежились, и хватит. Перевязки на ранах у них пожелтели, бурые пятна на них выступили, а внутри присохли и при движении об раны терли, больно было. А с этим крюком на Бабино, возней с лепехами и отдыхом после потеряли они времени много, да и шли не ходко, дойти им дотемна к этому Лужкову вряд ли удастся.

И верно, к вечеру пришлось им в какой-то безымянной деревеньке ночлега просить.

Оприютили их две женщины пожилые, сестры видимо, и приняли хорошо, участливо, про войну спрашивали, и ужинали они щами, постными, ясно, но горячими. Хлебца им дали по кусочку махонькому и по две картофелины большие. И на том спасибо, и то здорово.

Предложили хозяйки две постели на троих (больше не было, свои уступали), но они отказались и постелились опять на полу. Спали крепко, потому как все же сытые были, хоть и не очень.

У Саши и Жоры раны ночью прибалывали больше, а у лейтенанта наоборот, тот с утра начинал кривиться и кисть раненой руки водой примачивать.

Из этой деревни вышли они вскоре опять на большую дорогу... Тут тоже машины ходили — и «газики» и «ЗИСы-пятые», — но на их поднятые руки ноль внимания. А лейтенант тяжелей всех шел, красный весь, небось жар поднялся, и каждую прошедшую машину матерком провожал.

И вот один «ЗИС» порожний показался, лейтенант на дорогу вышел, руку поднял, и по лицу видно — не отступит. «ЗИС» засигналил, но скорости, лярва, не сбавил и только в шагах нескольких от лейтенанта вывернул круто в лужу огромную, обдал Володьку грязью с ног до головы и дальше покатил.

И тут лейтенант не выдержал, матюгнулся жутко, из кармана пистолет выхватил (не знали, что при оружии он) и пальнул вслед два раза, хотел, видно, по шинам, но промазал. «ЗИС» тормознул до юза, из окна кабины высунулась рожа толстая, а затем и ствол автомата... Они замерли поневоле — чем черт не шутит, может, пьян шофер, бабахнет попугать, но ненароком и задеть может. Только Володька, пистолета не пряча, к машине поперся, шальной, право... Шофер дверцу открыл и вышел, стал баллоны задние осматривать. Ну, тогда и Сашка с Жорой тронулись.

Володька к «ЗИСу» подошел и криком:

— Ты что, гад, остановиться не можешь?! Видишь, ноги еле тянем.

— Полегче, лейтенант, и пушку спрячь, — спокойненько так сказал шофер. — Без запаски я. Пробил бы

баллон, что делать, а я по заданию. Эх, надо бы по вас очередишку да в кювет загнать, может, опомнились бы...

— Голосуем, голосуем, и ни одна машина не остановится, — вступил Сашка.

— И правильно. Вы ж через полчаса обратно проситесь будете.

— Это почему ж? — спросил Жора.

— А потому. Ну, ладно, залезайте, только по-быстрому.

Залезли в кузов. Жора бледный, зуб на зуб не попадает.

— Ты, лейтенант, эти штучки с пистолетом брось. На кого другого нарвался — и врзал бы. А я свои два месяца отгулять хочу.

— Не ной, отгуляешь ты свои два месяца. И бабешку какую найдешь побаловаться.

— Между прочим, — сказал Жора задумчиво, — странное дело, о женщинах совсем не думаю. И во сне не снятся.

— А с чего им сниться-то? — усмехнулся лейтенант.

— Нет, странно все же... Молодой я...

— Довела тебя, знать, Жора, передовая. Смотри, на всю жизнь можно таким остаться, — продолжал травить Володька.

— Неужто? — забеспокоился Жора. — Разве у вас не так?

— У нас? — засмеялся лейтенант. — Нам с Сашкой только подай. Верно, Сашок?

— Нет, правда? — волновался Жора.

— Ну, какие бабы, Жора? Другие мысли у нас — где пожрать, где курева достать... — успокоил его Сашка.

А дорожка не приведи Боже! Кидает их из стороны в сторону, и каждый толчок в ранах отдается, да еще бочка с бензином по кузову катается, то одного, то другого по ногам трахнет. Километров пять помучились, а потом застучали в кабину — давай останавливайся.

— Ну что? Говорил вам, порастрясет. По такой дороге и здоровому душу вытряхнет. Потому и не берем вас. Версты три проедете и слезаете. Только время с вами

терять. А мне вот к такому-то пункту надо ровно в ноль-ноль. Поняли? — сказал шофер, нетерпеливо глядя, как они из кузова выкарабкиваются. — Ну, бывайте.

— Поняли, — вздохнули они и потопали опять пехом.

Когда мимо картофельных полей проходили, видели, как копошатся там калечные, дымят кострами. Не одни они, значит, так кормятся. Тоже какой дед надоумил, а может, своим умом дошли. В общем, эта картошечка некопаная идет в ход всюю, помогает раненым эту дорогу выдюжить.

Пришлось им вскоре опять на лесную дорогу свернуть, от большака вправо. Сказали им, так поближе будет, верст несколько сократить можно. Но как вошли, пожалели, что послушались. Неприветная дорога, сумрачная... По обеим сторонам ели вековые наверху ветвями сплелись, света белого не видно.

Когда полями шли, перелесками, по опушкам, взгляду было где разгуляться. И солнце видно, и дали, и воздуху кругом полно, в общем, «красота», как Жора говорил, а здесь даже дыхание сперло — сыро, душно, смрадно. А дальше еще больше дорога поугрюмела, их передовую стала напоминать. Войско вроде зимой тут стояло, а может, и бои были, потому как валялись по сторонам каски простреленные, сумки от противогазов, ящики цинковые от патронов, обмотки ржавые, обрывки бинтов окровавленных, и даже труп один они приметили, но подходить не стали — хватит, на всю жизнь насмотрелись!

Только мысли о войне они с трудом отбросили, а дорога эта опять к ней возвратила. У лейтенанта губы сжались, взглядом в одну точку уставился, и у Сашки сердце тяжестью прихватило. Разговора не получалось — каждый свое вспомнил. Только Жора, впереди их идущий, без внимания это оставил (наверно, нарочно) и даже насвистывал что-то, пока Сашка не крикнул ему вслед:

— Брось, Жора, свистеть!

— А что? — остановился тот.

— Место вроде не для свиста... Бои были... Люди гибли...

— Вот ты о чем, — вроде небрежно бросил Жора и пошел дальше, но навистывать перестал.

— С него еще телячий восторг не сошел... Все радуется, что живым остался, — немного раздраженно заметил лейтенант.

Видел Сашка, что Жора лейтенанту на нервы действует — и улыбочкой своей постоянной, и охами и ахами по всякому поводу, но что поделаешь? Светла и дорога и доля одинаковая — терпите, приноравливайтесь друг к другу.

Лейтенант труднее других шел. Боли его не отпускали, нерв же перебитый, а он дает боль непрестанную, только ночами отходит. Сашка поэтому равнял шаг на него, хотя и мог идти шибче. А сейчас, видя, что совсем лейтенант еле ногами переступает, предложил перекур, на что тот с радостью согласился.

Присели, завернули по сигарке, задымили... Жора из глаз скрылся: делала дорога тут поворот. Ладно, догадается, что перекуривают они, обождет.

— Лейтенант... — начал было Сашка, но тот перебил: — Опять?

— Ну, ладно, Владимир. Давно я хотел спросить: почему ты звания командирского не хотел? Мой ротный тоже, когда кубарь ему повесили, что-то не радовался.

— Значит, не дурак твой ротный.

— Я понимаю, — сказал Сашка, — людей на смерть посылать трудно, но все же лучше такие командиры, как вы, кадровую отслужившие, чем из училища «фазаны» желторотые. Разве не так?

— Может, и так... — неохотно как-то ответил лейтенант, потом задумался и досказал не сразу: — У меня все «отцы» были во взводе из запаса, семейные все... Ох как не хотелось им помирать. А я — вперед, мать вашу так-то, вперед! — и примолк, опять задумавшись.

Сашка помолчал немного, тоже вспомнил, как наступали...

— Приказ же, — немного погодя сказал он.

— Что приказ?.. Мне сержант мой, помкомвзвода, который на войне второй раз, советовал завести взвод за балочку и там переждать немного, чуял он, захлеб-

нется наступление... А я ни в какую! Вперед и вперед! А ребят косит то слева, то справа. Ключья от взвода летят, а я вперед и вперед. Потом залегли, невозможно дальше было, и через минуту-две отход. Если б в этой балочке переждали, считай, полвзвода сохранил бы. Пони-маешь, Сашок? И все по своей дурасти, умней людей себя воображал. И помкомвзвода моего хлопнуло. Ну, как после этого? А?

— Да, — протянул Сашка. — Выходит, рядовым-то спокойней?

— Еще бы. Рядовой только за себя в ответе... Да что говорить! — махнул рукой Володька. — Я тоже забыть все хочу, как и Жора, но не выходит. Наверно, на всю жизнь это...

— Так война же, Володя...

И тут грохнул впереди взрыв. Глухо так вначале, а потом раскатился эхом голосистей.

Они вскочили, не понимая — откуда, что? Самолеты вроде не гудели, от фронта далеко... И тут словно толкнуло что-то Сашку в грудь.

— Жора!!! — закричал он и бросился бегом по дороге, а за ним и побелевший лейтенант.

Поворот они проскочили, и дорога далеко видна стала, но Жоры на ней не было. Пробежали еще немного, остановились, по сторонам стали осматриваться и... увидели: слева, на прогалине, шагах в десяти от дороги, лежал Жора, опрокинутый навзничь, руки разметаны, а грудь вся в дырах... И на глазах у них расползаются на ватнике бурые пятна у дыр, и, странно очень, на неподвижном и мертвом еще движется что-то...

Улыбки уже не было на Жорином лице, только скривлены были губы в удивленной, недоуменной гримасе и обиженно приоткрыты... Чуть поодаль от его тела у ели синел подснежник. За ним-то, наверное, и свернул Жора с дороги, и словно услышал Сашка его голос: «Смотри-те, ребята, цветок какой! Красота!»

Ни одна смерть на передке не ошеломляла так, как эта... Стояли они будто оглушенные, и ни одного слова не выдавливалось. Лейтенант стал как-то оседать и неуклюже опустил на корточки, прикрыв лицо трясу-

щейся рукой, закашлялся неестественно, стремясь, видно, перебить кашлем рвущиеся из горла всхлипы. А у Сашки рука сама потянулась к ушанке, стянул он ее перед покойником, чего никогда не делали они *там*, пальцы невольно сложились щепотью и пошли ко лбу, хотя не был Сашка, конечно, верующим (в церквах, правда, бывал на панихидах, когда родственников отпевали, и там крестился, как все), и, когда коснулся лба, разомкнул пальцы и провел просто ими по волосам.

— А я все смеялся над ним... — пробормотал лейтенант сквозь кашель.

— Покури, — сказал Сашка и протянул кiset, а сам пошел за Жориной шапкой, отброшенной взрывом в сторону.

— Не ходи! — взвизгнул Володька, но Сашка не слушал, только внимательно смотрел под ноги — нет ли еще тут этих проклятых «шпрингмин», — подняв шапку, накрыл ею Жорино лицо. Вроде легче стало, а то нет мочи глядеть на скривленные Жорины губы.

Лейтенант уже выпрямился, и искурили они по цигарке, молча и стоя, а потом Сашка подошел к Жоре и, распахнув ватник, полез в карман гимнастерки — надо же документы взять, но все было порвано, измазано кровью, красноармейская книжка расползлась в Сашкиных руках.

— Медальон ищи, — сказал лейтенант, а сам отвернулся.

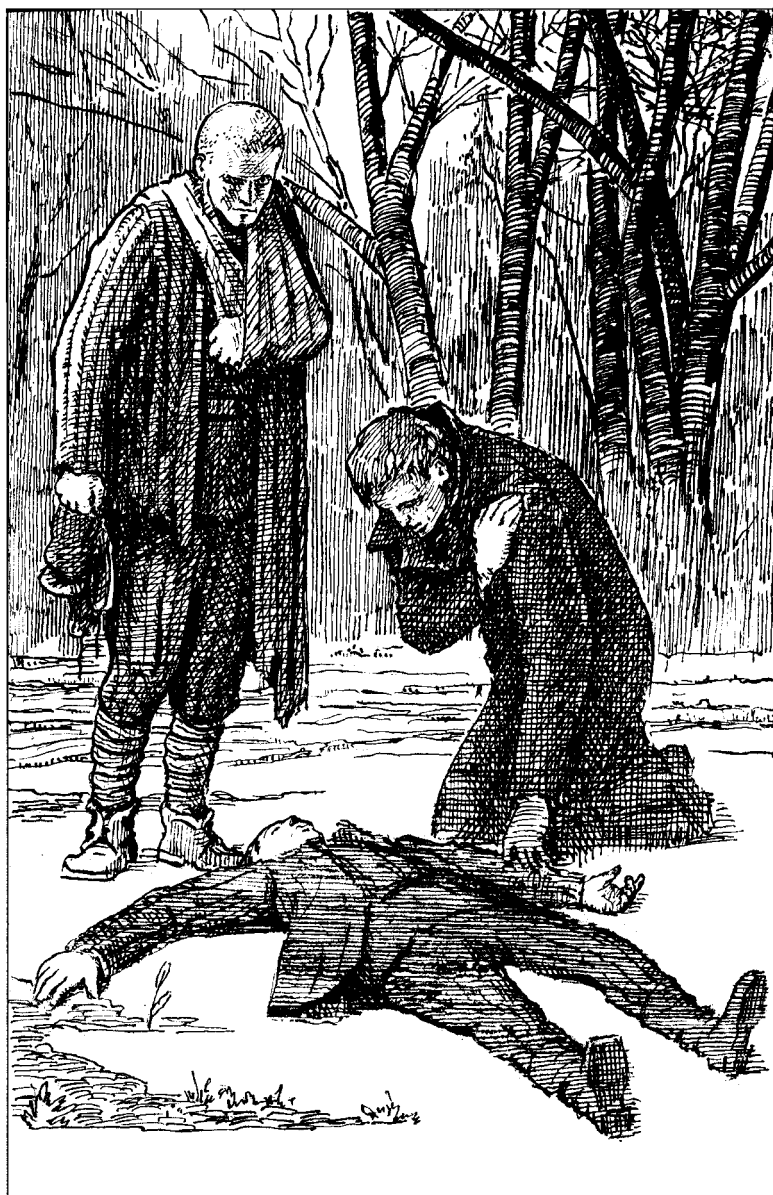
Смертный медальон хоть так и называется, но на медальон не похож. Поначалу выдали им такие жестяные ладанки, на шею вешать, отсюда и «медальон», наверно. А потом уж футлярчики черные из пластмассы. Сашка нашел его в кармане брюк и, развинтив, вынул оттуда желтую бумажку, в которой и прописано все, что надо знать живым о погибшем: имя, фамилия, год рождения, каким райвоенкоматом призван, домашний адрес и группа крови по Янскому.

— Не Жора он — Григорий... — прочел Сашка.

— Спрячь. В госпиталь дойдем, напишем родным.

— Напишем... Только правды не надо.

— Конечно... Погиб смертью храбрых в боях за Родину.



— Может, лапником его закидать? — сказал Сашка.

— Не надо. Так увидит его кто, проезжая, захоронят, — лейтенант вытащил пистолет и подошел к телу. — Ну, Жора, прости за насмешки... Не пришлось тебе в госпитале погулять. Прощай, — и выстрелил в воздух.

Негромкий звук выстрела одиноко и тоскливо прокатился эхом по лесу и иссяк где-то вдали.

Шли они дальше молча, какие тут слова... Лейтенант кусал губы, часто нападал на него кашель, и только одно вымолвил за дорогу:

— Напиться бы...

От стопки и Сашка не отказался бы — такая маета на душе. Вроде бы случайный был Жора попутчик, в боях вместе не были, а ведь так спаялись за дорогу, словно родными стали, и идти им сейчас вдвоем как-то неприятно, не хватает Жориных выкриков по поводу и без повода. Эх, Жора, Жора, не свернул бы за этим подснежником, шли бы вместе. Как же нелепо вышло. Пройти бои такие страшные, а по дороге в тыл, к жизни погибнуть...

К середине дня доплелись они до Лужкова, до эвакогоспиталя. Встретили их тут приветно. Правда, обед чуть-чуть не захватили, и терпеть им теперь до ужина. Но что делать, раз такие порядки в тылу: хоть и есть у тебя продаттестат, хоть он десять дней не использованный, но на довольствие ставят лишь с того дня, как прибыл, и за прошлое ни грамма.

Лейтенант было зашумел, чтобы пайки хлеба за обед дали, но порядки эти криком не переломаешь, да и шумел он не очень — умаян был и не до хлеба как-то сейчас, после того как товарища они потеряли.

Зарегистрировали их и в баню направили, а там в раздевалке девчата. Как при них раздеваться? А они тут как раз им для помощи и без стеснения стаскивают с ребят гимнастерки, брюки, белье даже нижнее и в прожарку. Ну тут еще ничего, прикрыли срамные места руками и скорей в баню шмыгнули, а там тоже девки! И что делать? А девчата смеются — привыкли, видно — и подходят то к одному, то к другому и мыться помогают:

и спину потрут, и голову намылят. Раненые-то все больше в руки, мыться одной рукой несподручно, но неудобно при женщинах. Правда, девчата веселые, смеются: «Вы для нас сейчас не мужчины, а бойцы раненые, так что не стесняйтесь».

Только один из них бесстыжим оказался, носился по бани голый, бил себя в грудь и гоготал: «Глядите-ка на меня. Все для фронта на мне написано», — а сам, видно, и был лещеватый, а теперь мослы так и торчат и ребрышки все пересчитать можно. Чудной парень, словно чокнутый или клоуна из себя строит.

Сашке его крики и посмешки не понравились, и он подошел к нему:

— Чего изгиляешься? Над чем смеешься? Кончай базар...

А Володька-лейтенант, услышав это, крикнул:

— Дай ему, Сашок, правой, а я левой добавлю!

Тот попятился:

— Ну чего вы, ребята, посмеяться, что ли, нельзя? Да вы на меня поглядите, верно же...

— Замолкни, — перебил Сашка.

После бани направили их на перевязку. Как увидел Сашка сестренку в белых халатах, так и кольнуло сердце — нет, не ушла Зина из души... А девчата ласковые, приветливые. Разбинтовывали их раны осторожно, чтоб боль не причинить.

С лейтенантом врач долго возился и, сказав, что ранение серьезное, посоветовал ему дальше не идти, а полежать тут недельку и дожидаться транспорта (дороги вот-вот пообсохнут), но Володька ни в какую! Хочет он во что бы то ни стало до Москвы добраться и с матерью повидаться.

А Сашка здесь с удовольствием бы остался отлежаться и подкормиться, что ни говори, тяжелая выдалась им дорога, но, раз лейтенант не хочет, покидать его Сашка не будет. Может, и ему самому, пока раненый и вне строя, тоже домой махнуть? До Москвы вместе с Володькой доберется, а там недалеко. Тоже мать более двух лет не видал, и если сейчас не свидеться, то вряд ли в другой раз случай такой выпадет.

После перевязки повели их в большой дом, клуб раньше был, наверно, а там разместили на двойных нарах, но у каждого матрасик, простыня, одеяло. Лейтенанта хотели было в другую палату, командирскую, но он наотрез отказался, и лежали они теперь вместе, чистенькие после бани, на чистом белье, — красота, сказал бы Жора.

Лейтенант, полежав немного, вынул из кармана пачку тридцаток, пересчитал и, ничего Сашке не говоря, смылся. Видать, в деревню, самогону доставать.

К ужину пришел повеселевший малость и, когда стали еду разносить, вытащил из кармана бутылку мутно-го желтоватого самогону и одну луковицу на закуску.

— Знаешь, сколько отдал?

— Сколько?

— Пять сотен!

— Деньги-то какие по мирному времени! — удивился Сашка. — Совести на них нет, что ли?

— И то еле выпросил, за деньги-то. Если б керосинчика, говорят, или крупы какой, или что из одежонки, тогда бы с радостью.

Ужин дали приличный. Ребята, кто давно здесь, говорили, что в обед и вчера и сегодня котлеты были и по стопке выдали в честь праздника — второе мая уж наступило. И сейчас каша из гречки, хлеба по полной норме, сахар к чаю. Если б не такие оголодалые были, хватило бы. Но сейчас это для них на один заглот. Как хлебушек увидели, скулы свело.

Раздобыл Сашка кружки, разлили, чокнулись... Соседи по нарам поглядывали жадно, но бутылка-то одна, на всех не разделишь.

— Жору помянем, — сказал лейтенант и всю кружку одним махом влил в себя, не поморщившись.

А Сашка выпил с трудом, еще до армии чуть этим самогоном не отравился и запаха его не терпел, но сейчас не до вкуса — забыться бы на миг, отогреть душу...

Потом за победу пили... За то, что живыми пока остались... За матерей своих выпили ждущих (это Володька предложил). Как выпили, подобрили и соседям своим ближайшим чуток налили. И потекли разговоры

разные: кто про бои, кто про дом, кто про прошлую жизнь на гражданке, кто гадал, что после войны будет, и все дружно начпродов материли, потому как со жратвой везде плохо было.

Тут один лейтенанта спросил, как тот наступления их понимает, каков смысл был, все же он командир, может, ему поболее известно.

Володька задумался, потер лоб, скривил губы.

— Сам голову ломаю... Одно знаю: немцам покоя от нас не было, то в одном месте куснем, то в другом. Может, в том и смысл, что не давали ему маневра, связывали его... Так, наверное...

Сосед ответом не очень удовлетворился и пробурчал:

— Может, и так... Но людей все же много поубивало, вот что...

— На то и война, чтоб убивало, — заметил Сашка.

На том разговор этот прекратился и перешел на мелочи, которые вскоре и забылись начисто.

Утром на врачебном обходе опять доктор посоветовал лейтенанту остаться, тем более, предупредил он, до самой станции Щербово, где госпиталь, ни продпунктов, ни эвакуогоспиталей других не будет. Но разве Володьку убедишь в чем. А Сашке ох как не хотелось уходить отсюда.

С ними в путь собрались еще человек десять. Уж неизвестно, по каким таким причинам они уходить решили, небось просто от фронта подальше захотелось, где и с кормежкой будет получше, и с помещением, и с уходом.

Вышли они не рано, часов в десять, после завтрака, и к другим прибываться не стали, вдвоем-то лучше, чем табуном идти: и с ночевкой легче, и еду попросить на двоих как-то удобней.

Больше пятнадцати верст за день им теперь не одолеть и к Щербову одним переходом не попасть, где-то ночь придется проводить, где-то на ночлег проситься.

После самогона идти плохо — горло пересохло, у каждого колодца или ручья водой наливаются, а от нее слабость еще больше. Потеть стали в ватниках, а снять — не жарко, ветерок майский продувает, просквозит запросто. Это *там* никакая их простуда не брала, но то

передовая! Там и захочешь приболеть, ан нет, не выходит. Там они словно железные были. А тут в мире и расслаб, и заболеть можно ненароком, а им это совсем ни к чему, им добраться до места надо.

Шли они очень не ходко, версты четыре протопают — и перекур на полчаса, а то и поболее. На одном из передыхов Сашка лейтенанту про своего немца и рассказал, давно на языке вертелось, да все как-то не выходило. Володька слушал внимательно, переживал, видно, себя на место Сашки ставил, а в конце рассказа раскашлялся, этим он всегда так свое волнение скрывал.

— Ну, Сашок... Ты человек... И как ты думаешь, комбат шел к тебе, уже решив отменить свой приказ немца шлепнуть или тебя проверить?

— Тогда думал, идет меня проверять и силой заставить приказ исполнить или хлопнуть за невыполнение, а сейчас думаю, может, еще в блиндаже одумался и шел с отменой...

— Мда... случай... Дай-ка лапу, Сашка. — Лейтенант протянул руку и стиснул Сашкину в крепком рукопожатии. — Я бы не смог.

— Ну да, — улыбнулся Сашка, — еще как смог бы. Не простое дело человека убить... да безоружного. И ты бы не стал... Люди же мы, не фашисты, — досказал Сашка просто, а лейтенант еще долго глядел ему в глаза с интересом, словно впервые видел, словно старался отыскать в них что-то особенное, пока Сашка не сказал: — Ну, чего на меня глаза пялишь, как на девку. Ничего во мне нету.

Володька глаза отвел, но не раз после этого замечал на себе Сашка его взгляд, любопытствующий и уважительный.

Немного они протопали, а дню конец уже приходил... Попалась им проходящая случайная, спросили, скоро ль деревня какая. Ответила, что верстах в трех будет, но там ночлегу лучше не просить.

— Это почему же? — выкатил глаза лейтенант.

— Да побитая она вся. Фронт тут держался. В Прямухино идите, село большое, под немцем не было. Там хорошо примут.

— А до него сколько? — спросил Сашка.

— Верст семь будет...

Послушались прохожую, двинули на Прямухино. А ту деревню, ближнюю, прошли, и верно, всего три дома целых, куда уж тут на ночлег проситься... Да что говорить, насмотрелись они по дороге на многое. Обидный путь выдался. И главная обида, что пропускты эти проклятые, как нарочно, с места на место переезжают — и знать никто не знает куда. Вот и приходится картоху копать на виду у людей, а при ночевках глаза голодные прятать... И представляли они себе, каково бабонькам каждую ночь постояльцев принимать и делиться с ними последним куском. Памятник им, этим бабам из прифронтовых деревень, после войны поставить надо...

Лейтенанту Володьке, московской, городской жизнью балованному, к голоду непривычному, тяжче, конечно, ну а Сашка к невзгодам более приученный — был в детстве и недоед, а в тридцатых и голод настоящий испытал, — ему эту дорогу перемочь легче.

Подходили они к этому Прямухину, где ночевать проситься, с щемотью в сердцах — ходи опять по избам, кланяйся, проси приюта. Хорошо, что последний это ночлег, дойдут завтра до Щербова, до госпиталя настоящего, и там все законное получают — и место, и довольствие.

Начали они с краю... Домов побогаче на вид уже не выбирали, лишь бы куда приткнуться. Постучали в первый же дом. Вышла женщина рябоватая, посмотрела на них, головой покачала — небось на обтрепанные, обожженные их телогрейки, на небритые опавшие щеки — и сказала:

— К председателю идите. У нас черед установлен, кому вас, горемычных, принимать. Сегодня вроде Степанида должна...

— Порядок, значит, установили? — буркнул лейтенант.

— А как же? Вы все норовите дом поприглядней выбрать, а достаток у нас сейчас один. Это когда при мужиках были, разлились. А теперь бабы работницы, вот и сравнились все. И выходит, одни чуть ли не каждый день раненых принимают, а другим не достается.

— Где председателя искать? — спросил Володька.

— А к середке идите. Там сельсовет у нас.

— Ну, спасибо. Может, у вас и такой порядок заведен — кормить раненых?

— Конечно. На то черед и установили. С едой, конечно, у нас не очень, но что Бог послал, как говорится.

Двинулись они к сельсовету, и на душе покойно, везде бы так — без мытарства, без упрашиваний.

Лейтенант губы кривить перестал и на лицо даже поживел немного.

У сельсовета народу толпилось много, женщины конечно... Одна крикнула громко, заметив подходивших к ним Сашку и лейтенанта:

— Степанида! Принимай гостей! Пришли к тебе на стой. Где ты, Степанида?

Степанида — грузная, крупная — подошла, оглядела их и, улыбнувшись добродушно, сказала:

— Ну, пошли ко мне, герои... Как в вас душа-то держится?

— Держится покамест, — ответно улыбнулся Сашка, но тут первая женщина, которая Степаниду звала, приблизилась к ним, остановилась и странно как-то, очень внимательно осмотрела Сашку с ног до головы, а осмотрев, сказала:

— Этого ясноглазого я к себе возьму. Пойдешь, парень?

— Так с лейтенантом я...

— Ничего. Лейтенант твой к Степаниде пойдет, а ты ко мне. Он теперь тебе не начальник.

— Не в том дело, — перебил Сашка. — Вместе идем почти с самого фронта.

— Иди, иди, — усмехнулся Володька. — Раз тебе персональное приглашение, отказываться не следует.

— Если ты не возражаешь... — неуверенно произнес Сашка.

— Иди, иди. Хозяюшка-то твоя ничего... Не зря зовет.

— Ладно, ты зубы не скаль, командир, — обрезала она. — Раз зову, значит, причина есть. Понял?

— Как не понять, — опять осклабился лейтенант.

Сашка оглядел ее, статную, крутобедрую, молодую,

годков на несколько только его старше, наверное, и решил:

— Согласный я, пошли...

— Видали, согласный он! — засмеялась Степанида, да и остальные бабы. — Да Пашка у нас, поди, первая красавица на деревне, а он сомневается еще.

Смутился Сашка немного от смеха бабьего, а Володька не удержался добавить:

— Смотри, Сашок, не теряйся.

На что Паша замахнулась на него рукой:

— Заткнись, лейтенант! На мужиков-то вы уже не похожие, а мысли кобелиные все оставить не можете. Куды вам не теряться? До постели бы ноги дотянули, а вы... Разве неверно говорю?

— В самую точку! — засмеялся Володька.

— То-то и оно. Пошли, парень. Зовут-то как?

— Александром, — ответил Сашка.

— Александром? — переспросила она почему-то. — Я думала, по-другому тебя кличут.

— Почему?

— А так.

Шли они к дому молча. Паша впереди, и Сашка поневоле видел, как колышутся под юбкой ядреные ее ягодички, как поблескивают полные икры, не закрытые голенищами коротких сапог, но волнений особых вид этот у него не вызвал, только отметил в мыслях, что баба-то в самом соку и без мужика ей небось трудно.

Ввела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть, и сказала:

— Ты пока отдохай, покури, а я через полчаса управлюсь, приду, и ужинать будем. — И ушла по своим делам.

Сашка присел на скамью, крутить сигарку начал. Покойно как-то на душе стало, размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся... Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели. Подошел Сашка ближе для разгляду — чинные, приодетые, глядели на него старики и старухи, родители или деды Пашины или мужа ее. Но все это без интереса для Сашки, а вот мужчиной в полушубке белом и шлеме красноармей-

ском он заинтересовался. Глядел тот с фотографии весело, с улыбочкой, и папироска длинная в углу рта торчала как-то задорно, и показалось Сашке лицо его очень знакомым. Но откуда? И не сразу догадался он, что парень этот на него, Сашку, очень похожий. Такие же скулы приметные, такой же нос чуть курносый, и глаза так же широко ставлены. Усмехнулся Сашка — бывает же такое! Словно брат родной или сродственник близкий, чудеса прямо.

Паша вошла, Сашкой не замеченная, и, увидев, что он фотографию разглядывает, кинула скороговоркой:

— Муж мой Максим, в финскую взятый. — А потом подошла к печи, вытащила чугуна с водой, отлила в ковшик. — Может, щетину сбреешь? Дам я тебе и помазок, и бритву.

— Хорошо бы, — провёл Сашка рукой по колючему подбородку.

— Ну вот, побреешься, умоешься, и вечерять будем. Здорово голодный-то?

— Голодный, — ответил Сашка прямо.

Бритва Максимова была не ахти правленной, да и без руки левой бриться неудобно. Но все же с грехом пополам побрился Сашка. Подала ему Паша умыться и даже одеколону тройного дала подушиться. Погляделся Сашка в зеркало — никакой солидности, мальчишье лицо совсем. Душой-то он себя старше чувствовал и удивился даже, что не очень-то изменила его двухмесячная та мытная на передовой, только глаза сильно усталые. Паша тоже удивилась и спросила:

— С какого года ты?

— С девятнадцатого.

— Я поначалу подумала, постарше ты. А щетину сбрил — мальчишка совсем.

— А вы с какого? — задал неудобный вопрос Сашка, но Паша, не смутившись ничуть, ответила:

— С пятнадцатого я. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.

— Хорошо, Паша.

— Ты скажи, почему идете такие? Кожа да кости. Один другого краше. Не кормят вас на войне, что ли, или, пока дойдете сюда, тощаете?

Рассказал Сашка. Ну, не все, конечно. Все граждан-

ским знать незачем, но кое-что про фронт рассказал...

— Господи ты, Боже мой, — запричитала Паша. — Что же это на свете делается?

— Растянулись тылы, ну и распутица, — объяснял Сашка лейтенантовыми словами, да и сам так понимал. Конечно, братву полегшую жаль до невозможности, но по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили.

Стала Паша на стол накрывать, еду выставлять. Сашка рот от удивления открыл — чего только не было. Во-первых, огурцы соленые, с детства им любимые, потом грибки с порезанным луком, потом кусок сала свиного с розовыми прожилками, лепешки ржаные с мятой картошкой посредине вместо творога и, наконец, самогона бутыл!

— У вас немца не было? — только и спросил Сашка.

— Миловал Бог. Чуток не дошел.

— Я смотрю, еда у тебя больно богатая.

— Какое богатство! Я и щами тебя угощу, и на второе картошкой, жаренной с яйцами, — улыбнулась Паша, видно довольная, что есть ей чем угостить.

Налила она Сашке полный стакан граненый, а себе половину. Протянула чокнуться.

— За что выпьем-то? — спросила.

— За победу, конечно, — не замедлил Сашка с ответом.

— Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство. Небось догадался ты, почему позвала я тебя?

— Вроде.

— Похож ты на Максима. Как увидела, так и ахнула. Одно лицо. И надо же такое. Как фамилия твоя, может, каким образом сродственник ты с Максимом?

Сашка сказал.

— Нет, другая совсем, — чуть разочарованно сказала Паша. — Пропал мой Максим. Так с финской и не отпустили. На западную границу послали. Там в первых боях и сгинул, наверно.

— Может, в плену?

— Все может. Но на Максима не похоже. Не из таких он...

— Из каких ни будь, а всякое бывает. — И рассказал Сашка, как обманули их немцы, как его напарника, с которым на посту стоял, полонили, как и сам мог попасть, задержись он с валенками. — Ты надежду не теряй, — закончил он.

— Нет, Саша, чует сердце, пропал Максим... Ты закусывай как следует, не стесняйся, — переменяла разговор Паша, а Сашка и так навалился на еду, того и другого прихватывал, не в силах удержаться, и потому, что ел много, самогон на него не очень-то подействовал.

Смог он под второе, под картошку, на сале жаренную и яйцами облитую, еще стакан опрокинуть и тут только захмелел. И стало ему так хорошо, будто в доме он родном, и Паша, сидящая напротив и ласково на него глядящая, тоже показалась родной и знакомой, будто знает он ее много, много лет.

Тяжело человеку долго быть обездомленным, без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И провало Сашку, разоткровенничался вовсю и про все, про все стал Паше рассказывать. И про Зину не скрыл. Как бегали при бомбежках в эшелоне вместе, как простились они в Селижарове перед ночным маршем, как обещала она его ждать, как поцеловались напоследок горьким поцелуем, как думал о ней там и как встретились в санроте. Все рассказал, даже о том, что бессильным оказался, не умолчал.

Паша слушала внимательно, с сочувствием, прерывала иногда Сашкино повествование разными бабьими охами и ахами, переживала за Сашку, видать, по-настоящему.

— Эх ты, бедненький, — потрепала она его по отросшему ежику волос. — Хорошо, что Зину эту не хулишь. Справедливый, значит. Вошел в ее женское положение, понял...

А Сашке захотелось вдруг уткнуться головой в Пашины колени, как маленькому, и отреветь все свои обиды, но сдержался, только взял Пашину горячую шершавую, рабочую руку и стал приглаживать пальцами. Она прильнула к нему плечом минутно и сразу отпрянула, сказав отрывисто:

— На печи спать будешь.

— Куда положишь, там и буду.

После этой ласки мимолетной стала Паша какой-то беспокойной. С печки убрала все лишнее шумно, резко, словно спешила куда.

У Сашки же глаза слипались, еле на стуле держался... В бутылки самогону еще осталось, и Паша спросила:

— Сейчас допьешь или завтра перед дорогой выпьешь?

— Можно, Паша, я лейтенанту оставлю? Боли у него сильные, особенно с утра...

— Оставь, если добрый такой, мне не жалко, — улыбнулась Паша. — Хороший он, лейтенант-то твой?

— Свойский парень. Сдружились за дорогу. Горячий только.

Постелила Паша на печке простыни и все такое.

— Залезай, — скомандовала она, и Сашка уже в полусне забрался на печь, растянулся блаженно, но тут закачалась изба, закружилась, и стало Сашку то приподнимать на высоту какую-то, то вниз с этой высоты бросать, и замутило страсть как, и забоялся он, как бы всю еду не вырвать — этого еще не хватало! Крутился он и так и этак, чтобы тошноту перебороть, и все же переборол, свернулся калачиком и заснул.

А во сне случилось необыкновенное: ощутил вдруг он на своих губах чьи-то влажные, жаркие губы, и не понять, Зинины ли, Пашины ли? Смешалось все, перепуталось. Только запомнил он, что мешала ему все время рука его раненая...

Утром, как проснулся, вначале и решить не мог: сон ли то был или наяву? И по Пашиному виду не определишь, такая же она, как вчера, простая и приветливая, накрывает на стол завтрак и внимания вроде на Сашку не обращает.

В бутылке самогону оставалось столько же, но перед Сашкой опять стакан полный. Хоть и пить после вчерашнего не хотелось, но как от такой редкости отказаться, когда еще выпить придется, и Сашка стакан ополовинил. А на закуску опять яичница с картофелем да грибки и огурчики!

— Вот, Паша, — сказал Сашка. — Встретились мы случайно и дня вместе не пробыли, а ведь помнить тебя весь век буду...

— Брось заливать-то! Знаю я вас...

— Нет, правда, Паша. Я врать не люблю... — У Сашки приятно кружило в голове — на старые дрожжи и полстакана ударило.

Паша посмотрела на него в упор, задумалась, а потом, отвернувшись, вроде совсем безразлично спросила:

— Может, остаться хочешь? Передохнешь недельку. Фельдшер у нас есть, рану перевяжет.

— Нахлебником, что ли? Нет, Паша... И лейтенанта бросить не могу, вместе должны дойти.

— Ну что ж, воля твоя. Насчет нахлебника — ерунда. Неделю тебя покормить мне без труда, одна же я...

— Детей разве нет у тебя?

— Были бы, увидел.

— Я подумал, может, у деда с бабкой. Ты ж на работе, поди, цельный день.

— Нет, не выдались у нас с Максимом дети. Уж кто виноват, не знаю. Раньше переживала, а теперь думаю, к лучшему.

В окошко постучали.

— Наверное, дружок твой, лейтенант этот. — Паша приоткрыла дверь и крикнула: — Заходи!

Володька вошел скромненько, но все же спросил усмешливо:

— Жив мой Сашка?

— Жив! Не съели! Присаживайся. Выпить тебе оставили, — сказала Паша.

— Неужто? Этим Степанида меня не потчевала.

— Не за что было, значит. Сашку благодари. Я бы тебе, зубоскалу, ни столечки не дала.

— Выпей, Володь, — наливая полный стакан и пододвинув его лейтенанту, по-хозяйски предложил Сашка.

— И закусывай, — добавила Паша.

— Спасибо. За ваше здоровье! — Володька опрокинул стакан разом, крякнул, зажевал соленым огурчиком. — Ну как спалось, Сашок? — и подмигнул.

— Хорошо спалось, не волнуйся, — вступила Паша сразу, — и перестань лыбиться.

Лейтенант улыбку спрятал, посерьезнел, и что-то растерянное появилось в глазах.

— Ты, может, остаться решил тут? — спросил он Сашку тихо.

— Нет, Володь. Вместе путь начали, вместе и докончим.

— Если ради меня... — начал было лейтенант, но Сашка перебил:

— Давай собираться, — и поднялся.

— Уже? — потерянным голосом спросила Паша. — Погодите немного. Соберу чего-нибудь вам в дорогу. Погодите... — стала суетливо в какой-то мешочек холщовый совать вареную картошку, хлеба, сала куски...

Уходил Сашка с тоской... Паша стояла у крыльца и долго провожала их глазами, а они, пока видно было, оборачивались часто и помахивали руками.

— Словно из дому ухожу, — сказал Сашка лейтенанту, когда скрылось совсем приветное это сельцо с хорошим таким прозванием — Прямухино, скрылось навсегда, потому как вряд ли военные Сашкины дороги смогут привести его сюда когда-нибудь. Навсегда ушла из жизни и Паша, оставив только сладкую зарубину в сердце и живое, не преходящее пока ощущение теплоты и уюта.

— Приголубила, значит?

— Не в том дело... Хорошая женщина очень, сердечная. Звала остаться на недельку...

— Я догадался. Чего ж ты?

— Ни к чему это... — в раздумье ответил Сашка, а у самого не сходил с губ обжигающий жар Пашиного рта, и словно слышался ее ночной задыхающийся шепот, выговаривающий какие-то сладкие слова.

Дорога, по которой они сейчас шли, полуднела. Войско, правда, не попадалось, войско-то ночами идет, но отдельные группки военных встречались, и машин много туда-сюда сновало. Даже одного мужчину молодого в гражданском встретили, шел в плащике, и на ремешке фотоаппарат болтался, прямо чудно на него глядеть. По их разумению, вся Россия сейчас в шинели да сапоги облачена, но нет, ходят еще мужчины невоенные.

— Ну вот, вроде близится конец нашей одиссеи, — сказал лейтенант. — А если, Сашок, в госпиталь не заходить, а прямо на станцию, на поезд, и махнуть в Москву?

— Нет, Володь, передохнуть нам малость необходимо. Без этого в такой путь трогаться нельзя. Это сейчас тебе, после стопочки да еды хорошей, кажется, что силы есть, а на самом деле...

— Пожалуй, прав ты.

Вообще теперь лейтенант, после рассказа Сашкиного про немца, почти во всем с ним соглашался и перечил редко. Не стал он спрашивать его и про ночку в Прямухине. Да и не сказал бы Сашка, он про такие дела распространяться не любил и до сих пор не понимал, почему он перед Пашей так открылся и про Зину рассказал.

Хоть и сытые они были, но шли все равно тяжело. Последние километры всегда самые мытарные. Ведь сто верст оттопали, да на таком харче, да раненые, да после передка, на котором ни дня сна настоящего не знали. И если голод сейчас не мучил, то слабость и усталость непреходимая знать о себе давали: дыхание уже сбитое, неровное, ноги пудовые, еле передвигаешь, и одна мечта — завалиться в постель, да не на день, не на два, а на неделю целую и не вставать вовсе.

Раненых на дороге что-то мало было, растеклись по разным путям: кто в Кувшиново подался, кто в Селижарово, да и между этими станциями госпиталей, наверное, полно, туда могли пойти. Но когда железную дорогу перешли, то на тропке, что к госпиталю вела, народу калечного шло много, а у приемного пункта собралось человек тридцать. Шумела братва, торопилась оформиться скорей — время-то к ужину, как бы не опоздать!

Госпиталь оказался большой, корпусов несколько. Непонятно только, что здесь до войны было — больница или дом отдыха?

Всех вновь прибывших в большую залу направили, где были двухэтажные нары сооружены. Места почти все заняты, но Сашка с лейтенантом местечко наверху нашли, притиснулись кое-как и залегли, закурился в ожи-

дании ужина. А здесь-то, в тылу совсем, около железной дороги самой, должны покормить их хорошо. Здесь на распутицу не свалишь!

Лейтенант Володька что-то сдал совсем, почернел даже. Губы кривит, кусает, видать, рана болит очень.

Ужин принесли, и... разочарованный матерок прошелестел по нарам. Две ложки каши — и опять эта пшенка! Если б не ждали здесь еды настоящей, может, и промолчали бы, а так зашумели, галдеж подняли и стали начальство требовать. Сестры на это без внимания — привыкли небось, — но за начальством пошли.

Через некоторое время вошел в палату неведомо кто по должности, но в петлицах две шпалы, майор, значит, поднял руку, крикнул:

— Ша, товарищи, ша! В чем дело?

Но его вид братву не успокоил, а, можно сказать, наоборот, потому как был этот майор с заметным брюшком, лицо было круглое, румяное, чисто выбритое, сытое. Заорали кто во что горазд — и что кровь проливали и жизни ложили, а кое-кто в тылу на казенных харчах морды отъедает... Это уже прямо по майору били, но того это не смутило. Видно, каждая новая партия раненых так шумит, видно, он к этому привычный. И он спокойно, не повышая голоса, будто давно надоевшее, сказал поморщась:

— Ну, тише! Не все сразу. По одному говорите. Кто хочет сказать?

И тут братва замолкла, поджали хвост. Когда миром шумели, все болтать можно, все не страшно, а как поодиночке, пороху не хватило, затихли калечные.

Майор это, конечно, знал, не первый раз такое, и, отвернувшись к сестрам, стал говорить им что-то.

Но здесь Володька-лейтенант выступил (ему же больше всех надо): почему хлеба на завтрак и обед не выдали? Куда их порции хлебные пойдут? Почему такие порции — курам на смех?.. Но майор перебил его сразу:

— Почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда и отправляйтесь.

— Это к делу не относится! — не сбился Володька. — Я на передке из одного котелка с бойцами хлебал, в од-

ной цепи в атаки ходил. Какая разница, где нахожусь? За всех говорю! Почему бардак такой?

Ребята Володьку сразу поддержали, опять шум поднялся, кто-то засвистел даже, кто-то ложкой по нарам застучал — тот концерт...

— Успокойтесь, товарищи! Вы же сознательные бойцы и должны понимать... — и пошел майор про временные трудности говорить, складно говорил, как заученное и много раз повторяемое, а потом ввернул что-то, чего Сашка не разобрал точно, но вроде того, что вы, дескать, сейчас, после передовой и дороги, такие голодные, что и маму родную скушать сможете...

Здесь полетела в него тарелка с верхних нар, близко так пролетела, прямо мимо уха свистнула и о противоположную стенку разбилась вдребезги со звоном. Майор побледнел, глаза выкатил:

— Кто кинул? Отвечать!

У Сашки сердце упало. Почуял он, что кинул тарелку не кто иной, как Володька. Кто другой на такое способен? И верно, услышал за спиной шепот чей-то:

— Вроде лейтенант вмазал...

И в ответ:

— Он самый...

А майор напирал: кто да кто? Появился капитан какой-то, тоже нажал: говорите, кто это сделал?

Тишина стояла такая, что слышно было, как тяжело дышал майор, как тикали на его руке часики. Молчали все. Но это сейчас молчат, подумал Сашка, пока все вместе, табуном, а как будут вызывать по одному, кто-нибудь да расколется, и будет тогда лейтенанту вместо Москвы и отпуска трибунал! Майор, улыбнувшись презрительно, бросил капитану:

— Трус какой-то схулиганил. Нету мужества сознаться.

Почувствовал Сашка, как Володька рукой его отодвигает, высунуться хочет, но Сашка не сдвинулся в сторону, а, наоборот, прижал его спиной, закрыл и, опережая лейтенанта, выкрикнул:

— Ну, я бросил!

— Вы? — только и сказал майор, подходя к Сашке

вплотную и глядя на него снизу вверх не столько зло, сколько удивленно.

— Ну я... А что?

— Вы понимаете, что совершили? — подлетел капитан.

— А чего? Ну, не подумавши, сделал... Так майор тоже, не подумавши, сказал. Значит, квиты, — спокойно так проговорил Сашка и отодвинулся в глубь нар, задвигая собой Володьку, который рычал что-то возмущенно и даже пнул Сашку кулаком в бок.

— Хулиган! — вдруг взвизгнул майор. — Разболтались на передовой!

На что Сашка резанул твердо:

— Передовую не трожьте! Мы на ней Родину защищали! Кровь пролили...

И братва, услышав такие слова, опять заголосила, подняла гомон, поддерживая Сашку.

Майор отошел к капитану, пошептался с ним о чем-то, потом, повернувшись к ним, сказал спокойно и негромко:

— Отдыхайте, товарищи. Спокойной ночи. А вы, сестра, — обратился он к сестрице, — отведите лейтенанта в другую палату.

Володька слез с нар, погрозил Сашке рукой и ушел с сестрой. Ушли и капитан с майором.

Народ опять загалдел, обсуждая происшедшее, кое-кто к Сашке бросился: зачем признался, дурак, судить, мол, могут, да и не ты кинул, а вообще правильно, отъели тут хари... Сашка отмалчивался, а потом сказал:

— Плевать я хотел! Дальше передка не загонят! А меня там и так ждут не дождутся.

Немного погодя вернулся лейтенант и вызвал Сашку на улицу покурить, а там навалился:

— Ты чего вылез? Тебя кто просил? Я сам за себя отвечаю? Идем к майору! — И матюгом опять.

— Не суети, Володь. Думаешь, я без ума это сделал? — Сашка положил руку ему на плечо. — Подумал я... Ну, какой с меня, рядового ваньки, спрос? На меня и время тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая и передок. А ты лейтенант, с тобой разговор другой — и

разжаловать могут, и под трибунал отдать. Понял? Обдумал я все, ты только не колыхайся.

— Хорошо ты меня понимаешь! Сволочь, значит, я? Ты за меня под суд, а я в кусты! Не пойдет так! — И, вырвав плечо из-под Сашкиной руки, повернулся круто и зашагал куда-то, видно майора искать.

Догнал его Сашка:

— погоди! слышь, погоди! дай досказать-то.

Лейтенант остановился:

— Ну чего?

— Не лезь на рожон. Не суети. Давай так договоримся — уж если на меня начнут дело шить, тогда поступай как знаешь, а пока подождем. Может, обойдется все. Договорились?

— Ну, ладно, если так... — закашлялся опять Володька, скрывая этим свое волнение. — Спасибо, Сашок, — протянул он ему руку и сжал Сашкину до боли.

Когда температуру на ночь мерили, у Сашки вдруг тридцать девять! То ли от раны, то ли от переживаний сегодняшних. Перевели его сразу с нар на койку, в другую комнату, где тяжелые лежали, дали лекарства какого-то...

Три дня провалился он в жару и почти не вставал, но зато в другом пофартило ему крепко. Утром пришел к нему боец оттуда, с нар, и сказал: «Иди свою пайку получать». Сашка, конечно, заковылял, завтрак получил и съел положенное, а в палату вернулся — ему и тут еда! Не сняли, значит, его с довольствия там, а в этой поставили. И все три дня Сашка двойной порцией пользовался без особого зазрения совести (сколько дней у них с Володькой аттестат не отоваривался) и хлеба даже скопил граммов шестьсот, ну и махорки немного. Подвезло здорово, что ни говори!

Никто его за это время не беспокоил, никуда не вызывали, и он почти и позабыл о происшедшем. С Володькой на дню по несколько раз виделись — то он приходил в Сашкину палату, то на улице встречались. Дни начались погожие, и посиживали они на солнышке, покуривая и строя планы. Решил Сашка твердо тоже домой податься. До Москвы вместе с лейтенантом доберутся, а там уж Сашка один.

Как начнут их эвакуировать в другой какой госпиталь, должны они санкарты свои на руки получить (а этот документ теперь их единственный, без него никуда), и тогда они смогут в любом месте с поезда сойти — и в Калинин, и в Клину, а оттуда до Москвы рукой подать. Правда, врач лейтенанту сказал, что ему необходимо в нейрохирургический госпиталь, где нервы сшивают, а то быть ему без руки, отсохнуть может. Но в Москве-то такой госпиталь обязательно должен быть.

Хоть температура у Сашки давно спала, но из этой палаты, с койки его не переводили, там и оставили. Тоже хорошо, не на нарах, а на постели настоящей полеживает. Еды начало вроде хватать, все же регулярная она, три раза в день, навар хоть и не очень, но хлеба зато по полной норме. В общем, все хорошо бы было, кабы не пришла к нему старшая сестра и не пригласила за собой следовать. Сердце у Сашки екнуло. Надеялся он, что история та с тарелкой забылась, но нет, оказывается. Спрашивать сестру, куда она его ведет, он не стал — и без того ясно.

Шли они долго. Оказывается, тут, вокруг всей станции, госпитали, и вела она его, кажись, в какой-то самый главный корпус. Там поднялись они на второй этаж и подошли к двери без всякой таблички.

Сестра постучалась и ввела Сашку в комнату, где сидел за столом лейтенант, на вид моложавый, не старше Сашки, наверно, чернявый, но глаза светлые и чуть навывкат. Пригласил он Сашку сесть, а сестре наказал в коридоре обождать. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот в бумаги уткнулся и на Сашку ноль внимания. Проманежил он его так минут пять, если не десять, а потом упер взгляд и гаркнул:

— Фамилия?

Сашка вздрогнул невольно, но ответил спокойно — и фамилию, и имя-отчество, и звание. Лейтенант взгляда не спускал, и Сашка решил: нечего с ним в переглядки играть, и опустил глаза. Лейтенант вроде доволен этим остался и остальное спрашивал уже без крика. Записав все, что положено, лейтенант опять уставился на Сашку немигающе и долго молчал, постукивая карандашом по столу. Не сказать, что под этим взглядом Саш-

ке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой, да и не то видал он. Но все же подумалось Сашке, что поробее показаться будет ему на пользу, и он глазами заморгал, носом захлопал.

— Вы понимаете, что совершили? — наконец строго спросил лейтенант, не отставляя глаз.

— Виноват, товарищ лейтенант... Черт попутал. Не знаю сам, как получилось. Обидно стало, вот вгорячах и махнул этой тарелкой... Но в майора я не хотел. Так, об пол бросил. Звону захотелось...

— Звону захотелось? — вытаращил глаза лейтенант. — Знаете, чем этот звон для вас обернется?

Сашка опять глазами захлопал, на лице жаль состроил.

— Да и врете вы всё! — продолжал лейтенант.

— Чест... чистую правду говорю, — поправился Сашка, потому «честное слово» с детства для него свято, не продавал никогда и даже сейчас не мог.

— Не вы это сделали, — огорошил лейтенант Сашку и уперся опять взглядом.

У Сашки упало сердце — неужто продал кто Володьку? Но с виду не смутился, непонимающее лицо сделал и нарочито удивленно протянул:

— Разве не я? Тогда чего меня допрашиваете?

— Вы мне дурочку не валяйте! — прикрикнул лейтенант. — Советую правду говорить.

Сашка лихорадочно соображал: конечно, лейтенант до него кое-кого из ребят спрашивал, может, кто про Володьку и вякнул, но без уверенности. Чтобы все это выяснить, надо долгое дело тянуть, а Сашка тут, на месте, вину свою признает, ни от чего не отпирается. Надо свою линию гнуть, и все! Изобразив на лице покаяние, Сашка пробормотал:

— Чего мне темнить, товарищ лейтенант... Виноват, и все. Если можно простить, простите. А нельзя... ну что ж, тогда отвечать буду. Сгоряча только это сделано... в лихорадке. У меня ж тридцать девять и пять было...

— Знаю, — сказал лейтенант. — Но отвечать придется, — он поднялся. — Можете идти.

— Совсем? — вскочил Сашка радостно.

— На днях вызову. Подумайте за это время, стоит ли на себя чужую вину брать.

— Есть подумать! Только вина-то моя, никуда не денешься.

— Идите.

Старшая сестра, когда Сашка вышел, посмотрела с любопытством и вроде хотела спросить его что, но поостереглась, ведь от начальника Особого отдела выходил Сашка, особенно не спрашиваешь.

Володьке, конечно, Сашка про это ни звука.

День прошел, другой, а Сашку не вызывают... Что ни говори, на сердце все же скребло. Пусть трибунал сейчас, в войну, и не страшный, потому как все сроки передовой заменяют, а там-то — до первой крови, как ранило, так и искупил свою вину, а от передка Сашке все равно никуда не деться, как рана заживет, так и айда *туда!* Но посасывало на душе противно — сроду Сашка ни под каким судом-следствием не был, а вот довелось, кажись...

Но о сделанном он не сожалел. Он себя благоразумней Володьки считал и похитрее, может. Тот бы с этим лейтенантом из Особого схватился бы сразу, начал правоту свою доказывать, а еще, не дай Бог, если б лейтенант ему чего грубое врезал, и за пистолет схватился. Он такой, Володька этот, сперва натворит чего, а потом подумает.

Вообще пистолет этот покоя Сашке не давал. Сколько раз говорил он лейтенанту: брось ты его к лешему, зачем он тебе сейчас? А Володька только лыбился в ответ — я, говорит, с детства оружие всякое обожаю, сколько пугачей у меня было, не перечесть, а перед армией раздобыл «смитт-вессон» настоящий, а за этим «вальтером» я, говорит, полночи по полю боя полз к фрицевскому офицеру убитому, ни в жизнь не брошу! Чудак, право. А при его характере разве можно ему оружие в кармане иметь?

Через пару дней вызвали Сашку опять... Шел он с сестрицей к тому корпусу, и на душе было смутно, кое-какой страшок примораживал сердце, только одно легчило: может, выяснится все окончательно, неизвестность-то хуже всего.

Лейтенант принял его спокойно, спросил даже, как он себя чувствует, нет ли температуры. Сашка ответил, что температура нормальная и чувствует себя ничего, отоспался чуток, передохнул, хотя со жратвой пока не достача, не хватает пока еды.

— С лейтенантом, с которым пришли, из одной части вы?

— Нет. В пути познакомились, — ответил с беспокойством Сашка.

— Так... — протянул лейтенант, поглядывая на Сашку как-то раздумчиво и с некоторым любопытством, без напора и зла. — Значит, только по дороге познакомились?

— Да.

— Дальше идти можешь? — перешел вдруг лейтенант на «ты».

— Куда это? — удивился Сашка.

— Ну... в другой какой эвакогоспиталь.

Тут еще больше удивился Сашка — к чему это лейтенант клонит и как на это отвечать?

— А зачем, товарищ лейтенант? — закинул осторожно Сашка.

— А затем, — постукивая карандашом и глядя на Сашку, сказал лейтенант, — чтоб духу твоего здесь не было! Понял?

— Понял! — радостно воскликнул Сашка. — Я, товарищ лейтенант, домой задумал, мать повидать, пока вне строя. С тридцать девятого служу. Значит, можно?

— Держи свою санкарту и мотай куда хочешь — домой ли, в другой госпиталь, но чтоб я тебя здесь больше не видел. Ясно?

— Ясно, товарищ лейтенант! Значит, не будут меня судить?

— Я сказал — мотай, да поскорей. И без болтовни. По-тихому.

— Понятно! Сегодня после обеда и махну.

— И смотри, — погрозил лейтенант рукой, — чтоб таких эксцессов больше не повторялось. Скажи своему лейтенанту. Распустились там, думаете, все теперь можно... Иди.

Сашка подскочил резво, повернулся по-строевому, но, когда из дверей выходил, улыбку спрятал и к сестре подошел с видом безразличным. Зато к лейтенанту Володьке мчал на рысях.

Хоть и понял Сашка по последним словам лейтенанта, что догадался тот про Володьку, но, видно, Сашкино дело ему было легче закрыть, потому и не стал особо разбираться, только дал Сашке понять напоследок, что правду-то он знает, что обвести его Сашке не удалось. Да не важно это, главное, закончилось все благополучно.

— Понимаешь, — говорил он Володьке, отведя того в сторону, — я с лейтенантом этим осторожненько беседовал, покаялся, как положено, все тихо, мирно, вот он и отпустил. А ты бы на басах начал, знаю я тебя, и все дело испортил.

Володька хлопнул его по спине сильно, даже покачнулся Сашка, закашлялся опять, хотел было что-то сказать, но, махнув рукой, отвернулся, протер глаза и только потом, немного успокоившись, сказал дрогнувшим голосом:

— Я, Сашка, ничего не боюсь — ни трибунала, ни передка, но, когда бросил эту тарелку, опомнился — мать же меня ждет, а я по своей глупости встречи ее лишаю. Ведь ребята мои наверняка отписали ей, что ранило меня, мы ж там адресами менялись. И будет она меня ждать... Да что говорить, должник я твой на всю жизнь...

— Чего там, — махнул рукой Сашка, — обошлось, и ладно.

— Я к врачу побегу за санкарточкой. Вместе отсюда и смотаемся. — И убежал.

А Сашка, завернув сигарку, закурил неспешно, и легко у него на душе, спокойно. Что ни крути, а история эта нервишек стоила, если по-честному, то совсем не «наплевать» было Сашке.

Вскоре вернулся Володька, расстроенный и обескураженный — не дал ему врач санкарту, не отпускает, — и опять матюжком зашелся. Тут Сашка не выдержал, давно на языке вертелось:

— Что ты, Володь, все матом и матом? Я из деревни и

то такого не слыхивал. Нехорошо так, к каждому слову.

Лейтенант рассмеялся:

— Прав, Сашок, нехорошо. Но я ж с Марьиной Рощи...

— Что это за роца такая? — удивился Сашка.

— Район такой в Москве... Понимаешь, со шпаной приходилось водиться. А с ней — кто позаковыристей завернет, тот и свой в доску... А вообще-то я сын интеллигентных родителей...

— Я и вижу, не идет к тебе мат.

— Знаешь что, черт с ней, с этой санкартой, мотанем без нее!

— Нет уж, Володь, больше глупостей я тебе делать не дам. Хватит, — солидно так произнес Сашка.

Лейтенант опять рассмеялся и хлопнул Сашку по плечу:

— Во каким командиром стал, Сашок...

— Не командиром, а постарше я тебя на два годика. Ты жеребчик еще не объезженный, горячий больно, а я в жизни поболее тебя видал, потому и...

— Ладно, — перебил Володька, — согласен. Прав ты, как всегда.

— Придется нам расставаться, Володь, ничего не поделаешь.

Тогда нацарапал на бумажке лейтенант свой адрес московский и наказал Сашке обязательно к его матери зайти и все, все рассказать подробно. В крайнем случае, опустить его письмо в Москве, если какие-то обстоятельства зайти помешают. Потом полез в карман, вытащил пачку тридцаток и сунул Сашке в руку, да так решительно, что тот отказываться не стал, все равно без толку. Таких деньжищ Сашка не только никогда не имел, но и в руках не держал, только что они теперь? Хотя буханки две хлеба купить, наверно, можно?

В палате Сашка свои запасы переглядел — не густо. Хлеба четыре пайки, несколько кусков сахара сэкономленных, ну и махорка... На первое время хватит. Продаттестата лейтенант из Особого Сашке не выдал, и из этого выходило, что отпустил он Сашку не совсем официально, а, видать, на свой страх и риск. За это, конечно, Сашка ему благодарен по гроб жизни, но на прод-

пункты ему рассчитывать нечего. И решил он пойти на поле и картошки той прошлогодней накопать да лепехи на всякий случай напечь, какое-то НЗ себе на дорогу сотворить.

Поле было недалеко, и раненых там копошилось порядком. Не хватало ребятам жратвы, особенно в первые деньки, вот и добывали себе допшаек. Кто неделю-полторы пробыл, те не копали. Все же еда три раза, жить можно, с передком не сравнить.

Накопал себе Сашка клубней, примостился к одному костерику, где братва себе лепехи жарила, и, когда кончили они, стал сам кухарничать. Сольцы-то он на кухне спроворил.

Уходить он после обеда надумал — надо же последнее казенное питание использовать. Поскольку вещевого мешка у него не было, сгодилась Пашина котомка, в которую и уложил свои запасы, а укладывая, Пашу вспомнил, и вдруг подумалось: а что, если ночь та с последствиями окажется, вдруг забеременеет Паша? А он и знать не будет, что станет у него сын или дочь в какой-то деревне Прямухино... Даже фамилии Пашиной не знает, и письма не напишешь... И решил он твердо: жив останется, обязательно в это Прямухино приедет, навестит Пашу. И если взаправду ребенок у него окажется, тогда... тогда думать надо, что делать. Может, и женится на ней, если Максим ее не вернется.

Но это если жив останется... Конечно, надежду на это Сашка никогда не терял — так уж устроен человек, — даже в самые лихие минуты. Но если по-трезвому разобраться, война долгая предстоит и надежи на жизнь маловато... Ладно, чего об этом думать.

После обеда (а в обед ему повезло, один тяжелораненый от супа отказался и Сашке отдал) собрал Сашка нехитрые свои пожитки и тронулся в путь-дорогу. Лейтенант Володька, конечно, пошел проводить его до станции.

Шли молча... Какие слова, когда навек расставаться приходится. Вот так на войне... Потому и дороги встречи с хорошими людьми, потому и горьки так расставания — навсегда же! Если и живыми останутся, то все равно вряд ли сведет их опять судьба, а жаль...

Лейтенант губы кривил, покашливал всю дорогу, глаза протирал... Нервишки у него совсем разошлись от болей постоянных, да и с Сашкой, видать, расставаться не хочется... Вот и станция близко. Остановились они. Целоваться, конечно, не стали — мужчины же, — но приобняли друг друга здоровыми руками, похлопали по спинам и... разошлись.

Опять обездомел Сашка... Вышел к станции, поездов уйма. Надо разобраться, который куда, а то ненароком обратно к фронту поедешь. Тут эшелон подошел. Красноармейцы в вагонах чистенькие, обмундирование новенькое, оружие блестит, лица румяные, сытые, и к Сашке: как там немец, браток? Табачку предлагают. От табака Сашка не отказался, а на вопросы отвечал уклончиво: дескать, приедете на фронт, сами немца пощупаете, но вообще-то немец уже не тот, приослаб малость, но кусается еще, гад, крепко.

Тут какой-то состав буферами лязгнул, и Сашка, не теряя времени, вскочил на тормозную площадку и ребятам в эшелоне помахал рукой — счастливо воевать, братва! — и разъехались.

И пожалел их Сашка от души — что-то ребят ждет, какие бои предстоят, какие деревни ржевские будут брать?

Колеса застучали чаще, поезд ходу дал, и мелькнули слева здания, где госпиталь расположен, где Володька-лейтенант остался, а дальше пошли места уже незнакомые — леса, поля, перелески... По этой дороге Сашка и на фронт ехал, но проезжал ночью, потому и не видел Торжок разбомбленный, который к концу дня проплыл мимо, краснея развороченными кирпичами, будто ранами. Поезд постоял тут немного, и Сашка прошелся вдоль вагонов в надежде место поудобней найти, в какой вагон забраться, но вагоны закрыты все были, и пришлось опять на площадку.

Ночь застала Сашку в пути. Не повезло. Площадка эта тормозная почему-то без скамейки была, днем-то Сашка на ступеньках посиживал, а ночью того не делаешь, чего доброго, задремлешь и загремишь вниз под насыпь. Приспособился он прямо на полу, но тряска в руке такой болью отдавала, что заснуть не вышло, так,

дремалось чуть. И тьма крошечная вокруг (маскировка же везде) тоску нагоняла в душу, и одиноко стало Сашке, о Володьке сразу вспомнилось — как хорошо вдвоем-то было, прижались бы друг к другу, согрелись, ну и разговором тоску разогнали, путь скоротали.

К Калинин у подъехал состав на рассвете, но от вокзала остановился далеко, и пошел Сашка по путям к станции. Здесь и пассажирские поезда стояли, возможно, ходят они до Москвы, тогда бы по-людски поехал, в настоящем вагоне — не в телятнике, не на площадке.

На вокзале народу много — и военных, и гражданских, — хоть время и раннее. Тут, наверно, и кипятком разжиться можно, а хорошо бы, иззябшая Сашка за ночь основательно. С кипятком и хлеба можно пожевать — лепехи-то картофельные, НЗ свой особый, Сашка по дороге улопал, не сдержался.

Люди на станции, хоть и занятые своими делами, на Сашку все же кидали любопытные взгляды. Тут таких — прямо *оттуда*, войной перемолотых — вроде не было. Красноармейцы все справные, в обмундировании хорошо, а то и новом. Сашке даже малость неудобно стало, что грязный он такой да оборванный. Хорошо еще, что после бани и прожарки одежды насекомых на нем поменело, но все же, заразы, дают о себе знать — покусывают. Поэтому выбрал он себе местечко в стороне, побезлюдней где. Там кипятку и попил. Пришлось два кусочка сахара употребить и одну пайку хлеба съесть — большего он себе не позволил.

Узнал Сашка, что пассажирский поезд на Москву, точнее до Клина только, пойдет в середине дня. Времени еще много, можно поспать маленько, передохнуть. В Клину, сказали, надо на другой поезд пересаживаться, хорошо бы так угадать — приехать в Клин и сразу на московский пересест, но это как случится, расписание твердого нет, и никто того не знает.

Хоть и погрелся он горячей водицей, но озноб не проходил. Может, опять жар поднялся. Тяжесть в теле его не оставляла, и рука, конечно, побаливала. Завернул он самокрутку (с табачком у него пока порядок), прикурил у кого-то — «катюшу-то» свою первобытную вынимать

здесь стыдно, — затянулся во всю мочь, глаза прикрыл... Сколько же ему отдыхать нужно, чтобы эту ослабу перестать чувствовать? Неделю, две, а может, и месяц целый?

Так и задремал он с сигаркой непотухшей, и вдруг перед ним словно наяву лицо Зинино и голос ее ласковый: «Родненький». Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье, да не одно, а два целых. Очнулся Сашка совсем и увидел: наклонились над ним две девчушки в военной форме, и одна осторожно так до его плеча дотронулась и сказала:

— Извините, что разбудили вас, но у нас поезд вот-вот уходит... Вам хлеба не нужно?

— Что? Хлеба? — встрепенулся Сашка. — Сколько стоит? — и полез в карман, зашелестел Володькиными тридцатками.

— Что вы? — улыбнулась другая. — Не продаем мы, что вы! Мобилизованные мы, из Москвы в часть едем. Ну, нам наши мамы на дорогу дали продуктов разных, а мы тут в продпункте еще получили. Куда нам столько? Ну, мы и решили... Вы с фронта же? — робко спросила под конец.

— С фронта.

— Мы видим, раненый... Ну вот и хотим с вами поделиться...

Тут у Сашки комок к горлу, глаза повлажнели, как бы слезу не пустить сейчас перед девчатами, еле «спасибо» выдавил.

— Мы принесем сейчас! — сказали девушки и убежали.

Слава Богу, дали время в себя прийти! Скривился Сашка, будто от боли, подбородок свой небритый в кулаке мнет, глаза протирает, чтоб не заметили девчушки его состояния, когда вернутся... Неудобно же, фронтвик он, боец...

Они прибежали скоро — ладные, разрумяненные от бега, пилотки у них чуть набекрень, талии осиные брезентовыми красноармейскими ремнями перетянуты, шинельки подогнаны, и пахнет от них духами, москвички, одним словом... Принесли Сашке кружку кипятку, в которую при нем сахара куска четыре бухнули, бухан-

ку хлеба серого московского, точнее, не буханку, а батон такой большой, несколько пачек концентратов из вещмешка достали (причем гречку!) и, наконец, колбасы полукопченой около килограмма.

— Вы ешьте, ешьте... — говорили они, разрезая батон, колбасу и протягивая ему бутерброды, а он от умиления и расстройства и есть-то не может.

А тут сели они около Сашки с обеих сторон. От одной отодвинется — к другой вплотную, как бы не набрались от него. И ерзал Сашка, а им, конечно, и в голову не приходит, чего он от них все двигается. Хлопочут около Сашки, потчуют — одна кружку держит, пока он за хлеб принимается, другая колбасу нарезает в это время. И веет от них свежестью и домашностью, только форма военная за себя говорит — ждут их дороги фронтовые, неизвестные, а оттого еще милее они ему, еще дороже.

— Зачем вы на войну, девчата? Не надо бы...

— Что вы! Разве можно в тылу усидеть, когда все наши мальчишки воюют? Стыдно же...

— Значит, добровольно вы?

— Разумеется! Все пороги у военкомата оббили, — ответила одна и засмеялась. — Помнишь, Тоня, как военком нас вначале...

— Ага, — рассмеялась другая.

И Сашка, глядя на них, улыбнулся невольно, но горькая вышла улыбка — не знают еще эти девчущки ничего, приманчива для них война, как на приключение какое смотрят, а война-то совсем другое...

То ли заметили девушки в Сашкиных глазах горечь, то ли просто так, но смех вдруг сразу оборвали, а потом одна из них спросила тихо:

— Вас сильно ранило?

— Да нет. Двумя пулями, правда, но кость не задела...

— А немцев вы видели? — спросила другая.

— Как вас сейчас.

— Неужто? Так близко?

— Куда ближе... Дрался я с ним... в плен брал.

— Он вас и ранил?

— Нет, меня снайпер подцепил.

У девушек глаза расширились, и как-то по-другому оглядели они Сашку и остановили взгляд на его ушанке, пулей пробитой. Сашка улыбнулся, снял шапку.

— Вот видите, чуть пониже и... — сказал не рисуясь, просто.

Девушки замолчали, обдул, видно, холодок души, приморозил губы.

Потом одна из них, глядя прямо Сашке в глаза, спросила:

— Скажите... Только правду, обязательно правду. Там страшно?

— Страшно, девушки, — ответил Сашка очень серьезно. — И знать вам это надо... чтоб готовы были.

— Мы понимаем, понимаем.

Поднялись они, стали прощаться, поезд их вот-вот должен отойти. Руки протянули, а Сашка свою и подать стесняется — черная, обожженная, грязная, — но они на это без внимания, жмут своими тонкими пальцами, с которых еще маникюр не сошел, шершавую Сашкину лапу, скорейшего выздоровления желают, а у Сашки сердце кровью обливается: что-то с этими славными девчушками станется, какая судьба их ждет фронтовая?

И вот опять прощание с людьми хорошими... Сколько их на Сашкиной дороге за последние дни было? И со всеми навсегда расставался. Только и знает, что Тоней одну зовут, а ведь в сердце навсегда останутся.

Он смотрел им вслед, на фигурки их легкие, и опять комок к горлу подошел: милые вы девчухи, живыми останьтесь только... *живыми*... и непокалеченными, конечно... Это нам, мужикам, без руки, без ноги прожить еще можно, а каково вам такими остаться?..

Вскоре и Сашкин поезд на посадку подали. Народу около вагонов невпроворот, около дверей толчея невообразимая. В самую гущу лезть Сашка поостерегся — как бы руку раненую не замаяли, но, когда двери отворили, завертело его, закружило и вынесло к площадке, а там и в дверь воткнулся и даже место сидячее прихватил.

Вначале пытался в окна глядеть — интересно же, места новые, — но окна немые небо с самого объяв-

ния войны, ничего через их муть не разглядишь, да и поезд больше стоял, чем ехал, а через мосты вообще полз еле-еле — разрушено все и, видно, на скорую руку восстановлено. Поэтому уходил Сашка в дремь часто, досыпал за ту ночь, которую на площадке мытарился. Ехали они до Клина до самого вечера, а всего тут восемьдесят километров.

В Клину поезд московский уже стоял на платформе, но народу около него толкалось поболее, чем в Калининe, не пробиться ему с его рукой, подумал Сашка, но тут кто-то крикнул: «Раненого пропустите! Иди, парень!» — и расступились люди, дали пройти Сашке к самым дверям. Приметил он: чем дальше от фронта, тем к раненым сочувствия больше. Это и понятно, пореже их тут встречается.

В общем, досталось Сашке лежащее место, да не на третьей полке, которая для багажа, а на второй, откуда и в окошко смотреть можно, и дышать легче.

Растянулся Сашка... Хотел было котомочку Пашину под голову положить, но отставил — хлеб примять можно и батон тот серый, что девчата дали. Прошлое по душе теплом, вспомнил девчушек этих милых. С такими припасами дорога ему не страшна, суток на пять хватит, если с умом пользоваться.

В вагоне было тепло, от народа конечно, и снял Сашка свою телогрейку, всякие виды выдавшую, под голову положил. Гимнастерка суконная у него совсем приличная, новая, на формировании даденная, только рукав попорчен, и почувствовал себя Сашка по-другому, словно приоделся. Брюки ватные, конечно, никуда не годятся, на коленках дыры, вата торчит, во многих местах сожженные, но что поделаешь, с передовой же он...

Когда сигарку завертывал, с нижнего места пожилой один, рабочий с виду, попросил у Сашки:

— Махорочкой не богат, солдат?

— Угощу, — ответил он охотно, но обращение такое его удивило немного — какой он солдат? Боец он Красной Армии!

Разговорились за куравом... Спросил тот, где воевал Сашка, большие ли бои были. Сашка распространяться

особо не стал — были бои местного значения, но досталось все же. Рабочий головой покачал и повторил:

— Местного значения, говоришь? Это, значит, техникой не баловали, больше на винтовочку небось надеялись? Так ли я понимаю — бои местного значения?

— Об этом, папаша, не положено. Что было, то было... Но угадал почти.

Рабочий усмехнулся:

— Угадать не сложно. Достаточно на тебя посмотреть. А как кормили-то?..

— Распутица...

— И это понятно, — усмехнулся опять попутчик, но тему переменял.

О филичевом табаке заговорил, который выдают им сейчас вместо папирос и махорки и который табак не табак, а не поймешь что, действия никакого и удовольствия тоже, только дым один.

— То ли дело настоящая «моршанская», — закончил он и со вкусом затянулся.

Потом спросил он Сашку, куда тот путь держит. Сашка ответил, но зевота его одолевала — так хорошо на верхней полке в тепле и сухости, что сосед, видя это, разговор прекратил, а Сашка заснул сразу, будто провалился.

И только под утро выдался ему сон: идет он с Зиной по полю тому овсянниковскому, но нет на нем ни воронок, ни трупов, ни танков сожженных, а чистое оно и зеленое от озими, но перегораживает его почему-то речка какая-то, и до самого Овсянникова не дойти, а так охота туда добраться, самому посмотреть и Зине показать, как там немцы устроились, почему взять его не удалось, но речка не пускает... Тут его и разбудил сосед:

— Знаешь что, сынок? Ты лучше до самой Москвы не доезжай. Здесь сойди.

— Почему же?

— Проверка документов на вокзале...

— Ну и что? У меня санкарта законная. Все заполнено — где ранило, какие эвакогоспитали проходил... Печати везде...



— Да я в том не сомневаюсь. Но все равно задержать могут и в военно-пересыльный пункт направить. А оттуда сунут в госпиталь, домой и не попадешь. Тебе мой совет — сходи в Останкино, это Москва уже, только окраина. Там на трамвай сядешь и куда хочешь доберешься. Тебе с Казанского надо? Так вот, туда тоже не ходи, а доезжай до Москвы-третьей, что ли, а там уж на любой поезд, что в твою сторону. Понял меня?

— Понял. Спасибо за разъяснения. Мне, конечно, в пересылку ни к чему...

Поезд уже замедлял ход перед этим Останкином, и Сашка слез с полки, угостил рабочего табачком напоследок и, наскоро попрощавшись, двинулся к выходу.

— Счастливого тебе пути, солдат. И главное — живым остаться, — услышал он вслед.

В проходе толпилось чуть ли не полвагона, многие здесь выходить надумали, наверное, все те, кому проверка документов ни к чему, а поезд стоял недолго, и Сашка уже на ходу выпрыгнул.

Постоял он на перроне, огляделся — неужто Москва, столица Родины! Думал он, гадал там, под ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз, думал ли, гадал, что *живым* останется и что Москву увидит?

Прямо диво случилось, и не верится — наяву ли?

И это ощущение чуда не покидало Сашку, пока шел к трамвайному кругу, обгоняемый спешащими на работу людьми, людьми самыми обыкновенными, только не для Сашки, потому как были они в гражданском — кто в пиджаках, кто в куртках, кто в плащиках, — и в руках у них не оружие, а у кого портфели, у кого свертки, и у каждого почти утренняя газетка из кармана торчит.

Ну, а о женщинах и девушках и говорить не приходится — стучат каблучками туфелек, кто в юбке и кофточке, кто в платье пестром, и кажутся они Сашке нарядными, праздничными, будто из мира совсем другого, для него почти забытого, а теперь каким-то чудом вернувшегося.

И странно ему все это, и чудно — словно и войны нет никакой!

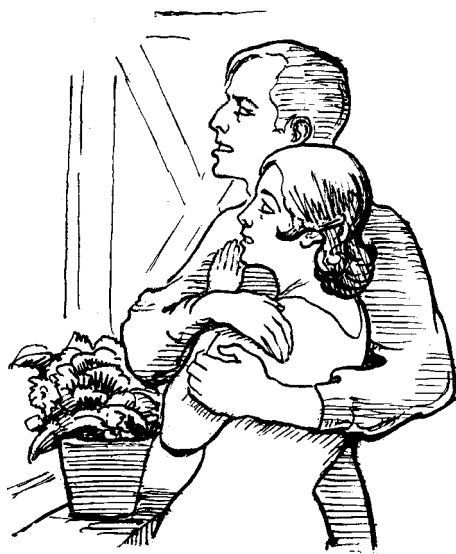
Словно не бушует, не обливается кровью всего в двухстах верстах отсюда горящий, задымленный, в грехоте и в тяготе фронт...

Но чем разительней отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что было *там*, тем яснее и ошутимее становилась для него связь между тем, что *делал* он там, и тем, что *увидел* здесь, тем значительнее виделось ему его *дело там*...

И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной, обожженной телогрейки, своей ушанки простреленной с торчащими клоками ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью обмоток и даже «катушки» своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку...



ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ





Когда Володька-лейтенант вскарабкался на заднюю площадку трамвая, все шарахнулись от него в сторону, и он, поняв причину этого, сразу же озлился и настроился против публики.

Правда, какая-то женщина поднялась, уступая ему место:

— Садитесь, товарищ военный... — Но он глянул на нее такими мертвыми глазами, что она, вздрогнув, пробормотала: — Господи, а такой молоденький.

Да, видать, нечасто видели в Москве вот таких — прямо с передовой, обработанных и измочаленных войной, в простреленных, окровавленных ватниках, в прожженных, заляпаных двухмесячной грязью сапогах... И на Володьку смотрели. Смотрели с сочувствием. У некоторых пожилых женщин набухали слезы, но это раздражало его: «Ну чего вылупились? Не с тещиних блинов еду. Небось думаете, что война — это то, что вам в кино показывали...» Особенно раздражали его мужчины — побритые и при галстучках.

Когда он сел на уступленное ему место, соседи заметно отодвинулись от него, и это добавило раздражения — видите ли, грязный он больно... Так и сидел, покусывая губы и не глядя на людей, пока не почувствовал себя так неудобно — разве таким он мечтал вернуться в Мос-

кву, — что, рванув борт ватника, приоткрыл висевшую на гимнастерке новехонькую медаль «За отвагу» — нате, глядите! А то грязь и кровь приметили, а на награду ноль внимания! И, быстро встав, прошел на площадку, толкнув не совсем случайно хорошо одетого мужчину с портфелем и при галстукe.

Уткнувшись в окно, он глядел, как проплывают мимо знакомые московские улицы, но все еще не мог представить реально, что это *московские* улицы, что он *живой* и едет *домой*...

И только тогда, когда трамвай остановился на его остановке, почти у самого его дома, что-то дрогнуло в душе. Значит, это правда! Он дома! И все позади...

Он вылез из трамвая, но не побежал, шалея от счастья, а наоборот, даже приостановился, приглядываясь к родной улочке, и, лишь увидав свой дом — целый и невредимый, лишь больше прежнего обшарпанный, с грязными, видать, давно не мытыми окнами, с выпавшими кое-где глазурованными кирпичиками у подъезда, — он вдохнул, выдохнул и ощутил, что с этим выдохом уходит из души то невероятное, предельное напряжение, в котором жил он те страшные ржевские месяцы.

Не то всхлипнув, не то застонав, он побежал. И на третьем этаже, около двери своей квартиры, стоял не тот отчаянный, шальной лейтенант Володька, пехотный ротный, поднимавший людей не в одну атаку, выпученных, бешеных глаз которого боялись не только обычные бойцы, а даже присланные к нему в роту урки с десятилетними сроками, а стоял намученный, издерганный донельзя мальчишка, для которого все пережитое подо Ржевом было непосильно трудно, как ни превозмогал он себя там, как ни храбрился...

* * *

— Господи, что с тобой сделали! — услышал он откуда-то издалека голос матери, а на своем жестком, неделю не бритом лице ощутил ее слезы. — Ты живой! Живой! — бормотала она, не обнимая, а ощупывая его всего, словно стараясь убедиться, что это он, ее сын.

— Живой, мама... Только очень грязный, — наконец-то нашел силы ответить Володька и тихонько отстранился от матери, когда почувствовал ее пальцы на том месте своего ватника, где были зажухлые пятна крови.

Он отступил от матери и начал снимать его.

— Я помогу тебе, — заспешила она.

— Нет, нет... Я сам. — И стал стаскивать ватник, освободив руку от косынки. — Куда бы его деть?

— Я отнесу в чулан. — Мать протянула руки.

— Я сам, мама, — отдернул он ватник от нее и вышел из комнаты.

Когда он вернулся, она спросила:

— У тебя тяжелое ранение?

— Нет. — И этот ответ не обрадовал ее. Она как-то сникла и прошептала:

— Значит, ты ненадолго?

— Да, мама, наверно, ненадолго... — Он присел на диван и стал оглядывать комнату, и только тут мать обратила внимание на его медаль.

— У тебя награда! За что?

— За войну, мама, — ответил он довольно безразлично.

— Я понимаю... Но чем-то ты ее заслужил.

— Там, где я был, все заслужили... Только давать уже было некому.

— Почему некому? — спросила она с беспокойством, но, когда Володька в ответ пожал только плечами и нахмурился, поняла.

После недолгого молчания он глухо произнес:

— Мама, у нас нет водки?

— Нет, Володя. Но я сейчас сбегая к соседям. У кого-нибудь да найдется, и мне не откажут...

Потом, когда мать согрела в ванной колонку, он залез в горячую воду, все еще ошеломленный тем необыкновенным происшедшим с ним рывком из одного пространства в другое. Всего неделю тому назад была развороченная снарядами передовая, где Москва, дом представлялись ему чем-то таким далеким, недоступным, не существующим вообще. И вот — дом, его комната, мать, зовущая его к столу, а на столе — варенная в мундире

картошка, тоненькие ломтики черного хлеба, бутылка водки и... банка шпрот.

И даже это скудное, что было на столе, поразило его.

— С едой, значит, у вас не так плохо, — вырвалось у него.

— Нет, Володя, очень плохо... Кончилась крупа, и вот пришлось прикупить на рынке картошки, а она стоит девяносто рублей килограмм. Мне пришлось продать серебряную ложку. Ну, а шпроты еще с довоенных времен храню.

— Мама, — полез Володька в карман гимнастерки, — вот деньги. Много, три моих лейтенантских зарплаты.

— Сколько же это?

— Много. Около двух тысяч.

— Спасибо, Володя. Я положу их здесь, на столик... Но, увы, это совсем не так много, как ты думаешь.

— Две тысячи немного? — удивился он.

— Да. Садись, Володя.

Он сел, налил себе полный стакан, и мать широко раскрыла глаза, когда он сразу, одним махом, не поморщившись, выпил его, а потом стал медленно, очень медленно, как ели они на передовой, закусывать.

— У тебя очень странные глаза, Володя, — сказала мать, тревожно вглядываясь в его лицо, видно ища те изменения, которые произошли с сыном за три года.

— Я ж выпил, — пожал он плечами.

— Ты с такими пришел... Они очень усталые и какие-то пустые. Такие пустые, что мне страшно в них глядеть... Почему ты ничего не рассказываешь?

— Что рассказывать, мама? Просто война... — И он продолжал долго прожевывать каждый кусок, и поэтому мать догадалась:

— Вы голодали?

— Да нет... Нормально. Только вот странно есть вилок, — чуть улыбнулся он, впервые за это время.

Они долго молчали, и Володька непрестанно ощущал на себе тревожный, вопрошающий взгляд матери. Но что он мог ей сейчас сказать? Он даже не решил еще, о чем можно говорить матери, а о чем нельзя, и потому налил себе еще полстакана, отпил и молча закусывал.

— Мама, что с ребятами? И школьными, и дворовыми? — наконец спросил он.

— Кто где, Володя... Знаю, что убит Галин из твоего класса и погибла Люба из восьмой квартиры.

— Люба? Она-то как попала на фронт?

— Пошла добровольно... — Мать взглянула на него и продолжила: — А ты?..

Володька не отвечал, уткнувшись в тарелку.

— Меня это мучает, Володя. Одно дело — знать, что это судьба, другое, когда думаешь — этого могло и не быть. Ты молчишь?

— Это судьба, мама, — не сразу ответил Володька.

— И ты не писал рапортов с просьбами?..

— В начале войны мы все писали. Но это не сыграло роли... Не сыграло... — Володька видел, что мать не поверила ему, но сказать правду он не мог.

Спустя немного мать робко спросила:

— Ты, наверно, Юлю хочешь увидеть?

— Нет... Пока нет, — не сразу ответил он.

— Как началась война, она почти каждый день прибегала ко мне. Мы вместе ждали твоих писем, вместе читали... По-моему, Володя, в том, что она так долго не писала тебе, нет ничего серьезного. Просто глупое, детское увлечение. Она совсем еще девчонка. Вы должны увидеться, и ты... ты должен простить ее, — сказала мать, видимо придавая большое значение этому, надеясь, что Юля как-то поможет сыну прийти в себя.

— Что простить? — равнодушно спросил Володька.

— Ну... ее долгое молчание, — немного растерялась мать.

— Это такая ерунда, мама, — махнул он рукой.

— Но ты как будто очень переживал ее молчание?

— Когда это было? Теперь все это...

Мать опять пристально поглядела на него — такого сына она не знала и не понимала. Он стал другим.

— Где Сергей?

— Сережа в Москве. У него белый билет после ранения на финской... Ему я очень обязана, Володя. Он устроил меня надомницей. Видишь, я шью красноармейское белье и получаю рабочую карточку. А до этого целый месяц была без работы. Наше издательство эвакуи-

ировалось, ну, а я не поехала. Все время думалось: вдруг ты попадешь каким-то случаем в Москву...

Володька поднялся, подошел к дивану.

— Я прилягу, мама...

— Да, да, конечно, тебе надо отдохнуть, — заторопилась она, укладывая подушки.

— Пока я никого не хочу видеть, мама. И Юльку тоже. — Он зевнул и растянулся на диване.

* * *

Но с Юлькой он увиделся в тот же день, точнее, вечер. Она пришла, когда он только что проснулся, и, услышав два звонка, уже понял, что это Юлька. Он закурил и, не вставая, напряженно уставился на дверь. Он слышал, как топают ее каблучки по коридору, как здороваются она с матерью, как приближаются ее шаги к комнате. И вот...

Юлька впорхнула и, увидев Володьку, отпрянула назад, потом охнула, всплеснула руками и замерла, а в ее глазах вместе с удивлением, радостью мелькнуло какое-то отчаяние.

Он нарочито не спеша поднялся с дивана и начал натягивать вымытые уже матерью свои кирзашки, которые и сейчас выглядели неприглядно, потом так же нарочито медленно сделал шаг к Юльке и остановился.

— Володька... ты? Господи, так и умереть можно. Твоя мама ничего не сказала... Когда ты приехал?

— Утром.

— Ты ранен?.. И у тебя медаль! Я знала, что ты будешь хорошо воевать... Господи, я не о том... Ты надолго?

— Ну проходи, раз появилась. Нечего в дверях стоять.

Юлька изменилась. Нет, она не выросла и не попышнела телом. Только не стало смешных, нелепых косичек, а была короткая стрижка «под мальчика», были чуть подкрашены губы, и были серьезные, очень серьезные глаза.

— Я пройду... — сказала она, но продолжала стоять в дверях. — Господи, что я натворила! Ты надолго?

— Не знаю... Проходи.

Юлька как-то неуверенно подошла к нему, остановилась, словно ожидая чего-то, но Володька только протянул ей руку и довольно грубовато сказал:

— Ну садись. Рассказывай, чем занималась, пока я ишачил в училище и ждал твоих писем?

— Володя, это потом... Это не главное. Я принесу тебе такую черную тетрадочку, там все описано, и ты... ты поймешь. Это была глупость, Володя, страшная глупость...

— Что же не глупость? — хмуро спросил он.

— Сейчас не могу... Ты меня убьешь.

— Не очень-то я походил на Отелло, — усмехнулся Володька.

— К сожалению, да... — Юлька вытащила из сумочки папиросы, спички и закурила.

— Это что за новость? А ну, брось! — почти крикнул он.

— Я курю, Володя. Давно, с начала войны.

— Брось! — Юлька сделала короткую затяжку и положила папиросу в пепельницу. — Чему еще ты научилась с начала войны?

— Больше ничему...

— Вон водка... Может, тоже научилась?

— Нет, но налей немного. Мне надо прийти в себя...

— Бить тебя было некому, — сказал Володька, покачивая головой, но взял из буфета рюмку и налил.

Юлька выпила и начала так серьезно, что Володька насторожился:

— Я должна сказать тебе... Не знаю, с чего начать. Но ты должен понять меня и... простить.

— Говори! — нетерпеливо, приказным тоном сказал он.

— Завтра к двенадцати мне нужно... в военкомат... С вещами...

— Какой, к черту, военкомат! — загремел он. — Ты сдурела, что ли!

— Я ж не знала, что ты приедешь... Я хотела быть с тобой... на фронте, — еле слышно произнесла она и присела на диван.

— Дура! Ты знаешь, что такое война?! И для девченок! Это ты понимаешь?

— Зато я испытаю все, что и ты...

Вошла Володькина мать.

— Мама, представляешь, что она выкинула? Завтра ей в армию!

— Господи... Как же это, Юля? Володя приехал, а вы... вы уезжаете... И вообще...

— Откуда я знала, что он приедет? Я думала, вдруг мы на фронте встретимся, — чуть не плача, пробормотала Юлька.

— Нашла место для свиданий! Ну, не дуреха... — Володька бросил в сердцах папиросу и стал вышагивать по комнате, громыхая сапогами.

— Успокойся, Володя, — сказала мать.

— Я спокоен. Пусть отправляется, если по рукам захотелось...

— Володя... — укоризненно прервала мать.

— Я не Майка! И ни по каким рукам ходить не собираюсь! Я воевать иду! — вскрикнула Юлька и заревела уже по-настоящему.

— Воевать! Ты знаешь, что это такое! Вздуть бы тебя сейчас как следует! — взорвался опять Володька.

— Володя... — остановила его мать.

— Какой ты трудный, Володя, — сквозь слезы бормотала Юлька. — Моя мама всегда говорила, что ты трудный мальчишка.

— Мальчишка! Я мужик теперь! Понимаешь, мужик! Я видел столько за эти месяцы, чего за сто лет не увидишь. Ты посмотри на меня, посмотри. — Он подошел к ней и стал.

Юлька подняла глаза и, наверно, только сейчас увидела, как изменился Володька, как он худ, какие черные круги у него под глазами, в которых стояла какая-то непроходимая усталость и пустота. И она прошептала:

— Скажи, что *там* было? У тебя такие глаза... Господи... Почему ты молчишь? — Она глядела на него в упор и вдруг, закрыв лицо руками, прошептала: — Мне почему-то стало страшно. И я не хочу завтра в военкомат.

У Володьки кривился рот, ему было нестерпимо жалко Юльку, но он сказал:

— Я даже не пойду провожать тебя завтра.

— Не мучай меня... У нас всего один вечер. И ты пойдешь...

* * *

И Володька пошел. На другой день в одиннадцать часов он уже был у Юльки дома, о чем-то говорил с заплаканной ее матерью, чем-то успокаивал растерянного, пришибленного Юлькиного отца, который, конечно не зная, что она идет в армию добровольно, все время безнадежно приговаривал: «Довоевались... Девчонок в армию забирают. Довоевались...» Он отпросился с работы, чтобы проводить дочь, но Юлька категорически заявила: провожать ее будет только один Володька. Мать суетливо собирала вещи, которые Юля молча выкладывала обратно, говоря, что они ей не нужны, а мать через некоторое время опять собирала их в маленький Юлькин чемоданчик, памятный Володьке еще со школы.

Отец дрожащими руками достал из буфета початую четвертинку, стал разливать, и горлышко бутылки било по краям рюмок, и они дребезжали дробным печальным звоном, от которого всем было не по себе.

Володька, глядя на эту предотъездную суету, на страдальческие лица Юлькиных родителей, на муку в их глазах, почему-то вспомнил очередь к штабу полка, в которой они стояли с докладными в руках, возбужденные, гордые своими решениями, полные ощущения своей значительности, совсем не думая о том, что где-то далеко их матери молят Бога, молят судьбу, чтоб остались их сыновья на Дальнем Востоке и война прошла бы для них мимо...

Тем временем Юлькин отец, разлив водку, протягивал неверной от волнения рукой рюмки и, видимо будучи не в силах ничего говорить, приглашал жестом присесть всех перед дорогой. Они присели на разбросанные по комнате стулья, молча выпили по маленькой рюмке теплой противной водки и поднялись. Володька, взяв

Юлькин чемоданчик, вышел в коридор и уже оттуда услышал, как заголосила ее мать, как выдавливал из себя какие-то прощальные слова ее отец...

Призывной пункт в Останкине они нашли сразу: около него толпились девчухи — и красивые, и не очень, высокие и маленькие, худенькие и полненькие (таких меньше), но все до невозможности молоденькие, совсем-совсем девчонки. Одеты они были во все старенькое, так как знали, что одежду эту отберут и дадут военное. В руках у всех маленькие чемоданчики или вещмешки. Все были коротко острижены, как и Юлька, и только одна высокая вальжная блондинка не смогла расстаться со своей роскошной, в руку толщиной косой. И провожали их только матери или младшие сестры и братья.

Стоял нервный шепотливый гомон. Матери что-то говорили им напоследок, давали какие-то наказания или напутствия, а девчонки почти беззвучно шептали в ответ: «Да, мама... Хорошо, мама... Конечно, мама...»

На Володьку посматривали — он был единственный мужчина из провожающих, да еще раненый, с фронта, на который скоро попадут и они, эти глупые девчухи. И слышалось: «Видать, только приехал — и сразу на проводы попал... Вот не повезло парню... А может, брат? Да нет, не похожи вроде...»

Из одноэтажного деревянного домика, где располагался призывной пункт, вышел немолодой старший лейтенант. Володька бросил руку к шапке, тот ответил на приветствие, обвел всех усталым, сочувственным взглядом и вытащил список.

— Ну вот, девчата... Надо построиться, — начал он. — Буду выкликать фамилии, отвечайте — «я». Поняли?

Девушки стали неумело строиться. Было их человек пятнадцать.

— Абрамова Таня...

— Я!

— Большакова Зина...

— Я!

Так выкликнул он все пятнадцать фамилий. Все были на месте. Все ответили — «я», кто смело и громко, кто тихо и неуверенно, а кто и с легкой дрожью в голосе.

— А теперь, девушки, попрощайтесь со своими родными и проходите.

Юля сразу же ткнулась холодными губами в Володькино лицо и, круто повернувшись, пошла в дом. Только перед дверью приостановилась, махнула ему рукой и улыбнулась. Улыбка была вымученной и жалкой.

Тем временем за Володькиной спиной слышались материнские причитания:

— Как же ты будешь там, девонька? Господи...

— Пиши. Как можно чаще пиши. Как время выдастся, так и пиши...

— Мужикам-то не особенно верь...

— Бог ты мой, как же отцу твоему пропишу про это? Береги себя, девочка... Прошу тебя, береги...

Раздавались всхлипы, рыдания... У Володьки придало грудь, и он начал кашлять. «Ну, какие дурешки, какие дурешки», — думал он, и было ему и жалко их всех, в том числе и Юльку, до невозможности, и зло брало за глупость их, наивность.

— Куда их, старшой? — подошел он к старшему лейтенанту. — Понимаешь, только вчера с фронта, и вот... выкинула номер моя.

— Не беспокойся, — улыбнулся тот. — В Москве пока будут. Запасной полк связи на Матросской Тишине. Знаешь, недалеко от Сокольников?

— Знаю, конечно, — обрадовался Володька.

— Сам-то надолго?

— А хрен его знает. Не был еще на комиссии. Думаю, месяц, полтора...

— Ну, а их пока обучат, пока присягу примут, пятое-десятое, и больше пройдет. Так что не теряйся, когда в увольнение прибегать будет, — подмигнул старший лейтенант.

— Будь спок, не растеряюсь, — в тон ответил Володька, а у самого ныло в душе.

Постоял он еще немного вместе с плачущими матерями, искурил папиросу, а потом медленно пошел вдоль трамвайной линии. Перед глазами все еще стояла вымученная, жалкая Юлина улыбка, не очень-то его успокоило то, что Юлька будет пока в Москве. Все равно же впереди фронт.

Выйдя на Ярославское шоссе, он стал подниматься в гору, и тут бросилась ему в глаза огромная очередь около продмага, но тянущаяся не из дверей, а со двора, и было в ней, в этой очереди, порядочно мужичков, что удивило Володьку.

— За чем очередь? — поинтересовался он.

— Водку без талонов дают.

— А сколько она стоит без талонов?

— Вы что, с неба свалились? — обернулась женщина. — Ах, простите, вы, наверно, недавно в Москве, тридцать рублей бутылка.

— Дешевка! — поразился Володька. — Я в деревнях за самогон пятьсот платил.

— Так на рынке у нас столько же берут. Мы стоим-то, думаете, чтоб выпить? Нет. Ну, мужики, те, конечно, в себя вольют, а мы, женщины, только посмотрим — и на рынок...

— Пожалуй, я встану, — решил он, тем более что до встречи с Сергеем оставалось еще два часа.

— Так вас, раненых да инвалидов, через пять человек ставят. Идите вперед, как увидите калеку какого, отсчитывайте от него пять человек и становитесь... Привыкли, наверно, на фронте к наркомовским граммам? — добавила женщина.

— Не очень-то, — ответил он и пошел вперед.

Очередь была длинная, но инвалидов стояло только трое — двое на костылях, один с рукой на черной козылке. За ним-то и стал Володька отсчитывать пять человек. Очередь не очень-то охотно, но потеснилась, пропустив его.

— Наши-то уже головы сложили, а эти отвоевались, живыми вышли, а все им льготы разные, — проворчала одна женщина в черном платке, но на нее зашикали:

— И не стыдно тебе? Кому пожалела? Им-то теперь забыться надо хоть на миг, отойти мыслями от войны этой проклятой...

— Я, бабоньки, не отвоевался, — сказал Володька, перейдя на армейский говорок. — Я на месяцок только. И обратно — добивать фрица.

— Ну вот, в отпуске человек, а ты...

Женщина в платке потупилась и замолкла, но тут вступил пожилой мужчина:

— Добивать, говоришь? Что-то не больно вы его бьете, солдатики. Пока он вас кроет.

— Ну, ну, разговорчики, — подошел инвалид с рукой на косынке, а потом обратился к Володьке: — Давно, браток, с фронта?

— Только вчера прибыл, — ответил Володька.

— Слыхала, язва? Человек, можно сказать, только из боя вышел, а ты хвост поднимаешь. На кого? — набросился он на бабу в платке. — Небось для спекуляции за водкой-то стоишь?

— Конечно, глаза наливать вроде вас не буду. Мне дитев кормить. Понял? — огрызнулась та.

— Ладно, кончаем базар. Закурить у тебя, лейтенант, не найдется? Ты извини, что я тебя на «ты», по-свойски, по-фронтовому. На каком участке лиха хватил?

— Из-подо Ржева я, — ответил Володька, давая закурить инвалиду.

— Калининский, значит... А меня под Смоленском шарахнуло, еще осенью. Я уж месяц как в Москве, а то все по госпиталям разным валялся. Нерв у меня перебитый. Видишь, как пальцы скрючило — не разогнуть. Пока на полгода освобождение дали. Но вряд ли рука разойдется. Обидно, что правая — рабочая. В общем, видать, отвоевался...

Володька с интересом слушал и инвалида, прислушивался и к разговорам в очереди. Они шли разные, кто о чем. И о том говорили, как карточки в этот месяц удалось хорошо отоварить, и о том, как в деревню ездили без пропуска менять вещички на картоху, и о том, что соседка две похоронки сразу получила — на мужа и на сына, и о том, что самое страшное позади — зима прошла, что теперь полегче в тепле-то будет... Колхозничков поругивали за сумасшедшие цены на рынках... И радовались, что налетов немецких совсем поменело и, дай Бог, больше к Москве не допустят... О многом еще говорили в очереди, ноплыли эти разговоры спокойно, без особого уныния и паники, а главное, без страха. А ведь немец-то пока еще как близко от города. Но



чувствовалась и вера и убежденность — то, что случилось прошлой осенью, больше не повторится.

Давали по две бутылки в одни руки. Володька получил, засунул в карманы бриджей и подумал, что ему повезло: при встрече с Сергеем можно будет выпить маленько, и хотел было идти, как подошел к нему тот инвалид разговорчивый, видно поджидавший его.

— Побалакать не желаешь, лейтенант? — предложил он. — О многом спросить тебя хочется.

— Давай поговорим, — согласился Володька.

Они отошли от магазина в сторону, завернули в какой-то небольшой дворик, нашли скамейку, присели, закурили...

— Ну, как фриц поживает? — начал инвалид.

— Фриц пока лучше нашего поживает, — в тон ему ответил Володька.

— Чего-то мы прохлопали с этой войной. Небось товарищу Сталину много липы подсовывали. Обманывали его начальнички. Да и не без вредительства было. Вот танки-то и самолеты-то и вышли на бумаге только... Знаешь, как он летом пёр? Ох, как пёр! Я ж с самого запада драпал. Меня ж в тридцать девятом из запаса взяли, да так и не отпустили... Понимаешь, только мы кой-какую оборону организуем, а он, сука, обтекает нас с флангов — и в кольцо...

— Как сейчас-то живешь? — прервал Володька его разглагольствования.

— Как живу? — усмехнулся инвалид. — Моя жизнь теперича, можно сказать, пречудная... Пенсии мне положили по третьей группе триста двадцать рубликов, выдали карточку рабочую и к спецмагазину прикрепили — к инвалидному. Там и продукты получше, и сразу за месяц можно все отоварить... Ну, пенсия эта, сам понимаешь, — только паек выкупить. А пайка этого, сам увидишь, на месяц, тяни не тяни, никак не растянешь. Его в три дня улопать можно, за исключением хлеба, конечно... Вот так... Значит, если хочешь жить — соображай. Вот и соображаешь. Бутылку одну я, конечно, употреблю, а вторую — на базар, как те бабоньки, что в очереди стояли. За пятьсот, может, и не продам, долго

стоять надо, а за четыреста верняком... Вот на них-то тебе и килограмм картошечки, вот тебе немного маслица или сальца... Вот так, браток. Понял?

— Понял, — кивнул Володька, добавив еще несколько словечек из своих любимых.

— Гадство — верно. А что делать? Водку без талонов, поди, каждый день где-нибудь да дают. Я вот сейчас до Колхозной пешочком пройду, авось еще где дают, может, еще пару бутылок приобрету. Вот так, брат, пока и кручусь. Жрать-то надо...

— В общем, в рот пароход, якорь... — процедил Володька хмуро, без усмешки.

— Ха-ха, — грохнул инвалид. — В самую точку! Ты откуда понабрался такого, лейтенант? Не из блатных или флотских будешь?

— С Рожи я. С Марьиной...

— Тогда понятно, — досмеивался инвалид.

— Не противно базарить-то? — спросил Володька после паузы.

— Противно! Первый раз с этой водкой на рынке стоял, аж покраснел весь — и стыдно, и гадостно, и себя жалко, чуть ли не слезы на глазах. Обидно уж очень. А потом привык. Все сейчас так. Хочешь жить — умеешь вертеться. Угости еще папирочкой.

— Держи. Может, в запас дать?

— Нет, спасибо. Махорочки куплю на базаре... Ты пивка небось давно не пивал?

— Давно.

— С пивом в Москве порядок, и по довоенной цене — два двадцать кружечка, почитай даром. Ну, очередь, разумеется, но нас, инвалидов, как везде, — через пять гавриков. Но все равно постоять надо. Зато дорвешься — и сиди себе, попивай всласть... Иной раз кружечка десять в себя вольешь — и сыт, и пьян...

Они помолчали немного, попыхивая папиросками. Переваривал Володька услышанное. А инвалид тем временем поднялся, спеша, видно, к следующему магазину, где вдруг удастся отхватить еще пару бутылочек.

— Ну, бывай, браток. Желаю погулять как следует, пока вне строя. Второй раз можешь и не попасть в Мос-

кву, да и вообще... никуда... — Инвалид протянул левую руку, Володька правую. Пожали крепко и разошлись.

* * *

Проходя на обратном пути мимо своего дома, повстречался Володька с двумя пареньками со своего двора — Витькой Бульдогом и Шуркой Профессором. Когда уезжал в армию, были они еще совсем пацанятами, а сейчас один вымахал ростом выше Володьки, а второй стал хоть не высоким, но крепеньким, складным парнем.

— Володь... — жали они ему руку, глядя с восхищением на его медаль и на перевязанную руку.

— Ну как, мелочь пузатая, живете? — небрежно спросил он, прекрасно понимая, что он для них сейчас представляет.

— Призываемся мы, Володь. Вот Шурка выпускные экзамены сдаст и сразу в армию.

— Витьке бронь могут дать, но он не хочет, — сказал Шурка.

— Какую бронь? Ты работаешь? — удивился Володька.

— Конечно. Разряд у меня... Ну ее, эту бронь... Про Любу-то знаешь?

— Знаю, — кивнул Володька.

— Мы зимой ее последний раз видели. Приходила во двор. В полушубке белом, а сама такая веселая. Она с Зоей Космодемьянской вроде пошла. — Витька Бульдог шмыгнул носом и потер глаза.

И Володька понял: влюблен, видать, был Витька в Любу первой мальчишеской любовью, какая тут может быть бронь...

— И Абрама убило, Петьку Егорова тоже... А Вовка Кукарача Героя получил, — выпалил Шурка. — Он трех фрицев из разведки приволок. Один. Понимаешь?

Володька кивнул головой, задумался...

— Да, ребятки, не очень веселое вы рассказали.

Вытащил папиросы, угостил ребят, а сам подумал, что разметала война весь их двор и никогда, никогда не увидит он тех ребят, с которыми толкался в подворотне,

играл в «казаки-разбойники», перекидывался мячом на волейбольной площадке... Да, *никогда!* И ткнуло тупой болью в сердце.

Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый... вот и двадцать четвертый год уходит — и сразу на войну... Володька смотрел на ребят — мальчишки же совсем, но уже знают, что можно и не вернуться, так как война прошла по их дому, смела старших товарищей; но по мальчишеству, конечно, всерьез не могут вникнуть, а потому и сверкают в их глазах огоньки восхищения от блеска Володькиной медали...

— Куда собрались такие приодетые? — спросил он.

— В «Эрмитаж».

— В «Эрмитаж»? — удивился Володька. — Неужели он открыт?

— Открыт... Пойдем с нами, Володь, погуляем...

— Нет, ребятки. Встреча у меня. Идите, гуляйте...

— Последние денечки... — сказал Витька, вздохнув.

* * *

Встреча с Сергеем была назначена в центре, на Кузнецком мосту, и Володька пришел точно к двум. Сергей уже ждал его. Он был одет в полувоенное, на груди «Звездочка». Они молча потискались друг друга в объятиях, долго хлопали друг друга по спинам, но не поцеловались — нежности у них были не приняты.

— Ну, пойдем, — сказал Сергей. — Спрашивать я тебя пока ни о чем не буду, придем в одно местечко — посидим, выпьем, поговорим.

— Неужели есть в Москве такие местечки?

— Только одно — «коктейль-холл». Он открылся уже после твоего отъезда в армию.

— Может, там и пожрать можно? — заинтересовался Володька.

— Увы. Ты голоден?

— Пожрал бы...

Сергей взглянул на Володьку и покачал головой.

— Вижу по твоей физике — досталось. Да?

— Досталось, — безразлично ответил Володька.

Дальше они шли молча, и Володька с интересом поглядывал по сторонам, ища изменения в знакомой улице, но их не было. Кузнецкий мост, Петровка выглядели как и раньше, до войны, только народу поменьше, но все равно по сравнению с обезлюденной передовой много, очень много. Так вышли они к улице Горького.

— Нам сюда, — сказал Сергей, показав на вывеску — «Коктейль-холл» и на дверь, около которой стояла очередь.

Сергей, бесцеремонно отодвигая стоящих в очереди, пробился к двери и постучал. Дверь приоткрылась, и бородатый швейцар заулыбался.

— Милости просим, Сергей Иванович. Здравствуйте. Проходите.

— Этот товарищ со мной, — сказал Сергей и взял Володькину руку в свою.

— Извините, Сергей Иванович... Разве вы забыли... В военной форме не положено. Не могу-с, — сладким голосом заизвинялся швейцар.

— Ах ты, черт! Совсем забыл. Придется тебе, Володька, съездить переодеться...

У Володьки задрожали губы, сузились глаза.

— А в какой положено, борода? — процедил он, наступая на швейцара.

— Ну-с, в обычной гражданской одежде, — все еще улыбался тот.

Но на Володьку уже накатило — такой обиды он не ожидал, и глаза начали наливаться кровью.

— Это моя Москва, борода! Я ее защищал! Понял? И в сторону! — Володька оттолкнул плечом швейцара, и тот уже не улыбался, а начал бормотать:

— Уж так и быть... Как исключение... Я бы сам с радостью. Приказ такой...

Но Володька уже прошел...

Сергей с любопытством глядел на эту сцену, а когда они вошли в зал, сказал:

— Пойдем наверх, там уютней.

Но Володька остановился посреди зала и оглядывал ресторанное великолепие этого «коктейль-холла», которого еще не было в Москве, когда он уезжал в армию.

Да, это был не обыкновенный ресторанный зал какого-нибудь «Иртыша» или самотечной «Нарвы», где когда-то бывал Володька, — это для него было дворцом... Наверх шла широкая лестница, устланная темно-вишневым ковром, справа — полукруглая стойка с высокими стульями, за которыми сидели мужчины в гражданском и тянули что-то из соломинок. За стойкой стояла хорошенькая девушка.

Несовместимость этого с тем, что все еще стояло перед его внутренним взором — изрытого воронками поля, шатающихся от усталости и голода бойцов в грязных шинелях, бродящих от шалаша к шалашу в поисках щепотки махры, вони от тухлой конины, незахороненных трупов, — была так разительна, так неправдоподобна, так чудовищна, что у Володьки рука невольно полезла в задний карман бриджей — ему захотелось вытащить «вальтер» и начать палить по всему этому великолепию — по люстрам, по стеклам, по этому вишневному ковру, чтоб продырявить его пулями, услышать звон битого стекла... Только это, наверное, смогло бы успокоить его сейчас, но Сергей, внимательно наблюдавший за ним, взял его под руку:

— Пойдем... Сейчас выпьешь, и все пройдет...

Они поднялись наверх, заняли столик, к которому моментально подошла черненькая официантка и, ослепительно улыбнувшись, сказала:

— Добрый день, Сергей Иванович. Вам, как всегда, бренди? Или мартини?

— Познакомься, Риммочка. Это мой друг... Только вчера с фронта, так что, сама понимаешь, обслужи нас — шик модерн.

— Разумеется, Сергей Иванович, — ответила она, протянув Володьке руку, и как-то многозначительно пожалала Володькину своими теплыми мясистыми пальцами.

Володька все еще не мог прийти в себя и сидел набычившись, чувствуя, как нарастает внутри что-то тяжелое и недоброе... Ему было совершенно невозможно представить, что этот зал и болотный пятак передовой существуют в одном времени и пространстве. Либо сон

это, либо сном был Ржев... Одно из двух! Совместить вместе их нельзя!

А Риммочка тем временем уже принесла высокие бокалы, наполненные чем-то очень ароматным и, видимо, очень вкусным, потому что Сергей уже причмокивал губами.

— Ну, давай, за твое возвращение... живым, — протянул он Володьке бокал. — Да, живым, — добавил он дрогнувшим голосом, положив руку на Володькино плечо.

И Володька оценил и сердечность тона, и дрогнувший голос. Для Сергея, не отличавшегося сентиментальностью, это было уже много.

— Пей.

Володька взялся за соломинку, втянул в себя что-то освежающее и необыкновенно вкусное.

— Ну, как мартини? — спросил Сергей, улыбаясь.

— Мне стрелять охота, Сережка, — тоскливо как-то сказал Володька.

— Не глупи... Это пройдет. Тыл есть тыл, и он должен быть спокойным.

— Серега, но ты-то почему здесь, с этими?.. Да еще Сергеем Ивановичем заделался...

Сергей засмеялся:

— Привыкаю помаленьку. Я ж теперь знаешь кто?

— Мать что-то говорила...

— Я коммерческий директор. Ничего не попишешь — семья, ребенок...

— Я сегодня услышал от одного: хочешь жить — умей вертеться. Это что, лозунг тыла?

— Все гораздо сложнее, Володька, — очень серьезно произнес Сергей, и по его лицу прошла тень. — Рассказывай, что на фронте?

— Поначалу наступали, и здорово. Драпал немец дай Боже. А потом выдохлись. Возьмем деревню, а на другой день выбивает нас немец. Опять берем, опять, гад, выбивает. Так по нескольку раз — из рук в руки. Ну, а затем распутица, подвоза нет, ни снарядов, ни жратвы... Вот в апреле и досталось. — Володька отпил из бокала, задумался, потом досказал: — Я, разумеется, храбрился... перед людьми-то, все-таки ротным под конец был...

Но досталось, Сергей, очень досталось. И не спрашивай больше. Отойти мне надо.

— Понимаю, — кивнул Сергей. — Только один вопрос: за что медаль?

— За разведку... «Языка» приволок.

— Ого, это кое-что значит.

— Для меня это слишком много значило, — тихо сказал Володька и опустил голову.

Они молча потягивали martini, а Риммочка все приносила и приносила бокалы, и Володька пил, надеясь, что хмель как-то забьет душившую его боль, но martini не помогал...

Перед глазами проплывали одно за другим лица оставшихся ребят его роты, их обреченные глаза, их оборванные ватники, их заляпанная грязью обмотка... Да, за них было больно ему сейчас, больно так, будто рвали из души что-то.

— Мне стрелять охота, — опять пробормотал он почти про себя.

— Не дури! У тебя действительно пистолет с собой?

— С собой.

— Это уж глупость! Для чего таскать?

Володька ничего не ответил, но немного погодя спросил:

— Они что, все такие нужные для тыла? — обвел он глазами зал.

— Ну, знаешь, хватит! Тебе прописные истины выложить, что победа куется не только на фронте... — чуть раздраженно буркнул Сергей.

— Да, я понимаю... Но вот этого лба, — показал он пальцем на полного мужчину, — мне бы в роту. Плиту бы ему минометную на спину — жирок быстро спустил бы... А то за соломинку держится.

— Это становится смешно, Володька. Ну, хлебнул ты горячего, так все, что ли, должны этого хлёбова попробовать? Ты же не удивляешься, что работают кинотеатры, что на «Динамо» играют в футбол, что...

— Тоже удивляюсь, — прервал его Володька. — Ладно, ты прав, конечно. Нервишки...

— Тут же мальчишек полно, которым призываться

на днях, ну и командированные... Набегались по наркоматам, забежали горло промочить...

— Ладно, — махнул рукой Володька.

И тут подошел к ним высокий, хорошо одетый парень с красивым, холеным лицом, который уже давно поглядывал на Володьку с соседнего столика, словно что-то вспоминая. Володьке тоже казалось, что где-то встречались они, но припомнить точно не мог.

— По-моему, мы знакомы... — неуверенно начал парень.

— Как будто, — поднял голову Володька и вдруг сразу вспомнил, но вида не подал — ох, как обрадовался он этой встрече. — Да, мы где-то видались. В какой-нибудь довоенной компании, наверно.

— Возможно.

— Там твоя девушка сидит?

— Да, — подтвердил тот.

— Познакомь. А?

— Что ж, пожалуйста. У нее брат на фронте, ей будет интересно с тобой поговорить.

— Может, не стоит, Володька. Нам уже пора, — Сергей увидел по Володькиным глазам, что назревает неладное.

— Стоит, — промычал Володька и направился к столику.

— Вот товарищ хочет с тобой познакомиться, Тоня.

Девушка подняла голову, хотела было мило улыбнуться, но, столкнувшись с шальными глазами Володьки, испуганно отпрянула, как-то сжалась, но быстро овладела собой.

— Тоня, — представилась она и протянула ему руку.

— Володька. Лейтенант Володька. — Он охватил ее тонкую кисть своей шершавой, заскорузлой, еще со следами ожогов, еще как следует не отмытой лапой и крепко пожал.

— Больно! — воскликнула Тоня.

— Извините, отвык от дамских ручек, — усмехнулся Володька.

— Почему так странно — лейтенант Володька? — спросила она, потирая кисть правой руки.

— Так ребята в роте прозвали... Наверно, потому, что я хоть и лейтенант, но все-таки Володька, то есть свой в доску...

— Присаживайся, — пригласил парень.

— Спасибочко...

Перед дракой Володька всегда был спокоен и даже весел, и сейчас шальной блеск в его глазах потух, а большой лягушачий рот кривился в вполне добродушной улыбке. Тоня, видно, совсем успокоилась и глядела на него с некоторым любопытством, ожидая рассказа о его фронтовых товарищах, прозвавших его так чудно, но вроде бы ласково. Но Володька молчал. Он еще не знал, с чего начать.

— Мой брат на Калининском... И очень давно нет писем, — сказала Тоня.

— Я тоже оттуда... Распутица... Значит, брат на Калининском, а вы... тут. Интересно...

— А почему бы нам здесь не быть? — с некоторым вызовом спросила Тоня.

— Я не про вас, а вот про него.

— У Игоря отсрочка, он перешел на четвертый курс.

— Уже на четвертый? Ох, как времечко-то летит... Не вспомнил, где мы встречались?

— Пока нет, — ответил Игорь, пожав плечами.

— Напомню... Тридцать восьмой год. Архитектурный институт. Экзамены... И оба не проходим по конкурсу. У тебя даже, по-моему, на два балла меньше было.

— Да, да, верно... Ох уж эти экзамены... — заулыбался тот, не заметив пока в голосе Володьки странных ноток.

— Но ты все же поступил? — Володька поднял глаза и уже не сводил их с Игоря.

— Да, понимаешь, был некоторый отсев — и... мне удалось...

— С помощью папаши?

— Нет, я ж говорю... отсев... Освободилось место.

— А на следующий год вы поступили? — живо спросила Тоня, видно желая переменить разговор.

— Поступил... Но через пятнадцать дней... «ворошиловский призыв». Помните, наверно?

— Да, — кивнула Тоня.

— Так-то, Игорек, — начал Володька вроде спокой-
но. — Выходит, мое место ты занимаешь в институте.

— Ну почему? Просто мне повезло, — сказал Игорь,
уже с некоторой опаской поглядывая на Володьку.

— Просто повезло, просто отсев? Здорово получает-
ся... А я сегодня девчонку в армию проводил... Малень-
кую такую, хрупкую. Связистой будет... Добровольно
пошла, между прочим. А ты знаешь, сколько катушка
с проводами весит? И как таскать она ее будет? Да под
огнем, под пулями? — Володькины глаза сузились, губы
подрагивали. — Нет, вы здесь ни хрена не хотите знать,
вы тут... с соломинками. Вам плевать, что всего в двух-
стах километрах ротные глотку рвут, люди помирают...
Эх, тебя бы туда на недельку!.. — потянул Володька руку
к лицу Игоря.

— Знаешь что, иди-ка ты за свой столик. Посидел, и
хватит, — приподнялся Игорь и отвел Володькину руку.

— погоди, погоди... Не торопись, — растягивая сло-
ва, произнес Володька, а потом, резко встав, ударил
Игоря по щеке. — Это тебе за институт, а это за то, что в
тылу укрываешься, падло. — И второй раз тяжелая Во-
лодькина рука выдала пощечину.

Игорь замахнулся, но Тоня встала между ними:

— Не отвечай! Ты можешь задеть ему рану. Он сума-
шедший! Разве не видишь!

Несколько мужчин, сорвавшись из-за столиков, под-
бежали к ним. Кто-то схватил Володьку за руку, кто-то
за плечо.

— Нельзя так, товарищ военный, — сказал один из
них.

— Успокойтесь, успокойтесь, — уговаривал другой.

Но Володька завопил:

— Руки! Прочь руки! — и стал вырываться. — Ах,
гады, рану...

Володька разбросал державших его людей, отскочил
к стене, резко бросил руку в задний карман. Секунда —
и ствол «вальтера» черным зловещим зрачком уставил-
ся на окружавших его людей.

— А ну, по своим местам! Живо!

И люди стали медленно отступать к своим столикам — зрачок пистолета и сумасшедшие, выпученные Володькины глаза были достаточно выразительны, чтобы сомневаться, — этот свихнувшийся окопник и верно начнет палить... Когда все отошли к своим столикам, Володька командовал:

— А теперь слушать мою команду! Встать! Всем встать! И две минуты — ни звука! Помянете, гады, мою битую-перебитую роту! И ты встань, Сергей. Гляди на часы. Ровно две минуты! Там все поля в наших, а вы тут... с соломинками...

И люди поднялись. Кто неохотно, с кривыми усмешечками, кто быстро. Молодые ребята, призываться которым, глядели на Володьку с восхищением: «Во дает фронтовик!..» Кто-то сказал, что они бы и так помянули его роту, зачем пистолет?.. Один начальственного вида мужчина поднялся с ворчанием:

— Безобразие, распустились там...

— Не тявкать! Влеплю! — резанул Володька, направив пистолет в его сторону, и тот поневоле вздрогнул, а Володька, кривясь в непонятной улыбочке, водил пистолетом по залу — затвор не был взведен, но никто этого не заметил...

Сергей смотрел на часы — ему, видимо, все это казалось забавным. Тоня стояла почти рядом с Володькой и глядела на него в упор без всякого страха, только тяжело дышала...

Но не прошло и двух минут, как вбежала Римма:

— Сергей Иванович! Вниз по патруль вызвали! Я вас черным ходом!

Сергей бросился к Володьке, схватил за локоть, и они покатались вниз по крутой, узкой лестнице... Выбежав во двор, рванули влево. Выскочили они со дворов где-то около «Арагви» и скорым шагом стали спускаться к Столешникову переулку. Там, смешавшись с людьми, прошли немного, потом остановились и закурили.

— Ну, вы даете, сэр... — усмехнулся Сергей. — А если б патруль?

— Черт с ним! Кого я теперь могу бояться? Это ты понимаешь? — Володька сказал это без рисовки, просто и

как-то уныло. — Для чего ты повел меня в этот кабак?

— Как для чего? Посидеть, выпить... поговорить.

— Нет, Серега, не только для этого...

— Может быть, — неопределенно произнес Сергей, усмехнувшись и сломав папироску в пальцах. — Ладно, пошли...

* * *

Три дня после этого отлеживался Володька дома, сходя только на перевязку. Идя в поликлинику, прошел он мимо своей и Юлькиной школы. Сейчас там находился пункт формирования, у калитки стоял часовой, а во дворе он увидел две большие воронки — рыжая развороченная земля... И то, что на передовой казалось обычным, здесь, на родной Володькиной улице, всего в одном квартале от его дома, представилось ему неправдоподобным.

Дальше прошел он мимо старинного особняка, в котором до войны была психбольница, с примыкающим к нему садиком. В этот садик забирались они с Юлькой через дырку в заборе. Вечерами был он пуст, темен, и они могли без опаски, пристроившись на одной из скамеек, целоваться... Сейчас забора не было, и садик со срубленными, наверно на дрова, деревьями был доступен взору, и эта открытость сняла былую таинственность с его дорожек, деревьев, скамеек, которых, кстати, тоже уже не было.

В поликлинике Володьку пропустили без очереди. Хирург, обработав и перевязав рану, сказал:

— Вы должны оформить отпуск, иначе я не имею права принимать вас больше.

Потом, глядя на Володьку тоскливыми глазами, он спросил, как дела на фронте. Володька пробурчал в ответ нечто невнятное.

— От моего сына уже месяц нет писем...

Врач вопросительно поглядел на него, и Володька поспешил его успокоить: месяц — это не страшно, сейчас еще распутица и перебои с почтой вполне закономерны...

Валяясь дома на диване, Володька думал: для чего все-таки Сергей повел в «коктейль»? Должен же он был предполагать, какие чувства вызовет у Володьки этот кабак... А Сергей ничего не делает просто так.

— Мама, — спросил он мать, — что ты думаешь о Сергее? Сегодня о нем?

— Сережа для меня многое сделал, я говорила тебе... Не забывал он и тебя эти годы. Он порядочный человек, Володя...

Он усмехнулся... Для его матери мир делился на порядочных и непорядочных.

Мать продолжила:

— Он пошел добровольно на финскую, он женился на Любе. Не знаю, Володя, кроме хорошего, я ничего не могу сказать про Сережу. Да разве ты сам не знаешь его?

— Теперешнего не знаю. В нем появилось что-то...

— Это тебе кажется... Сейчас тебе все видится не таким. Я понимаю, но это пройдет...

Но это не проходило... Все Володьке казалось каким-то не таким. Оформив отпуск — сорок пять дней с обязательным амбулаторным лечением, — он получил в домоуправлении продовольственные карточки, и, когда показал их матери, та несказанно обрадовалась:

— Ты получишь продукты за весь месяц! Понимаешь, они не вырезали талоны за прошлые дни... В общем, держи сумки и отправляйся в магазин.

Инвалидный магазин находился у Сретенских ворот, и Володька затопал по знакомой с детства Сретенке, довольно многолюдной, и вглядывался в прохожих в надежде, а вдруг встретит кого-нибудь из школьных ребят или хотя бы девчонок. Из девчонок ему хотелось бы увидеть Майю, в которую с восьмого класса сразу влюбились все ребята, — она пополнила, у нее стала умопомрачительная походка, ее бедра почти взрослой женщины колыхались так, что мальчишки столбенели и как загипнотизированные не могли оторвать от нее глаз, когда величаво, чувствуя свою силу и прелесть, Майя проходила мимо. Снилось она и Володьке на Дальнем Востоке — часто и сладко-мучительно.

Проходя около «Урана», подивился он на рекламы и

на то, что крутят тут фильмы, несмотря на войну. Повернув голову налево, увидел очередь в пивной бар, находящийся в переулке, и сразу сметало губы сухостью и страсть как захотелось выпить пивка, но он прошел мимо.

— Садись, садись. Мы сейчас тебя мигом отоварим за весь месяц сразу. Чего тебе, раненному, ходить несколько раз? Верно? — говорил Володьке директор магазина, мужчина лет тридцати, с розовой физиономией и мутноватыми глазками, в кабинет которого он вошел, чтоб прикрепить карточки.

Володька молчал, не очень-то тронутый лебезящим тоном директора, и смотрел на него угрюмо, думая, что такого здорового бугая неплохо бы на передовую — жирок спустить.

— Значит, заместо мяса у нас селедка сегодня, но какая! Залом настоящий! Ну, за жиры я тебя, конечно, сливочным маслом отоварю. Зина! — крикнул он, и сейчас же вошла полноватая молодая продавщица. — Обслужи товарища... Да водочки, разумеется, получишь бутылочку. Отдай сумки-то, она тебе все завесит... Да, за крупы гречку получишь. У нас в магазине все первый сорт. Знаем, кого обслуживаем: фронтовиков, защитников наших...

— А ты что ж... не там? — спросил Володька в упор, сузив глаза.

— Я бы с радостью! Не берут. Язва проклятая! Жрать ничего не могу. Казалось бы, все в моих руках — жри сколько влезет, а не могу.

— А водочку можешь, — скривил Володька губы.

— Водочку могу. Ну, будь здоров. Отоварил я тебе на все сто, — заерзал директор на стуле.

— Ну, спасибо, — промычал Володька, а сам подумал: «Попробовал бы ты, гад, отоварить меня не на все сто, я показал бы тебе что почем». Умел Володька качать права.

Да, раздражение против всего, что он видел в Москве, не проходило. Он понимал, что причиной этого его растрепанные нервишки и голод, который он не переставал ощущать, — ему не хватало хлеба. Поэтому, при-

дя домой, он, не дождавшись обеда, который сегодня должен быть роскошен благодаря полученным им продуктам, не выдержал и навалился на хлеб. Он сидел и медленно жевал черняху и дожевал перед обедом всю свою пайку в восемьсот граммов...

После обеда разморило, и он отправился в свою комнату подремать. И снилось ему снова заснеженное поле с подбитым танком, чернеющие крыши деревни, которую они должны взять, и его ротный с загнанными глазами, говоривший ему: «Надо, Володька, понимаешь, надо...»

* * *

От Юльки пришла открытка. «Дорогой Володя, — писала она, — вот я уже красноармеец. Занимаюсь строевой, зубрю уставы. Тоскую. Нас никуда не выпускают, и мы, все девочки, все свободное время сидим у окон и смотрим... Под нами московская улица, ходят прохожие... Приходи завтра к трем часам к проходной. Я увижу тебя из окна, а может, сумею выскочить на минутку на улицу (это смотря кто будет на посту). Вообще-то ребята относятся к нам хорошо, жалеют... Приходи обязательно. Целую».

На другой день в три часа был уже Володька на Матросской Тишине около кирпичного забора с проходной, за которым краснело трехэтажное здание училища. Он остановился на противоположной стороне улицы и стал глядеть в окна — они были открыты, но пусты. Пока он закуривал, зажег спичку, а потом опять поднял голову, в окнах уже зазеленели гимнастерки и замелькали разноволосые девичьи головки. Он прищурился, стараясь разглядеть Юльку, но вдруг услышал свое имя — она стояла у проходной. Он побежал...

На глазах у часового было неудобно ни поцеловать ее, ни обнять, он только схватил ее руку.

— Ну, как ты, дурочка?

— Отойдем немного, чтоб нас не видели из окон. — И она потащила Володьку влево.

Гимнастерка была ей немного великовата, юбка длинна, но пилотка шла.

— Я очень уродливая... в этом?

— Тебе идет, — не совсем правду сказал он, и щемящая жалость скребанула по сердцу.

— Ты очень сердисься, что я испортила тебе отпуск? — Виноватая улыбка пробежалась по ее лицу.

— Сердишься — не то слово, Юлька. Я злюсь...

— Ну, Володечка, что ж делать? Но, знаешь, я все-таки не жалею, — тряхнула она головкой.

— Дурешка. Еще как будешь жалеть. Все впереди.

Они остановились и замолчали. Володьке не хотелось ее расспрашивать; она стояла потупившись и крутила пуговицу на гимнастерке. А время шло. И то, что оно шло, и то, что его было очень мало, еще больше сковывало. Наконец Юлька тихо и робко спросила:

— Ты не прочел еще мою черненькую книжицу?

— Нет.

— Ты прочти... Тогда ты все поймешь. Хорошо?

— Хорошо, прочту...

Они еще постояли несколько минут молча.

— Ну, мне пора, Володька. — Она прижалась, как-то нескладно поцеловала его и побежала. — Я постараюсь позвонить! — крикнула она на ходу и исчезла в проходной.

Володька постоял еще немного, понутив голову... Радости эта короткая встреча не принесла ни ему, ни, наверное, Юле.

Обратно Володька пошел пешком. У трех вокзалов его окликнули:

— Здорово, браток! Как жизнь крутится?

Володька обернулся и увидел того инвалида, с которым говорил во дворике после проводов Юльки.

— Здорово. — Он даже обрадовался немного: настроение после встречи было скверное.

— Куда топаешь?

— Прогуливаюсь.

— Пойдем со мной. Пивка хочешь?

— Хочу. Только очереди везде.

— Для кого очереди, а для нас... Пошли.

И они отправились по Домниковке, потом по Уланскому и вскоре вышли к Сретенским воротам. Инвалид был сегодня неразговорчив, лицо помятое, припухшее.

Володька тоже помалкивал, поглядывая по сторонам: ему все еще было чудно и странно ходить по московским улицам. Дошли до Кузнецкого, и только тут инвалид, мотнув головой на большое здание слева, буркнул:

— Кидал сюда немец. Он, сука, что ни говори, знал, куда метить. Здесь небось шпионов его уйма сидит. Думал, разбомблю, может, разбегутся... И вообще, я смотрю, зря он не кидал. Разведка у него поставлена.

— Да, — согласился Володька, вспомнив воронки около своей школы.

— Теперь уж не бомбит. Так, иногда один-два самолета прорвутся.

— Куда идем-то? — спросил Володька.

— В кафе-автомат возле метро. Знаешь?

Володька кивнул: как не знать первый автомат в Москве, специально бегали смотреть, когда открылся он. Они вошли в переулок, сразу бросилась в глаза очередь, но не только мужички стояли, было и женщин много с маленькими детьми, а еще больше старушек и старичков. Володька удивился.

— Они что, тоже за пивом? — спросил тихо.

— Нет. Тут, кроме пива, пшенку дают без талонов.

— Тогда неудобно вроде... через пять человек, — смутился Володька.

— А мы и не будем через пять. Держи, — инвалид высыпал в Володькину ладонь несколько медных жетонов. — Ну, а теперича смело вперед. Швейцару скажешь — выходил оправляться. Туалета там нет. Понял?

Показали они швейцару жетоны, и тот пропустил их без звука. Справа у прилавка давали кашу, маленькую порцию, ложки на две, и туда направлялись женщины из очереди, держа в руках бумажные талончики, выдаваемые при входе, а мужички отправлялись налево, где стояли пивные автоматы.

Володька пил с удовольствием. За всю службу на Дальнем Востоке ему только один раз довелось выпить пива. Вообще, там с этим было строго. Ни в магазинах, ни в ресторанах вина военным не продавали, даже командному составу.

После двух кружек инвалид поживел.

— Ну, как тебе жизнь в Москве показалась? — спросил он.

— Странная.

— А я что говорил! Знаешь, я решил жить, ни о чем не думая. День прошел — и слава Богу. Стопку выпил, брюхо набил, и на боковую. Главное, живой, а остальное все мура... Хорошо пиво? Ну, а как, по-твоему, война летом повернется?

— Не знаю... Совсем не знаю, — задумчиво произнес Володька, нахмурившись.

— Попрет он опять. Только где?.. Да, такую силищу обратно повернуть, да до границы дойти, да еще Германию протопать... А жратвы уже нет, а если еще год, два?..

За такие разговорчики на передовой обкладывал Володька марьинорощинским матюгом с блатными при- сказками, да такими, что грохали бойцы смехом: во дает ротный, откуда такого поднабрался... Но здесь не передовая, да и была горькая правда в словах инвалида. И, вспоминая обезлюденный передний край, понимал Володька: туго нам придется, еще как туго, но по привычке взгляд его построжал.

— Ты глаза не пяль, лейтенант, — сказал инвалид. — Я теперь вольный казак, ни перед кем тянуться не обязан. Я тебе по-откровенному, по-солдатски, свои мысли высказываю, и нечего таращиться... Ты небось надеешься живым из этой войны выйти?

— Не очень-то.

— Врешь, надеешься! Без этого ни жить, ни воевать нельзя. Но вот помяни мое слово, попрет немец летом. А чем остановим? Много ли техники, много ли народу, сам знаешь. — Он безнадежно покачал головой и закурил.

— Ты ж говорил, брюхо набью и на боковую, а сам... — усмехнулся Володька.

— Мало ли что говорил. Душа-то болит. И знаешь, что еще мучает? Ненужный я сейчас человек... На завод вот зашел — одни девки да пацаны. Какая, думаю, работа от них? Смотрю, нет, получается. Но разве сравнить, ежели бы я сам к станку стал! Постоял я около своего станочка... Руки-то работы требуют, соскучились. Эх,



лучше бы в ногу долбануло, — закончил в сердцах инвалид и переменял тему: — Как пивко? Давай еще по паре кружечек махнем. Учти — после него себя сытым чувствуешь.

Конечно, Егорыч — как звали инвалида — о своей войне рассказывал, как отступали, как из окружений выходили, какие бои страшные под Смоленском приняли... Володька про свой Калининский особо не распространялся, только вырвалось у него, что должен он по одному московскому адресу сходить, что это для него сейчас главное...

— Не ходи, — решительно заявил Егорыч, поняв сразу, о чем речь, — только ей душу растрaviшь и себе. Не ходи.

— Надо.

— Ты знаешь, как на живых смотрят те, у кого убитые?

— Представляю.

— Ты представляешь, а я знаю. Ходил я, как в Москву вернулся, к жене дружка своего убитого. Обменялись адресочками перед боем. Ну что? Лучше не вспоминать! Не знал, как от нее выбраться поскорей. Три ночи потом не спал.

— Должен я.

— Почему должен? — спросил инвалид, прищурившись и начав вроде догадываться. — Себя, что ли, виноватым считаешь?

— Да, — тихо произнес Володька.

— Тебе через полтора месяца обратно. Там за все вины и разочтешься. Жизнью своей молодой. Сколько годков то тебе?

— Двадцать два. В августе будет.

— Эх, тебе сейчас девок любить, песни петь, на танцульки ходить, а тебе роту всучили и... в бой... на смерть. — Егорыч потер переносицу, потом глаза. — Я-то хоть не очень пожил, сам понимаешь, годы нелегкие были, но все же хоть повидал чего, хоть девок всласть до женитьбы попробовал, а ты... — Он отхлебнул из кружки, потом вскинул голову, словно что-то вспомнив. — Хочешь, познакомлю тебя с девахой одной? Соседка у меня твоих годков, на «Калибре» работает. Огонь-девка! По-

нимаешь, у станка всего несколько месяцев, а вкалывает дай Бог. Наши мужские довоенные нормы перебивает. Только жаль — одна мается. Женишка ее на границе убило, в первые дни... Хочешь?

— Нет...

— Ну и дурак! А то бы сейчас и поехали. Она как раз с ночной пришла, дома... Бутылочка у меня найдется. Ну, поехали?

— Нет, Егорыч, — покачал головой Володька.

— Ну, если не хочешь, запиши-ка мой адресок на всякий случай. На Домниковке я живу...

Володька записал, чтоб не обидеть. На этом и разошлись.

* * *

Следующий день Володька слонялся по дому, не зная, чем себя занять. Часто подходил к книжной полке, вынимал какую-нибудь книгу, перелистывал и откладывал — неинтересно. После того, что им пережито, этот, когда-то захватывающий его, книжный мир с его выдуманными героями сейчас оставлял его равнодушным. Не мог он начать читать и Юлькину черную тетрадку. Не хотелось ему выходить и во двор — боялся встретить матерей тех ребят, которые уже не вернуться...

Привыкший за два с половиною года армии быть все время с людьми, сейчас он изнывал от одиночества и от ничегонеделания. А воспоминания о Ржеве не уходили, и нечем было отвлечься от них. Выходя иногда на улицу, он уже видел, что Москва не такая, какой показалась ему в первые дни, что не так уж красивы и нарядны московские девушки. Они были худы, бледны, а их платья не так цветасты, как виделось поначалу его глазам, привыкшим за годы службы к серо-зеленым цветам военного обмундирования. И не так много было народа на улицах. Пусты были дворы, и совсем не видно было детей... Вечерами плыли по улицам аэростаты заграждения, как какие-то гигантские рыбы, которых, зацепив на крючок, тащили девушки в военной форме. И совсем становилась Москва пустынна, когда темнело, а за час до комендантского часа на улицах уж не было никого.

И вот, намаевшись в тоске и безделье несколько дней, Володька решил заглянуть в кафе-автомат, благо медные жетоны позвякивали в карманах.

Не успел он допить первую кружку пива, как к его столику подошел инвалид на костылях и с ходу спросил:

— Не с Калининского, командир?

— Как угадал? — удивился Володька.

— Угадать немудрено. По лицу видно, что распутицу прихватил.

И пошел разговор... Воевал инвалид под самым Ржевом и рассказывал такое, что было, пожалуй, пострашней Володькиной войны, так как нейтралка местами в городе была не более пятидесяти метров и каждую ночь либо наши, либо немцы делали вылазки, и почти всегда доходило до рукопашной... А что может быть страшней боев лицом к лицу, когда идет в ход что попало — и штык, и кинжал, и лопата порой.

Потом еще кто-нибудь к столику пристраивался — и тоже о войне. Так до обеда пролетало время незаметно, и был Володька среди людей, своих в доску, тоже хвативших лиха.

Появлялся в кафе-автомате и Егорыч, и тогда с ним текли беседы. Однажды к их столику подошел мужчина с перевязанной рукой. Егорыч, конечно, сразу спросил:

— На каком фронте трахнуло?

— Ни на каком, — весело ответил мужчина. — Не рана у меня — травма. Бюллетеню сейчас. С начала войны к пивку не прикасался, некогда в очередях-то стоять. А сегодня схитрил, за инвалида через пять человек прошел, дорвался до пивка...

И вправду дорвался. Принесенные три кружки выпил почти разом, не прерываясь на разговоры, только подмаргивал им после каждой. Лицо у него было землистое, с проваленными щеками — будто с передовой. Выпив и отдышавшись, он утер вспотевший лоб платком.

— Вот теперь и поговорить можно...

— Теперь можно, — подтвердил Егорыч.

— Вы, фронтовички, небось думаете, в тылу малина?

— Малина, может, и не малина, но с фронтом не равняй. Что ни говори, в своей постели спишь, да с бабой, если она у тебя имеется, — сказал Егорыч.

— Имеется, — усмехнулся мужчина. — Только хошь смейся, хошь нет, а я до нее цельную зиму не дотрагивался. Так, прижмешься иногда для согреву, а другого тебе от нее и не надо. Вот так.

— Ты хоть прижмешься, а бойцу в окопе только костлявую обнять можно, а от нее и тепла нет, — заметил Егорыч.

— Знаю. Я ж финскую попробовал. А все равно в середине зимы заявление в завком грохнул: снимайте с меня бронь, к чертовой матери, и на фронт. — Он допил пиво. — Конечно, есть которые устроились, а нашему брату, рабочему, достается. Рабочий день сами знаете какой. Жратвы не хватает. Зимой на заводе холодина, дома тоже зуб на зуб не попадает. Кипяточку попьешь, зажуешь чем-нибудь и еле-еле ноги до кровати дотягиваешь...

— С передовой все же не равняй, — опять заметил Егорыч.

— Я не равняю... Но перед боем хоть покормят досыта, стопочку дадут и — была не была.

— Не всегда покормят, и не всегда стопочка, — уточнил Егорыч, усмехнувшись и глотнув пива.

— И это знаю, но все же заявление грохнул.

— Я понимаю, что не ради водочки заявление-то ты... Немец-то зимой под самой Москвой стоял. Но такие, как ты, с квалификацией, здесь нужны. Техники на фронте не хватает... Ты вот жалишься — работы много, а я бы сейчас, честное слово, от станка и ночь бы не отходил... Кто я теперь? Пар отработанный, не нужный никому человек... — Егорыч склонил голову, задумался.

И тут загремели на улице тягачи... Все к окнам бросились. Проезжали несколько тяжелых артиллерийских орудий, блестя свежей зеленой краской.

— Нашего завода работка. Прицельные приспособления делаем, — сказал мужчина с перевязанной рукой и расплылся в улыбке. — Хороши игрушки?

— Хороши! — восхитился Егорыч и хлопнул соседа

по плечу. — А ты — заявление... Я, знаешь, к тыловикам, которые вкалывают, полное уважение, но есть в тылу и дрянь. Верно, лейтенант?

Володька ничего не ответил. Постепенно из разговоров с разными людьми вырисовывалась у него Москва совсем другая, чем в первые дни, когда огорошил его Сергей «коктейль-холлом», когда увидел он там холевого Игорька, занимающего его, Володькино, место в институте и ничуть не стыдящегося того, что он не воюет. Да, Москва была спокойна, но настороженна и очень сосредоточенна. И люди работали по двенадцать часов, на скудном пайке, который в три дня «улопать можно», как говорил Егорыч. И Володька смотрел на москвичей уже другими глазами, начиная понимать, что жизнь их не так уж резко отличается от фронтовых будней. Тот же недоед, тот же труд невпроворот, и смерть тоже вполне возможна — много было бомбежек зимой.

Так прошло несколько дней. Мать поглядывала на него, когда он возвращался домой, не то чтобы с осуждением, но с некоторым недоумением и наконец не выдержала:

— Мне кажется, отпуск ты проводишь не лучшим образом.

— Посоветуй лучший, — пожал он плечами.

— Я не знаю... Тебе там лучше, чем дома?

— Не обижайся, мама, но, видимо, так. Я привык быть с людьми. Ну и там в разговорах незаметней проходит время, и не думаешь ни о чем.

— Я тоже стараюсь не думать о том, что нас ждет... Но я слабая женщина, Володя...

— Ты сильная, мама, — улыбнулся он. — Но ты не поняла меня. Я не боюсь возвращения на фронт. Мне не хочется думать сейчас о том, что было подо Ржевом. Понимаешь?

— Стараюсь понять, но... каждый день пить пиво... Прости, для интеллигентного человека это, на мой взгляд...

— Какой, к черту, я интеллигентный! — перебил ее Володька, усмехнувшись. — Никому это не нужно сейчас, даже мешает...

— Я не согласна с тобой. Интеллигентный человек должен оставаться им всегда и везде, независимо от обстановки и обстоятельств. Даже вопреки им, если хочешь знать.

— Тебе легко рассуждать. Ты всю жизнь просидела в своем редакционном закутке с тремя литературными дамами. А я с детства на нашем марьинорощинском дворе, где не очень-то ценились хорошие манеры. Там для того, чтобы быть своим, требовалось нечто другое... Кстати, и в армии тоже. — Володька свернул сигарку и продолжил: — Знаешь, был у нас в полковой школе взводный, лейтенант Клименко. Бывший беспризорник, матерщинник жуткий, но свой в доску. Ребята его обожали. Мне тоже он нравился, и думалось, что таким вот командиром надо и быть, наверно..

— И ты стал подражать ему? От него и некоторые выражения, прорывающиеся у тебя?

— Ну, выраженьица-то у меня со двора, мама, — улыбнулся Володька.

— Раньше я их не слыхала.

— Разумеется. Дома я был пай-мальчик, но разве ты не помнишь, с какими фингалами я появлялся частенько. А ведь это были драки, *хорошие* драки..

— Ты говоришь об этом, словно о чем-то приятном...

— А было неплохо! Кстати, мама, вот это дворовое презрение к трусости очень сгодилось мне на фронте... Понимаешь, струсить казалось страшнее смерти... — Володька задумался на миг. — И знаешь, как меня прозвали ребята? Володькой-лейтенантом. Чувствуешь в этом этакую солдатскую ласковость? Таким быть на войне *легче*, мама... А интеллигентность... — Он махнул рукой.

— Но скажи: «легче» — это и лучше? — очень серьезно спросила мать.

— Наверно, — небрежно бросил Володька.

— И тебе нравилось это прозвище?

— Нравилось. А тебе нет?

— Мне трудно судить, ты же ничего не рассказываешь. — Мать сказала неуверенно, но он понял, что она не разделяет его «нравилось».

На площади Коммуны в середине скверика стояла зенитная батарея, а театр ЦДКА был весь перекрашен для маскировки, располосован черными линиями, намалеваны были фальшивые окна, и вид его был странный. Володька постоял, посмотрел и побрел дальше к парку, где находилась выставка трофеев немецкой техники, взятой в зимних боях под Москвой. Туда Володька и отправился, в родной парк ЦДКА, куда часто они ходили дворовой компанией, зимой — на каток, а летом просто так, потолкаться среди народа около танцплощадки. На саму площадку танцевать ходил из них только Володька Кукарача, потому так и был прозван. Нередко затевались тут и драки, о которых говорил он матери.

Парк был почти пуст, но к выставке, расположенной на бывшем катке, тянулся народ — в большинстве военные и подростки.

Володька со странным чувством глядел на немецкие танки, орудия, самолеты, машины — такие, казалось, неуязвимые подо Ржевом, но теперь выглядевшие совсем по-другому: разбитые, поломанные, покореженные, они уже были не страшны. Но... но чтобы все это уничтожить, нужны такие же орудия, такие же танки, такие же самолеты. Володька усмехнулся, вспомнив свой восторг при получении ПППШ. Семьдесят два патрона! Можно разбить целый немецкий взвод! Одному! Вспомнил самодельные мишени, по которым хлестал очередями, и продырявленные пулями немецкие рожи, намалеванные им на листах газеты. Было здорово! А подо Ржевом — мертвая деревня за полем и ни одного живого немца, по которому можно было стрелять из этого ПППШ с семьюдесятью двумя патронами. А из деревни на них снаряды, мины, пулеметные очереди...

Около бронетранспортера на гусеничном ходу его кто-то спросил:

— У нас есть такие?

— Нет.

— Да, этот гад Гитлер готовился как следует, — вздохнул спросивший.

Володька прошел дальше, остановился около танка, и тут кто-то осторожно положил руку ему на плечо. Он обернулся.

— Володя, ты? — спросил его человек, которого он не сразу узнал.

— Я, — ответил Володька.

— Я — Мохов. Помнишь? Я учился с тобой в одном классе. А после седьмого ушел в техникум.

— Помню, Мохов. Привет. — Володька протянул руку.

Одно время они дружили, но потом как-то разошлись. Странноватый был Мохов. С класса пятого ходил он всегда в галстук и белой рубашке, но пиджачок был плохонький, из чего-то перешитый, видимо, самой матерью. И поражал всех его идеальный пробор. Волосы он припомаживал чем-то, они блестели, и никто никогда не видел его растрепанным.

Сейчас он был худ, лицо в каких-то прыщах, но тщательно выбритое. Рубашка была ослепительна, пробор тоже, а черный галстук аккуратно завязан.

— С фронта? — спросил Мохов.

— Да, в отпуску. А ты работаешь, бронь?

— Да, на заводе, мастером цеха. Пацанами команду да девчонками. Скажи, что же случилось? Ведь в октябре многие думали...

— Что я знаю, Мохов? Барахтался в болотах подо Ржевом под тремя деревеньками. Вот и весь сектор обзора... Куришь? — вынул Володька кисет.

— Не курю... Техники не хватает на фронте?

— Хотелось бы побольше.

— Да... — вздохнул Мохов. — Работаем сейчас много. И знаешь, что удивительно? Организованней стали работать. Хотя все время чего-то не хватает, но дело идет... Если бы так работали, вот с таким же накалом до войны, было бы у нас всего навалом.

— Ну, а как вообще жизнь? — спросил Володька.

— Трудная, Володя, — очень серьезно сказал Мохов. — Устаем все до невозможности. Даже не знаю, сколько еще можно выдержать такой темп. О зиме не спрашивай. Зима была очень тяжелой. Если вторая



такой же будет... — Он помолчал немного, потом добавил: — Я понимаю, на фронте тяжелей. Все это понимают, потому и работают так, выкладываясь до последнего... Как ты думаешь, надолго война?

— По-моему, надолго, Мохов... Как бы немец опять на Москву не начал наступления. Всего двести километров от Ржева, а он там уперся, не сдвинешь. Оттуда может и начать. И по сводкам, все время там бои местного значения, на Калининском... А мы там здорово выдохлись. Нажмет немец, может, за Волгу нас откинут. Каждый день включаю радио и боюсь — вдруг там началось?

— Да, двести километров не много. Но, по-моему, что то на юге начинается?

— Это могут быть отвлекающие операции. Мне все кажется, что подо Ржевом главное будет. Может, потому, что я там был и знаю, как там дела.

— Да вот, Володя, не думали не гадали, а случилось такое, — вздохнул Мохов.

— Мы на Дальнем Востоке чувствовали приближение войны. Это вы здесь не гадали... — Володька прижег потухшую сигарку, затаился.

— А я один сейчас, — сказал после паузы Мохов. — Умерла мать.

— Умерла? От чего?

— Так она у меня старенькая была. Поэтому я в техникум и пошел. Мне надо было скорей на ноги становиться.

Володька посочувствовал, пожал еще раз ему руку, и жалко ему стало почему-то Мохова, мочи нет. Он долго стоял и глядел, как шел тот от него какой-то деревянной походкой, размахивая не в шаг руками, сгорбившийся и какой-то нелепо старомодный со своим галстучком, пробором клерка и — как показалось Володьке — все в том же перешитом пиджачке, хотя пиджачок, конечно, был другой.

Выйдя из парка, Володька опять бросил взгляд на зенитную батарею на скверике. Красноармейцы были справные, в чистом обмундировании, на вид сытые. Сидели на солнышке, попыхивая папиросками. «Тут во-

евать можно», — подумал Володька, но не было в этой мысли зависти. Тем более знал он, что первые бомбы и первые очереди всегда обрушиваются на зенитчиков.

Медленно поднимался он в гору по Божедомке, а теперь улице Дурова, прошел Дуровский уголок, а дальше налево увидел полуразрушенное здание — «Цветмет-золото». И опять воронки так недалеко от его улицы напомнили, что Москва не такой уж тыл, что эти бомбы могли попасть в его, Володькин, дом и... страшно подумать... убить его мать.

* * *

Наконец-то приступил Володька к Юлькиной черной тетрадке. Это были не то обрывки дневника, не то неотправленные письма к нему, потому что в некоторых местах она обращалась прямо — «Володя».

«Ты помнишь, Володя, — писала она на одной из страниц, — как я признавалась тебе в любви? Это было на школьном вечере. Ты все время танцевал с Майкой, а я умирала от ревности. И вдруг я решилась на отчаянное. Я подошла к тебе и сказала, что мне неприятно смотреть, как ты танцуешь с Майкой, что у тебя при этом идиотское выражение лица. Ты засмеялся, пожал плечами и спросил, а какое мне, цыпленку, до этого дело, и тут я пролепетала, что люблю тебя. Ты, по-моему, очень растерялся и пробормотал что-то невразумительное, вроде того, что я тебе тоже нравлюсь, так как я своякская девчонка... Потом ты пошел меня провожать. Наверное, счел своим долгом. Таким же долгом, по-видимому, ты считал и поцелуй в парадном, который порадовал меня только тем, что я поняла — целуешься ты, как и я, в первый раз... Потом я ждала тебя все время после уроков, но у тебя расцветала тогда дружба с Сергеем, и ты часто бросал мне, что сегодня тебе некогда меня провожать, а сам шел с Сергеем шататься по улицам и философствовать...

Сейчас у меня другое. Меня любят по-настоящему! Любит человек, который для меня готов на все. Он намного старше нас, но зато умнее и интеллигентнее в

тысячу раз. Мне столько пришлось прочесть, чтоб хоть чуток стать ему вровень. И ты знаешь, на какое-то время твои письма мне стали неинтересны...»

Володька читал все это, не ощущая почему-то ревности, ему даже казалось, что Юлька все нафантазировала, выдумала себе эту любовь, но по некоторым деталям все же было видно — что-то и вправду было.

Правдой было и то, что относился он к Юльке несерьезно, особенно вначале, когда разница в возрасте была очень ощутима, и он вроде бы милостиво разрешал любить себя глупой девчонке из седьмого «А», еще цыпленку, хотя это и льстило как-то его самолюбию. Но в дальнейшем стало в порядке вещей — для него и для остальных, — что Юлька — это его девушка... В армии же было приятно получать часто хорошие письма...

Володька задумался и вдруг понял, что той, настоящей, с томлениями, с муками ревности, с трепетным ожиданием встреч, влюбленности у него не было. Может быть, это еще у него впереди, подумал он, но сразу же перебил себя, усмехнувшись, — когда впереди-то? В эти полтора месяца? На другое время он рассчитывать не может. Ладно, усмехнулся он еще раз, переживем, и вдруг... схватило холодом низ живота — неужели у него только полтора месяца жизни всего?! Только! И сдавило душу — не страхом, не ужасом, а какой-то неимоверно горькой обидой, что он еще ничего не испытал в жизни, ничего не сделал, а жизни-то впереди только полтора месяца... Даже меньше.

Ночью ему приснилась Майя. Он встретил ее на улице, и она бросилась к нему, сияющая, обрадованная, и он тоже почему-то почувствовал необыкновенную радость, почти счастье, словно ожидал этой встречи всю жизнь. И они вдруг начали целоваться, не обращая внимания на прохожих, и Володька, как наяву, ощущал Майкино тело и ее горячий, жадно открытый рот, до боли прижатый к его губам... Потом она потянула его в какую-то дверь, и Володька знал зачем, но сон прервался. Он лежал с открытыми глазами, сердце билось, и ему нестерпимо захотелось увидеть Майку. Сейчас казалось, что он любит ее и что только она нужна ему...

А дни шли... Шли быстро, потому что были однообразны и похожи один на другой. После разговора с матерью он перестал ходить в кафе-автомат, да и наскучили как-то ему эти посещения. Если вначале ему хотелось сравнить «свою» войну с войной на других участках, с войной других, то вскоре он увидел, что война была более или менее одинакова, — и на Западном и на Северо-Западном приблизительно было то же, что и на его, Калининском, фронте.

Все чаще подходил он к книжной полке... Полистав Джека Лондона, он усмехнулся: неужели когда-то это могло увлекать, волновать, а герои служить примером для подражания?

Однажды он полез за чем-то в чулан и наткнулся взглядом на свой ватник. И то, что отбрасывал он от себя, старался забыть, — навалилось на него. Ясно вспомнилось, с каким чувством невозвратимой потери отмывал он свои руки, свой кинжал и ватник от чужой, но человеческой крови... То была черта, разделившая Володькину жизнь. После *этого* он стал *другим* и никогда уже больше не сможет стать прежним. Это необратимо. Он понимал, что это неумолимый закон войны и что он будет это делать, пока идет война, но этот ватник в его московском доме показался чем-то противоестественным, чужеродным.

«Надо его выкинуть, к черту, или сжечь», — подумал он, вытащил ватник и стал искать какую-нибудь тряпку, чтоб завернуть его, но тут пришла мать из магазина.

— Что ты собираешься делать? — спросила недоуменно, переводя взгляд с Володьки на лежащий ватник.

— Надо выкинуть, наверно, — смутился он.

— Что ты выдумал? Давай я отнесу к тете Насте, она отмоеет эти пятна и, может быть, сумеет продать. — Она нагнулась и протянула руки к ватнику.

— Я сам. В какой квартире она живет, в первой? — Володька схватил ватник и направился к двери.

— Володя, — остановила его мать, — Володя... эти пятна... это твоя кровь?

— Конечно, мама, — поспешно ответил он.

Сергей не один раз звонил ему, но Володька почему-то под всякими предлогами отнекивался от встречи.

Но все же они встретились. Сергей был бодр, оживлен, крепко пожал Володьке руку, сказав, что у него здесь неподалеку есть квартира — товарищ в эвакуации и просил присматривать. Там они смогут спокойно поговорить.

— Ну вот, располагайся, — сказал Сергей, когда они вошли в квартиру.

Он раскрыл портфель, достал бутылку пива, батон и небольшой кусок полукопченой колбасы.

— Хлебнем пивка, пожуюем немного и решим все мировые вопросы.

— Так уж и все, — усмехнулся Володька.

— Как всегда, — весело ответил Сергей и вдруг посерьезнел. — Ты знаешь, Володька, по некоторым обстоятельствам у меня очень мало по-настоящему близких людей, но среди них — ты первый, а потому... Ладно, давай сперва пивка и закусим.

Он нарезал хлеб, колбасу, разлил пиво.

— А потому, сэр, мне очень важно, как вы относитесь ко мне сейчас.

Володька вздрогнул от неожиданности — не предполагал он, что Сергей спросит об этом напрямик. А тот смотрел на него пристально, в упор.

— Точнее, к тому, что я в Москве... Хотя ты и знаешь — у меня «белый билет» после ранения и осколок в ноге, — разъяснил Сергей, продолжая так же в упор смотреть на Володьку.

— У тебя семья, родился ребенок... Я понимаю... — медленно начал Володька.

— Ты знаешь, дело не в этом, — резко перебил Сергей и забарабанил пальцами по столу.

— Знаю... — опустил голову Володька.

— Так отвечай.

— Ты пошел на финскую... ради отца? — спросил Володька после долгой паузы.

— Не только. Хотя мне было нужно доказать... Да, доказать, что я не хуже других... Что воевать буду, мо-

жет, лучше других. И ты видишь, — показал он на «Звездочку», — зря ордена не дают.

— Это большой орден... боевой.

— Он не помог, Володька, — вздохнул Сергей. — Я бился во все двери. Стена. Понимаешь, стена. Если б получил «Золотую Звездочку», может, тогда?.. Я хлопочу об отца и сейчас, но... — Он пожал плечами и снова вздохнул.

Они долго молчали, и только стук Сережкиных пальцев о стол нарушал тишину. Наконец Володька начал:

— Я понимаю... Но, Сергей, это же такая война... Решается судьба России — быть ей или не быть?

— Нам ли с тобой решать судьбу России? Это наивно, Володька.

— А кому же ее решать? — Володька поднял голову и посмотрел на Сергея. Тот усмехнулся.

— По-моему, ты видел — воюют далеко не все.

— Сергей, нам должно быть плевать на этих «не всех».

— Что ж, значит, мне следует пойти в военкомат, положить свой «белый билет» на стол и сказать — заберите? Так, по-твоему? — Сергей перестал барабанить пальцами.

— Не знаю, Сергей... Я понимаю, идти во второй раз гораздо труднее.

— Дело не в «труднее», — резко выпалил Сергей. — Просто уже нет никаких иллюзий... — А потом совсем тихо добавил: — Моя Танюшка так мала...

Что мог сказать Володька, не представлявший совершенно чувства отцовства. Сергей опять забарабанил по столу и через некоторое время сказал:

— А может, мы свое уже отвоевали? — и напряженно уставился на Володьку.

Володька пожал плечами.

— Сергей, мне очень трудно поставить себя на твое место... А потому не считаю себя вправе ни осуждать тебя, ни оправдывать. Это для меня слишком сложно. Ты принимаешь такой ответ?

— Да. — Он взял Володькину руку и слегка пожал. — Мне совершенно наплевать, что думают обо мне другие, но мне было бы больно, если бы ты... ты считал меня трусом или... шкурником.

Когда вечером позвонила Юлька и попросила его прийти завтра к трем часам на Матросскую, Володька решил дочитать ее черную тетрадочку, которую он еще не дочитал, потому что слишком уже подробно было все в ней — «он сказал, я сказала»... Для Юльки все это было, наверное, значимо, а Володьке казалось скучноватым и чересчур наивным. И еще было смешно, что называла она своего типа — *этот человек*. Перелистав несколько страниц с любовными мерехлюндиями, он дошел до двадцать второго июня.

«Сегодня началась война! И первая мысль о Володьке! Он в армии и, хотя на Дальнем Востоке, непременно выпросится на фронт. Он такой, мой Володька! А об *этом человеке* совсем не подумала. Что же это? Значит, Володька все-таки мне дороже, значит, люблю-то я его, а не *этого человека*? В моей душе что-то непонятное, полный разброд. Надо немедленно написать Володьке! Но что? Как объяснить ему, почему не писала почти полгода? Господи, я совсем запуталась! Если Володька поедет на фронт, я должна быть тоже там. С ним. Обязательно!» Это «обязательно» было подчеркнуто тремя жирными чертами.

«Опомнилась!» — усмехнулся Володька и стал листать дальше.

«*Этот человек* заболел и умоляет меня прийти к нему. Я долго колебалась, но пошла. Он лежал в постели, небритый и очень похудевший...» — тут следовало описание, какие у него были глаза, как нежно дотронулся он своей тонкой рукой до Юлиной щеки, каким трагическим голосом сказал: «Родная девочка, вот повестка, я иду на фронт. Я не боюсь, но знаю — меня убьют, и у нас только этот вечер и только эта ночь, если, конечно, ты согласишься остаться у меня...» Здесь у Володьки потемнело в глазах и похолодело в груди...

«Вот гад, вот гад, — шептал он про себя. — В морду, в морду... Да нет, чего там в морду! Пристрелить такого!» Он представил, как этот уже немолодой фрайер, видно бабник и любитель зеленых девчонок, лезет к Юльке, а

она отбивается от него своими маленькими кулачками. Адрес? Узнать адрес этого гада! Ох, как он его будет бить!

На этом и закончилась необыкновенная Юлькина любовь. И еще оказалось, что повестка из военкомата — вранье, так как встретила его она через несколько месяцев в штатском.

Володька задыхался от ярости, которую нечем было разрядить. Впервые он ревновал Юльку, и это незнакомое ему прежде чувство вызывало в его душе целую бурю. Пусть не случилось главного, но совсем невинная оказалась Юлькина любовь — были и обнимания, и всякие прикосновения, и поцелуйчики, и Володька шел на свидание с ней взбудораженный, злой, и шел с одной целью — узнать у нее адрес *этого человека*, которого он либо измордует до полусмерти, либо пристрелит — давить таких гадов, давить...

Таким и пришел он к казарме на Матросской, с перекошенным ртом, выпученными глазами и судорожно сжатым кулаком правой руки.

Ни в окнах, ни у проходной Юли не было. Володька стал сворачивать самокрутку — бумага рвалась, табак рассыпался, и он выругался про себя. Наконец-то Юлька появилась в окне, она разводила руками, стараясь жестами объяснить что-то Володьке, и показывала на проходную. Он пошел туда, открыл дверь.

— Пропуск, — строго спросил часовой, а потом улыбнулся: — Тебе, что ли, записка?

— Наверное, мне.

— Держи.

— Что вы их не выпускаете?

— Беда с этими девчонками. Пропускаем иногда, но вчера засыпалась одна. Стояла болтала со своим парнем, а тут начальство, будь оно неладно. Ну, мой дружок, что на часах стоял, — на «губе». Ясно?

— Чего неясного? Сам того же хлёбова пробовал.

— Ну ты иди, на воле прочтешь. Ответ напишешь, приноси.

Володька перешел на другую сторону и стал читать записку.

«Вчера случилось ЧП, и теперь нас не выпускают.

Еле-еле упросила вчера позвонить из канцелярии. Пишу тебе большое письмо обо всем, на днях получишь. Немного устала от однообразия нашей жизни. Уже научилась работать на коммутаторе (полевом). Вообще-то ничего сложного нет, особенно после института и высшей математики. Может быть, скоро станут пускать в увольнение, тогда увидимся и поговорим по-настоящему... А такие встречи мне тяжелы, да и тебе, наверно...»

Володька нацарапал на обратной стороне Юлиной записки только одно: «Пришли мне адрес этого человека». Передав записку часовому, он опять перешел к своему наблюдательному пункту. Минут через пять Юля показалась в окне и стала отрицательно качать головой.

— Адрес! — крикнул он, но Юлька все так же покачивала головой, и лицо ее было грустным-грустным.

— Ах, ты, значит, жалеешь этого типа, — пробормотал Володька, перенося сразу всю свою злобу на нее, — жалеешь... Ну, ладно. — Он круто повернулся, не сделав никакого прощального жеста, и быстро пошел от казармы.

Чтоб успокоиться и разрядить раздражение, пошел он пешком, быстрым и широким армейским шагом, и, погруженный в свои мысли, незаметно для себя вышел к трем вокзалам, а потом и на Домниковку. Мысли были такие: что ни говори, а Юлька изменила ему, пока он трубил службу на Дальнем Востоке, пока тянул тяжелую лямку в училище... Поцелуйчики, обнимания... Он себе такого не позволял. Ну, не позволял, может быть, слишком громко сказано, вернее, не было почти у него никаких возможностей, хотя... Те из ребят, кто уж очень к этому стремился, знакомились в увольнениях с девицами, а некоторые и с «боевыми подругами» командиров, заводили шашни в самом полку, были случаи. И на Володьку часто посматривала одна на танцплощадке, и екало у него сердце, но дальше танцев не пошло дело. И не из-за одной Володькиной робости, да и не был он робок, что-то другое удерживало его... И теперь душила его обида. Через месяц опять на фронт, а ничего-то он в жизни еще не видел, ничего не испытал. «Сегод-

ня же вечером иду к Майке, — решил он твердо, — а там будь что будет...» Потом вспомнил про Егорыча, достал адрес — как раз через дом он живет. Завернул во двор.

— Эй, лейтенант, ко мне топаешь? — окликнул его Егорыч, сидящий на скамейке с двумя дружками-инвалидами.

— К тебе.

— Давай присаживайся. Сейчас мы тебя настоящей «моршанской» угостим...

Володька присел к инвалидам, завернул махорочки, задымили.

— Странно... — протянул Егорыч. — Смотрю сейчас на небо, чистое оно, без облачка, и ничего не опасуюсь, а на фронте...

— На фронте клянeshь его в бога и в мать за то, что без облачка оно... — пропитым басом досказал один из сидящих.

— Тоже воевали? — спросил Володька.

— Отвоевался, — вытянул тот пустую штанину. — Как костыли куда-нибудь по пьянке задеваешь, так и прыгаешь воробьем — скок, скок. Там казалось — любое ранение, лишь бы не смерть, а сейчас ох как ногу жалко. Не вырастет же. На всю жизньюгу, до конца дней на одной прыгать...

— Что смурной такой? Не ходил? — Егорыч внимательно поглядел на Володьку, и тот понял, о чем тот спросил.

— Не ходил.

— И не ходи. Война все спишет... Ну, познакомить тебя с Надюхой? Она дома, кажись.

— Спит перед ночной, — уточнил второй инвалид.

— Разбудим. Бутылочка у меня есть.

— Давай знакомь, — вдруг решительно заявил Володька. — Войду в долю.

— Сегодня без доль — угощаю. Вот ежели не хватит и прикупать будем, тогда уж... Ну, пошли в дом.

Егорыч поднялся, безногий тоже, а другой дружок отказался почему-то. Прошли они в дом, поднялись на второй этаж по деревянной, дышащей на ладан лестнице, вошли в кухню, пахнувшую керосиновым чадом,

вошли в комнату Егорыча, неприбранную, с незастланной постелью, с валяющимися на полу бутылками из-под пива, с остатками еды на столе.

— Садись, братва. Хоромы, как видите, не царские, но все ж не землянка — стол есть, стулья есть, постель тоже имеется, — сказал Егорыч, доставая из крашеного, видать самодельного, буфета несколько кусков черняхи, несколько картофелин и завернутые в газетку кильки. Бутылка на столе уже стояла, ждала хозяина. Расселись быстро и тут же приступили. Разлили по граненым стаканам и махнули по половине. За победу, конечно. А за что могли пить бывшие бойцы в июне сорок второго? Разумеется, только за нее — за победу, до которой еще неизвестно сколько годков, но которая придет беспрерывно.

Вторую половину хлопнули за тех, кто там... И пошли, конечно, разговоры...

— Пей, братва! Что нам еще осталось, — разглагольствовал Егорыч. — Долг мы свой выполнили, кровушки пролили. А что немца до Москвы допустили, в том нашей вины нет. Наша совесть чиста. Верно, братва?

— Верно. Мы свое сделали. Теперь на одной ноге прыгать будем, — мрачно подтвердил одноногий.

— И так удивительно, что остановили, — продолжал Егорыч. — Гитлер, гад, все рассчитал. Он думал, что мужик-то наш коллективизацией не очень доволен, что не будет мужик особо здорово воевать, а мужика у нас — две трети России. А он стал! Да еще как! Откуда такой фокус, Гитлеру не понять, весь его расчет кувырком. А раз мужичок стал воевать, немцу рано или поздно капут... Тут уж, братцы, народ...

— Ты что ж, рабочий класс за народ не считаешь? — вступил обезноженный.

— А много ли его, рабочего класса? Не так уж. В пехоте-матушке кто? В основном — мужичок из деревни. А в пехоте вся сила. Хоть ей без техники, конечно, тяжело, но и технике без нее — труба.

Володька развалился на стуле, покуривая, и с интересом слушал Егорыча, как слушал всегда на фронте рассуждения бойцов. Ох, как порой умно говорили, мет-

ко, в самое яблочко, в самую суть попадали... *Народ все понимал.* В этом Володька уверился на фронте окончательно. Это на собраниях жевал он резину, говоря трафаретные слова, а между собой... Послушать бы кой-кому.

Разговор на время иссяк, сделали перекур и молча потягивали пиво, несколько бутылок которого оказалось у Егорыча в НЗ, и в наступившей тишине ясно слышался какой-то шум в соседней комнате.

— Надюха! Не спишь? Заходи пиво выпить, пока осталось, — крикнул Егорыч.

— Не хочу, дядя Коля, — раздалось в ответ.

— Заходи. Один человек познакомиться с тобой хочет.

— Какой такой человек?

— Лейтенант один. Фронтвичок.

— Это мне без интересу. Вы бы лучше, дядя Коля, мне такого нашли, которого на войну не возьмут.

— Ладно, заходи. Нечего ломаться, а то пиво допьем.

Дверь приотворилась, и выглянула девушка с заспанным лицом, но веселыми, смеющимися глазами.

— Дай погляжу, что за человек, — сказала она и смело глянула на Володьку. — А вроде ничего лейтенантик, — усмехнулась, прикрыла дверь и уже оттуда добавила: — Сейчас зайду.

— Ну, как девка? — спросил Егорыч.

— Не разглядел, — ответил Володька.

— Не разглядел! Ты, парень, случайно, в одно место не контуженный? Мне бы твои годки — я бы разглядел. Мне бы на это времени много не потребовалось.

За стеной фыркнули... Володька чуть смутился, а Егорыч продолжал:

— Если в это место контуженный — скажи сразу. Не будем девку обнадеживать, — засмеялся он, а Володька смутился еще больше, так как из-за стены опять насмешливо фыркнули.

Минут через десять вошла Надя, чуть подмазанная, переодетая в другое, более нарядное платье. Села, взглянула усмешливо на Володьку и приснула смехом. Егорыч налил ей пива, подвинул стакан.

— Володимир, может, сообразим еще? Я достану, только по коммерческой, — спросил Егорыч.

— Давай. — Володька зашелестел тридцатками. — Сколько нужно?

— Половину я, половину ты. Двести пятьдесят.

— Держи.

— Ну, я моментом, — схватил Егорыч деньги и заторопился.

Надюха была, наверное, Володькиных лет, но казалась взрослее, держалась уверенно, чуть небрежно, видно зная себе цену и не особо придавая значения знакомству, а Володька, наоборот, стал вдруг скован, робок, как обычно, когда ему приходилось ухаживать за простыми девушками. Не знал, с чего начать разговор и о чем говорить. И он пока молчал, не оправившись еще от смущения, в которое привел его Егорыч своими подковырками.

Надя тоже молчала, только дрожали губы в усмешливой полуулыбке.

— Ну, чего молчишь, лейтенант? Не понравилась я тебе? Или вправду дядя Коля о контузии сказал?

Безногий, уже порядком осоловевший, приоткрыл глаза и грохнул хриплым смехом. Залилась и Надюха.

— Да нет, ты ничего... — промычал Володька наконец.

— Ничего? Тоже мне комплимент! — играя глазами и деланно возмущенно ответила она. — Знаешь, лейтенант, мне таких вот залетных не очень-то надо...

— И мне не очень-то ты нужна, — разозлившись, ляпнул Володька.

— А ты с норовом жеребчик, — рассмеялась она и хлопнула его по плечу. — Ладно, пошутили, и хватит. В отпуск ты или отмучился совсем?

— В отпуск, — хмуро ответил он.

— Когда обратно-то?

— В начале июля.

— Не много гулять тебе осталось, лейтенант... — посмотрела на него жалостливо и вздохнула Надюха.

Тут вернулся Егорыч, со стуком поставил бутылку на стол, начал разливать.

Безногий накрыл свой стакан ладонью.

— Пойду я, Егорыч... Мне теперь много пить нельзя. Своей лестницы спускаться — как бы последнюю ногу не сломать... — Он тяжело поднялся, оперся на костыли и заковылял к двери. — Бывайте...

— Страшно обратно-то? — спросила Надя Володьку.

— Как тебе сказать...

— Ты кого спрашиваешь? — вступил Егорыч. — Ему страшно! Не видишь, что на груди у него? «За отвагу»! А за что, спросила? За разведку! А в разведке что главное? Смелость да сноровка. Я тебя с каким-нибудь тыловичком знакомить не стал...

— Хватит, Егорыч, — прервал его Володька, хотя пьяные похвалы приятно ложились на душу.

Надя опять посмотрела на Володьку, опять вздохнула.

— Жалко мне всех вас, — задумчиво произнесла она. — И себя жалко... Перебьют вас всех на этой войне...

— Для тебя останется кто-нибудь, Надюха, — сказал Егорыч. — Я тебе полный наливаю — штрафную.

— Наливай, — безразлично ответила она, взяла стакан, подняла. — За тебя, лейтенант, чтоб живым остался...

— Поехали, — ударил Егорыч по стаканам.

Помнил Володька, что еще два раза шарил он по своим карманам, выгребая последние уже тридцатки, а Егорыч бегал куда-то, а пока его не было, Надя брала его голову в свои руки, притягивала к себе и как-то задумчиво, медленным, долгим поцелуем целовала его в губы, потом отодвигалась, глядела в лицо затуманенными глазами и шептала:

— Жалко мне тебя, лейтенант, жалко...

Затем приходил Егорыч, и опять глотал Володька водку под какие-то, казавшиеся очень важными, разговоры...

— Ты не смотри, что он молоденький такой на вид, — шумел Егорыч. — Он ротой командовал. Понимаешь — ротой. Это сто пятьдесят гавриков. Поняла?

— Поняла, — лениво отвечала Надя. — Только целоваться не умеет герой-то твой...

Володька возмущался и уже не стеснялся Егорыча.

— Умею, — тянулся он губами к Надюхе, но та отталкивала его ласково, мягко и только тогда, когда отправлялся Егорыч в очередной рейс за водкой, целовала Володьку сама теми долгими, неспешными поцелуями, от которых Володька терял голову...

Очнулся он в незнакомой темной комнате на разбросанной постели.

— У меня останешься или домой пойдешь? — спросила Надя, стоя у зеркала и причесываясь. — Я на работу собираюсь.

Володька протирал глаза, ничего еще не понимая.

— Я у тебя?

— А где же тебе быть? Кого ты стрелять идти собирался? Еле удержали тебя с Егорычем. Ну, если пойдешь — вставай, а если остаешься — спи. Я около девяти утра приду...

— Нет, я пойду, — вскочил Володька и стал поспешно одеваться.

— Ну вот, — задумчиво протянула она. — Может, вспомнишь меня когда... Там, где около смерти будешь... Полстакана у тебя осталось, допей, если хочешь.

Володька зачем-то нашарил рукой стакан на столе и выпил с отвращением. В комнате было почти темно, и Надино лицо неясным пятном белело перед ним.

— Как работать буду? — вздохнула она. — Ну, оделся?

— Да.

— Ну, прощай тогда. — Она протянула руку, провела по его щеке, а затем тихонько подтолкнула его к выходу...

* * *

На другой день утром мать вошла к нему в комнату, когда он еще лежал с трещавшей головой и пересохшим ртом.

— Я иду на рынок, Володя. Дай мне деньги, у меня уже ничего не осталось.

— Сейчас, мама, — сорвался он с постели и бросился

шарить по карманам брюк и гимнастерки — денег не было. Несколько смятых пятерок и одна красненькая тридцатка — вот все, что осталось после вчерашнего «пускания лебедей». — Мама, я совсем забыл. Я дал вчера займы одному товарищу. На днях мне отдадут...

— Ну, хорошо, тогда я не пойду на рынок, — сказала мать и вышла из комнаты, прикрыв дверь.

И по тому, как она это сказала, и по тому, что даже не заикнулась о вчерашнем — а пришел он поздно и сильно пьяным, — он понял — мать расстроена и недовольна очень.

Первой мыслью, мелькнувшей в его тяжелой голове, было позвонить Сергею и попросить у него тысячу, но он ее отбросил — не годится. Но что же придумать? Что? Покрутившись с боку на бок в постели еще несколько минут, Володька понял, что другого придумать ничего нельзя — надо из автомата позвонить Сергею.

Завтракать он не мог, лишь выпил залпом два стакана чаю. Мать смотрела на него удрученным взглядом, который был для него хуже, чем любой самый крупный и неприятный разговор.

— Больше этого не будет, мама, — сказал он твердо, отставляя от себя стакан. — И на днях я верну деньги.

— Дело не в деньгах, Володя. Я в первый раз увидела тебя таким. И не хочу больше. Понимаешь?

— Да, мама...

Вернувшись в свою комнату, он бухнулся на постель... Несколько раз всплывали в памяти Надюхины слова, сказанные грустно, с каким-то вроде сожалением: «Я у тебя первая, видно?», «Что ж, нету у тебя в Москве девушки, с которой...» Словно и ей, Надюхе, из жалости подарившей себя ему, было неловко, что совершил он это спьяну, без любви, с совсем незнакомой женщиной, просто попавшейся под руку, будто и она понимала, что не годится так... А почему «будто»? Конечно, понимала, хотя ей самой уже не для кого беречь себя...

И получилось все это слишком просто, как-то безрадостно, совсем не похоже на его сны, а особенно на последний, в котором снилась Майя... И непонятно Во-

лодке, почему от реального не получил того, что ожидал, что предвкусил, что было так необыкновенно во сне, почему лежит на душе мутный осадок какого-то сожаления о чем-то утраченном, потерянном навсегда, чем-то — только гораздо слабее — напоминающем то, что было после «случая» с немцем?..

Конечно, легче всего было свалить все на Юльку. Будь она с ним — этого не случилось бы. Не прочти он ее тетрадку, не взревнуй ее к «этому человеку» — не пошел бы к Егорычу, не стал бы знакомиться с Надюхой. Но таким мыслям Володька ходу не дал. Никогда не искал он себе оправданий за счет других.

Чтобы как-то отвлечься, оглядел он опять свою книжную полку и наткнулся взглядом на «Огонь» А. Барбюса. Читал он эту вещь еще до армии, и она оставила его почти равнодушным, но сейчас, раскрыв книгу, он уже не мог оторваться — это была война, страшная война, густо замешенная на деталях фронтового быта, война без романтики... Серые, жуткие, непроглядные будни войны и, казалось, запах тлена шел со страниц этой повести... Да, это была правда войны, но не полная правда, как подумалось Володьке, потому как *его* война была иной. Иной в главном, в том пронизывающем всех их ясном и огромном чувстве понимания *справедливости* этой войны. Оно-то и помогало им всем выдерживать и преодолевать то нечеловеческое, присущее любой войне.

Именно *это* и заставляло хорошо воевать даже тех, кто в какой-то мере был обижен и на которых, вероятно, и возлагали надежды немцы. Володьке вспомнился один боец из его роты, раскулаченный в свое время под горячую руку середняк с Поволжья, который прямо говорил ему: «В том, что моя жизнь порушена, Россия не виновата. Это с нашей местной властью у меня есть счеты, а с Россией нету. И вы, командир, на меня положиться можете, не хуже, чем на кого другого. Вот победим немца, авось разберутся...»

В кафе-автомат Володька больше не ходил — надоело. Не хотелось ему и на улицу. Только вышел позвонить Сергею. Тот сразу же согласился дать Володьке

тысячу и, казалось, был вроде бы рад, что может оказать Володьке какую-то услугу. Они встретились на ходу — Сергей спешил на работу — около Колхозной, и денежный вопрос был решен — Володька отдал деньги матери.

Потом он целые дни валялся на кушетке и думал... А думать было о чем. Во многом нужно было разобраться ему.

Плетясь вместе с другими ранеными рядовыми бойцами с передовой в госпиталь, слушая их рассуждения о войне, рассказы о том, что довелось испытать им на разных участках, их соображения насчет действий их командиров, Володька начинал понимать: если звание и должность давали ему право распоряжаться чужой жизнью, то как должен он быть осмотрителен и осторожен, потому что все эти люди не глупей его и не хуже, а может быть, в чем-то и лучше разбираются во многом, так как старше его по возрасту и по жизненному опыту. И что не всегда его решения были уж так правильны, обдуманно, как следовало бы.

В общем, вторая половина его отпуска началась томительными раздумьями. Он без конца прокручивал в голове Ржев, и мать, видя, как шагает он из угла в угол комнаты, все беспокойней поглядывала на него, пока наконец не сказала:

— Быть может, Володя, тебе нужно прогуливаться по улицам и заходить иногда в этот автомат с пивом?

— Мне не хочется и туда... Я думаю, мама...

— О чем?

— О многом... Дни-то бегут, а мне надо многое решить.

— Да, дни бегут...

— Знаешь, мама, я обдумываю сейчас все, что было со мной подо Ржевом, и мне начинает казаться: в прозвище «лейтенант Володька» была, пожалуй, не только солдатская ласковость, но и другое...

— Что же?

— Некоторая снисходительность, что ли. Хоть ты и лейтенант, а все-таки Володька, то есть мальчишка еще. Знаешь, мои ребята одним словом определили мою тогдашнюю суть.

— Очень хорошо, что ты понял это сам.

— Ты поняла раньше?

— Да, наверно... — Она взглянула на него, ожидая продолжения разговора, но Володька отвернулся, уйдя опять в себя.

Да, очень точно определили ребята его суть, думал он, все больше начиная понимать, что, наверно, не заковыристым матом и бездумной лихостью, не небрежением к опасности, чем иногда щеголял он, можно и надо заслужить уважение людей, а чем-то совсем другим, — может, совсем обратным: осторожностью, тщательной продуманностью всех своих действий и решений, так как за ними — человеческие жизни...

Иногда, устав от размышлений, прерывал он свои внутренние монологи горькой усмешкой: ну чего голову ломать? Через несколько недель может *все* кончиться. Можно ведь и до фронта не доехать, попав в «хорошую» бомбежку в эшелоне... Так чего же мучить себя? Не лучше ли, как Егорыч: пузо набил, стопку выпил — и на боковую? Или еще лучше — двинуть на Домниковку, а там, прижимая горячее Надюхино тело, забыть-ся, отдаться естественному чувству обреченного, вырвать от жизни напоследок все, что она может тебе дать в настоящую минуту, и не думать ни о чем?

Но не чувствовал себя Володька обреченным. Не чувствовал даже там, подо Ржевом, когда казалось — уже все, каюк, не выйти живым. Тем более не мог считать себя обреченным сейчас, находясь в Москве, в собственной комнате... Потому-то и продолжал размышлять, анализировать, чтоб в будущем не допустить тех ошибок и недогадок, которые случались подо Ржевом.

Однако Володьке было всего двадцать один год, и продолжаться такое состояние долго не могло. Однажды, убирая свою комнату, наткнулся он на обрезок трамвайного рельса, служивший ему до армии вместо гири. Было в этом обрезке пуда полтора, и поднимал он его правой до тридцати раз, а левой даже чуть больше. И вот попробовал и выжал правой еле-еле пятнадцать. Это его обескуражило. «Надо входить в форму», — подумал он. И хотя физическая сила пригодилась ему на фронте только один раз, при взятии «языка», он любил ощу-

щать себя сильным, любил выходить победителем в мальчишеском состязании перегибания рук, которым они увлекались в школе после прочтения джек-лондонского «День пламенеет».

И теперь, позанимавшись до завтрака рельсом, отправлялся он бродить по московским улицам, делая большие — километров до десяти — круги по Москве, и в этом вроде бы бесцельном хождении стал находить удовольствие и какое-то успокоение. Рана в предплечье почти затянулась, и было уже не больно сжимать и разжимать кисть, и, бродя по улицам, он исподволь тренировал руку... Ходьба — все-таки какое-то дело — по-маленьку вносила душевное равновесие, и Володька начал оттаивать.

Так было до получения большого письма от Юльки, в котором она путано и несвязно старалась объяснить ему, почему она не хочет его встречи с «этим человеком», и просила прийти в воскресенье к училищу, — может, она вырвется на минутку и объяснит ему все подробней.

Володька знал, что врать он не умеет и что по выражению его лица Юлька сразу догадается о том, что произошло на Домниковке. Но не идти было нельзя, и в воскресенье он потопал пешком на Матросскую Тишину.

Юлька не вырвалась, и он стоял вместе с другими, пришедшими навестить своих, напротив казармы и видел только Юлькино лицо среди остальных девичьих лиц, высунувшихся в окна. Он махал рукой, пытался что-то кричать, но в шуме других голосов не разобрал, что кричала ему Юлька, а она тоже вряд ли поняла, что выкрикивал ей он...

Возвращаясь домой, Володька поймал себя на ощущении, что он совсем не расстроен несостоявшейся встречей, а даже несколько рад, и тут впервые замаячил перед ним вопрос: а любит ли он Юльку?

* * *

А дни шли... Каждый раз, когда шел он на перевязку, проходил Володька мимо дома Толи Кузнецова, приостанавливался, поглядывал на окна, закуривал, и сдав-

ливало сердце тяжестью, будто виноват он в чем-то, что живым проходит мимо дома, в который уже никогда не вернется Толя... И заставить зайти себя в этот дом он пока не мог. «Ладно, к концу отпуска, — успокаивал он себя, — обязательно зайду». На конец отпуска отложил он и посещение жены сержанта.

В поликлинике пожилой врач, все еще не получивший писем от сына, встречал Володьку тревожным, беспоконным взглядом, и Володьке было неловко, что своим приходом он поневоле наталкивал врача на мысли о сыне, доставляя тем самым боль. По дороге обратно кидал он взгляд на свою бывшую школу, на прибольничный садик, и тут уже колото виной вполне понятной, виной перед Юлькой за случившееся на Домниковке.

В один из вечеров пришло письмо на имя матери. Она пробежала его глазами, почему-то разволновалась и сунула письмо в карманчик фартука.

— От кого? — спросил Володька.

— Письмо? Да так... неважное... От сослуживицы из эвакуации... — неуверенно ответила мать.

— Что же ты разволновалась?

— Я не разволновалась... Почему ты решил? — сказала она и отошла.

Но поздно вечером, перед тем как лечь спать, мать вошла к нему в комнату.

— Володя... Я солгала тебе. Правда, это письмо действительно мне. Но оно для тебя.

— Откуда? — удивился Володька.

— Оно из твоей бывшей части, — ответила она и чуть дрожащей рукой передала письмо.

Писал помощник начштаба Володькиного батальона лейтенант Чирков, скромный человек, приходивший к ним на передовую — нужно не нужно — каждый день, твердивший Володьке про неубранные трупы, про невыкопанные окопы, про небритые лица бойцов... Писал он, что бригаду отвели на отдых и формирование (наконец-то!) не очень-то далеко от тех мест, где воевали, и если мать лейтенанта такого-то имеет связь с сыном, то пусть сообщит адрес госпиталя или перешлет это письмо туда. Может быть, он захочет вернуться после

излечения в свою часть. Он-де, Чирков, сейчас занимает должность начштаба и хочет по возможности собрать старый состав средних командиров, проверенных уже в боях и имеющих опыт.

Володька прочел, задумался, опустил голову и ощущая на себе пристальный и тревожный взгляд матери.

— Разумеется, ты ответишь сам? — спросила она.

— Да, отвечу.

— Что? — В голосе матери чувствовалось напряжение.

— Мне не хочется туда возвращаться, — медленно проговорил он, вспомнив их первое наступление — неподготовленное, без разведки, с ходу, и даже поежился от пробежавшего по телу холодка.

Вспомнилось и обострившееся, посеревшее лицо ротного, доказывающего помкомбата, что без артподготовки днем наступать нельзя, что нужно перенести на раннее утро, чтоб неожиданно навалиться на спящего еще немца... А потом встал в ушах его голос и слова: «Надо, Володька, надо...» — и как подтолкнул его ротный, и в этом легком ударе была какая-то отеческая ласка и просьба о прощении, что посылает он Володьку на трудное, почти невозможное, почти на верную смерть... Но смерть пришла к самому ротному, пришла через несколько минут боя, а через три часа Володька первый бросил ком земли в неглубокую ямку, в которую уложили старшего лейтенанта.

Но, несмотря на всю тяжесть всколыхнутого письмом Чиркова, обдало Володьку и чем-то теплым — помнят, значит, его в батальоне, хотят, чтоб вернулся. Значит, не так уж плохо воевал он там.

* * *

Прошло уже больше половины Володькиного отпуска. Бродя каждый день по Москве, попал он однажды к Рижскому вокзалу и решил оттуда пройти в Сокольники тем путем, каким ездили они когда-то на велосипедах — он, Солька Галин и Левка Итальянцев... Солька служил срочную на западе и убит в первых же боях,

Левка же закончил военное училище перед самой войной и где-то воюет.

Проходя мимо Пятницкого кладбища, где захоронен его дед, умерший в тридцать шестом году, вспомнил, как не мог заставить себя при последнем прощании поцеловать лоб покойника, как мучился от этого, не представляя, конечно, что всего через шесть лет будет он черпать котелком воду в двух шагах от лежащего трупа, как однажды ночью привалится головой куда-то, а утром увидит, что привалился-то он на грудь мертвого немецкого солдата, и что это не будет вызывать у него ни страха, ни отвращения.

Уже почти перед самыми Сокольниками надо было переходить Окружную железную дорогу, но пришлось остановиться около переезда: медленно полз воинский эшелон. У раздвинутых дверей «телятников» стояли красноармейцы, но не такие мальчишки, кадровики, из которых состояла их бригада, а постарше, видать из запаса. Были и совсем пожилые, на Володькин взгляд, у тех лица были пасмурны и сосредоточенны — они-то понимали, куда едут и что их ждет. А в Володькином эшелоне, когда они проезжали Москву, горланили ребята песни, подмаргивали женщинам и думали, что ждет их впереди что-то интересное, ждут подвиги необыкновенные и что их бригада погонит немцев к чертовой матери от Москвы...

Поезд остановился, и один из немолодых бойцов, глядя на Володьку тоскливыми глазами, спросил:

— Отвоевался, что ли, насовсем, браток?

— Нет, в отпуску.

— Значит, скоро опять?

— Да.

— Как немец-то сейчас? — Тут повернулось к Володьке несколько человек в ожидании ответа.

— Слабеет немец... Не тот уж, — улыбнулся он ободряюще.

— Не тот, а убивать убивает, — засмеялся кто-то невесело.

— Убивает... — подтвердил Володька.

Эшелон тронулся. Володька махнул ребятам рукой, те вяло ответили. И вдруг крик:

— Командир! Командир!

Володька вздрогнул от знакомого голоса, вскинул голову — из предпоследнего вагона свесился сержант Буханов...

— Буханов! — крикнул Володька и бросился за вагоном.

Буханов протягивал руку, и Володька схватился за нее. Сердце билось, горло свело спазмой.

— Живой, лейтенант... живой, — сдавленным голосом бормотал сержант, а на глаза навернулись слезы. — Как там наши?

— Нет наших... Одиннадцать оставалось, когда меня ранило.

Володька бежал все быстрее, не отпуская руку Буханова, и не было для него сейчас на свете родней человека.

— Ребята, это ротный мой, — объяснял Буханов бойцам в вагоне. — Подо Ржевом бедовали вместе... Лейтенант! Жратвы надо?

— Да нет, что ты...

— погоди, — вырвал руку сержант. — Сейчас я, сейчас... Ребята, давай скидывайся, кто что может... ротному моему. — И полетели на землю пачки махры, банки консервов, концентратов.

Володька не подбирал, а все еще бежал за эшелоном, крича задыхающимся голосом:

— Живым желаю, Буханов, живым... На какой фронт едете?

— Не знаем... Ну, бывай, командир. Век тебя не забуду.

— Я тоже.

— Сколько гулять осталось?

— Мало.

— Я два месяца провалялся. Под Москвой в госпитале был. Ну, бывай, командир, может, встретимся еще... Бывай...

— Живым желаю... Живым, Буханов...

Эшелон набирал скорость, и Володька отставал все больше и больше, наконец остановился, помахал рукой и, когда эшелон уже отошел далеко, побрел обратно подбирать гостинцы от Буханова и его ребят.

И так его тронула эта негаданная встреча, что долго не мог успокоиться, долго тер глаза рукой, долго откашливался, глядя вслед эшелону. Только две недели пробыли они вместе, но какие! Самые первые, самые кровавые... Вспомнил, как не хотел сержант уходить с поля, несмотря на ранение, как почти силком, отчаянным матюгом заставил его Володька ползти обратно. И как-то не по себе стало ему, что Буханов уже едет *туда*, а он, Володька, припухает пока в тылу...

Он распечатал пачку моршанской, поднял с земли обрывок газеты, завернул махры, и ее дым, едкий, продающий горло, вернул его опять туда, в разбитую, изломанную рощу, где происходило самое *главное* в его короткой жизни. Посидел, покурил, поглядывая в сторону скрывшегося уже из глаз эшелона с сержантом Бухановым, хорошим русским бойцом, с которым бок о бок провел он самые страшные, еще непривычные дни на передке и с которым вряд ли судьба сведет его еще раз.

Возвратившись домой, Володька вытащил из карманов свои «трофеи» и рассказал матери о встрече. Она долго растроганно молчала, глядя на него влажными глазами, а потом спросила:

— Значит, любили тебя твои бойцы?

— Вроде... — немного небрежно ответил он.

— Для меня это очень важно, Володя, — серьезно сказала мать.

А для Володьки важным в этой встрече было другое: он уже реально представил конец своего отпуска, через восемнадцать дней ждет его дальняя эшелонная дорога, перестук вагонов, протяжные гудки паровозов, отчаянные крики «Воздух!», вой пикирующих на эшелон самолетов, взрывы и треск пулеметных очередей.

* * *

А дни шли... И Володькины прогулки по Москве наполнялись грустью скорого расставания. Он уже прощался с родными московскими улочками, переулками, по которым бродил, может, в последний раз...

Но кроме грусти томило его чувство чего-то несостоявшегося, так и не свершившегося за время его отпуска. Может быть, какой-то необыкновенной встречи? Да, пожалуй... И, бродя по улицам, он ловил себя на мысли, что он все время чего-то ждет, ждет... И это ожидание чего-то было приятным.

Как-то раз, проходя мимо сада «Эрмитаж», он решил заглянуть. Не так уж часто заходили они сюда школьной компанией — ближе был парк ЦДКА, да и публика в «Эрмитаже» была чересчур нарядная, и они в своих ковбеечках и парусиновых ботиночках чувствовали себя здесь довольно скованно, но помнил он, как еще при подходе к саду доносившаяся оттуда музыка наполняла душу праздничностью, ожиданием каких-то необычных встреч, и входили они туда всегда с каким-то трепетом.

Сейчас сад был почти пуст. В шахматном павильоне двое мальчишек играли в шахматы. На скамейках парами сидели девчонки с учебниками в руках, видно зубрили.

Володька присел на скамейку, закурил. Если бы месяц тому назад кто-нибудь сказал ему, что этим летом он будет в «Эрмитаже», он даже не смог бы рассмеяться тому в лицо, настолько это было невероятно, немислимо. Но вот он сидит на скамейке, рядом, отрываясь на время от зубрежки, смеются девушки, и над ним чистое голубое небо, лениво шелестят кронами деревья, из репродуктора льется какая-то музыка... И опять на миг ему показалось, что либо сон это, либо сном был Ржев. Совместить это невозможно. Он прикрыл глаза, вытянул ноги. И вдруг внезапно, совсем близко — залпы зениток! Девчата взвизгнули и куда-то побежали. Володька тоже поднялся и пошел из аллеи, где деревья мешали видеть небо.

На площадке около кинотеатра несколько человек стояли задрав головы, — маленькая золотистая точка немецкого самолета очень медленно плыла среди облачков разрывов.

Никакого страха Володька не обнаружил на лицах людей, только некоторое любопытство, да и то не очень сильное. Видимо, для москвичей это было обычным и

совсем не страшным. Да и чего бояться какого-то одного прорвавшегося самолета такому огромному городу! Самолет-разведчик уходил, ближайшие зенитные батареи, наверно, те, что на площади Коммуны, перестали вести огонь, и хлопки зениток уходили все дальше.

— Это вы, лейтенант Володька?

Он обернулся: около него стояла Тоня и серьезно, без улыбки смотрела на него.

— Здравствуйте, — смутился Володька поначалу, вспомнив свое поведение в «коктейле».

— Надеюсь, вы больше не носите пистолет в кармане и вас можно не бояться?

Володька как-то растерялся, не зная, что ответить, но потом нашелся:

— Вы, наверно, ждете извинений?

— От вас? О нет, — усмехнулась Тоня. — Мой Витька, наверно, поступил бы так же...

Они помолчали.

— Я почему-то была уверена, что встречу вас, — наконец сказала она. — Как вы проводите отпуск? Сколько вам еще осталось?

— Пятнадцать дней.

— Только пятнадцать! — воскликнула она.

— Да.

Они опять помолчали. Тоня задумалась, будто решала что-то для себя, потом подняла на него глаза и спросила с деланным равнодушием:

— Что вы делаете сегодня вечером, лейтенант Володька?

— Ничего.

— Заходите ко мне. Будет несколько моих подруг с приятелями. Игоря, конечно, не будет, — добавила она, заметив, что Володька в нерешительности. — Я живу на Пироговке. Запишите...

— К каким часам прийти? — согласился он сразу, потому что длинные вечера наедине с матерью были не очень-то веселы.

— Часам к шести. Вы же знаете, комендантский час...

— Хорошо, я приду. Спасибо.

— Ну тогда до вечера, — улыбнулась Тоня слегка и

взглянула на него каким-то странно-задумчивым взглядом, от которого у Володьки почему-то екнуло сердце.

Он сразу же, вслед за Тоней, вышел из сада и быстрым шагом направился домой — надо успеть пообедать, погладить брюки и вообще привести себя в надлежащий для гостя вид. Матери он сказал только, что он приглашен, но к кому — умолчал; так, одни знакомые.

Дом на Пироговке он нашел без труда, но, войдя в парадное, был остановлен строгой старушкой лифтершей:

— К кому?

Володька растерялся. Тониной фамилии он не знал.

— Меня пригласили... Квартира шестнадцать... Тоня.

— Проходи, знаю... Кто головы на фронте ложит, а у кого гулянки кажинный день, — пробурчала старуха.

Володька поднялся по широкой и чистой лестнице, чему удивился — не до уборок было домоуправам в ту пору, — и позвонил в единственный звонок, около которого не висело никакого списка жильцов. «Значит, квартира отдельная», — подумал Володька.

Открыла ему Тоня в нарядном платье, радостно улыбнулась, провела в прихожую с огромным, во всю стену зеркалом, а потом и в большую комнату, показавшуюся ему чуть ли не залой.

— Это Витькин товарищ с Калининского фронта. Лейтенант Володя, — соврала Тоня без всякой заминки, видимо отрепетировав заранее, представляя его двум девицам и двум парням, сидящим за столом.

— А Игоря разве не будет? — протянула одна из девиц.

— Не будет, — отрезала Тоня. — Садитесь, Володя.

— Тогда, может быть, приступим, — поднялся рыхлый, полноватый парень в очках и поднял рюмку. — Тогда за здоровье новорожденной!

Володька смутился, что пришел без подарка, и пробормотал:

— Почему вы не сказали, Тоня...

— Ребята, — не обратила она внимания на его слова. — Володя учился в нашем институте.

«Да? Когда?» — посыпались вопросы, и Володьке

пришлось признаться, что учился он всего пятнадцать дней в сентябре тридцать девятого.

— Все равно он наш, — заявила Тоня.

Накрытый стол удивил Володьку не военным, не по времени изобилием, хотя ничего особенного и не было. Все же это насторожило Володьку.

Но начались тосты за новорожденную, за победу, за Тониного брата Витьку, за всех, кто на фронте, и даже за него, Володьку, и он примирился и с сытыми лицами присутствующих, и с их хорошей одеждой, с обилием еды, что поначалу ударило резким контрастом с собственным домом, а тем более с халупой Егорыча.

Архитектурный институт был до войны моден, конкурсы были большие, поступить было трудно, так как требовался грамотный рисунок, и поступали в него большей частью ребята из обеспеченных семей, имеющих возможность нанять преподавателя и подготовить своих отпрысков. Видимо, и Тоня и ее друзья были из таких семей... Ну, а очкарика не взяли в армию из-за зрения, а второго, может быть, еще из-за чего-нибудь, хотя на вид он был вполне здоров. В общем, Володька подавил в себе неприязненные чувства, появившиеся поначалу, а после большой рюмки водки настроился благодушно, правда, только до тех пор, пока очкарик не заявил авторитетным тоном, что Москву осенью спас случай... Володька хоть не участвовал в битве под Москвой, но знал, какое это *чудо* и какой *случай* — по пояс в снегу, в лютые морозы шли бойцы в атаки с одной мыслью: отогнать немцев от города. Он нахмурился, скривил губы и сузившимися глазами достаточно выразительно посмотрел на очкарика, и Тоня, настороженно следящая за ним, очевидно опасаясь такой же вспышки с его стороны, какая случилась в «коктейле», сразу же подошла к нему, взяла за руку.

— Пойдемте, Володя, я покажу вам Витькины фотографии. Вам будет интересно, — сказала и увела его в другую комнату, наверное кабинет отца, где стояли большой письменный стол, кожаный диван, два кожаных кресла, а на стене висели две скрещенные шашки с именными пластинками на ножнах. — Вам не нравится у меня?

— Зачем говорить то, чего не знаешь, — хмуро произнес он.

— Не обращайтесь внимания. Он неплохой мальчик, только считает, что должен иметь собственное мнение, в корне отличающееся от мнения других. Садитесь.

Володька опустился на диван. Тоня стояла напротив и смотрела на него пристально, и опять от ее взгляда у него екнуло сердце. После недолгого молчания она сказала:

— Вы все еще не можете представить, как можно веселиться, когда там, на фронте... Да?

— Нет. Я уже понял — жизнь есть жизнь...

— Расскажите что-нибудь... о фронте, — попросила она.

— Вы ждете романтических эпизодов? — усмехнулся Володька.

— Нет. Я немного представляю, что такое война. Мой отец военный. Он рассказывал...

— Ну, ваш отец видел войну, наверное, с другой точки, — взглянул он на шашки. — Не с окопа.

— Вообще-то да. Но ему приходилось выходить из окружения, и он бился вместе с красноармейцами. Что же видели из окопа?

Володька вынул из кармана папиросы, долго разминал в пальцах «беломорину», потом нехотя ответил:

— Не то, что вам в кино показывают...

Тоня улыбнулась, а затем как-то застенчиво коснулась Володькиной руки.

— Я вижу, вам очень досталось подо Ржевом, лейтенант Володька, — прошептала она и уже смелее провела пальцами по его руке.

И искренность ее тона, и поглаживание по руке тронули Володьку, и он подумал, что вот Тоне, пожалуй, он сможет рассказать все...

Из другой комнаты раздалась музыка: ребята завели патефон.

— Идемте танцевать. — Вошла в кабинет одна из подруг. — Вы уже посмотрели Витькины фотографии? — спросила не без ехидства.

— Посмотрели, — ответила Тоня, отпуская Володькину руку. — Вы не хотите танцевать?

— Нет. Не получится у меня, наверно, — отказался Володька.

— Мы не хотим танцевать, Зоя.

— Тогда я исчезаю, — выпорхнула та из комнаты.

Они посидели еще немного на диване. Тоня молчала, а Володька опять подумал, что почему-то ей он сможет рассказать *все*.

— Пойдемте, а то неудобно. Бросила гостей. — Тоня поднялась.

Пластинка кончилась, все уселись за стол, и опять начались тосты и малоинтересные для Володьки разговоры об институтских делах. Часть института, как понял он, эвакуировалась, слившись со строительным, а часть осталась, но занятия шли нерегулярные, часть дня студенты работали в круглом зале, делая деревянные коробочки для противопехотных мин. Поэтому они часто собираются у Тони, чтоб позаниматься, а старушка лифтерша, считая, что идут тут гулянки, встречает всегда их злым ворчанием, как встретила сегодня Володьку.

Для него институт был сейчас чем-то очень далеким. Как началась война, он перестал совсем о нем думать, как и вообще о своем будущем.

И, слушая рассуждения очкастого о том, что их будущая профессия после войны будет самой главной — надо же столько строить, Володька даже не испытывал горечи. Было только немного грустно, что он не может вступить в разговор: его судьба другая и главное у него в другом.

Тоня, видя отсутствующее выражение Володькиного лица, пыталась переменить тему, но для ребят она была интересна, это было их будущее, и они продолжали горячо спорить, пока кто-то шутливо не предложил: не сыграть ли им в «бутылочку»?

— Вы не устарели для этой детской игры? — спросила Тоня улыбнувшись.

— Наверное, нет. Но играл в нее очень давно, в классе девятом... — ответил Володька и посмотрел на девушек, гадая, с кем из них ему доведется целоваться: хорошенькими они были все.

— Я кручу, — сказала Тоня.

Бутылка долго крутилась и наконец остановилась горлышком против Володьки. Он покраснел.

— Берегись, лейтенант, — засмеялся кто-то.

Тоня же без улыбки, какая-то серьезная, подошла к Володьке, взяла его голову в свои руки и крепко прижалась к его губам. У него закружилась голова, исчезли все окружающие, комната куда-то поплыла...

— Хватит, Тоня, задушишь лейтенанта, — сказал кто-то.

Тоня оторвалась от него, но продолжала держать его голову и смотрела затуманенными, но серьезными глазами, и ее взгляд притягивал Володьку. Ничего не соображая, забыв о присутствующих, как во сне, поднялся он со стула, прижал Тоню к себе, нашел ртом ее полураскрытые губы...

— Это уже не по правилам, — заметил очкарик, а остальные рассмеялись.

Но когда Володька отпустил Тоню, никто уже не смеялся. Смотрели, переводя взгляды с него на Тоню, и молчали. А Володька, не сразу очнувшись, тоже обвел глазами комнату, притихших и недоуменно смотревших на него Тониных приятелей и приятельниц и смущенно пробормотал:

— Простите... Не знаю, как это получилось... Мне уйти? — сделал он шаг.

— Нет, — еле слышно произнесла Тоня, заступая ему дорогу, тоже смущенная и побледневшая. — Нет, не уходите...

Тут поднялся один из парней:

— Кажется, надо уходить... нам?

— Да, ребята, — как-то просто сказала Тоня. — Извините, но вы видите: что-то произошло... Я пока сама не понимаю... Но что-то произошло.

Ребята без ухмылок и двусмысленных взглядов поднялись и направились к выходу, только одна из подруг что-то шепнула Тоне на ухо. Тоня слегка пожала плечами и пошла провожать гостей. Володька все еще стоял столбом посреди комнаты. До него доносился негромкий разговор в передней, но он не вникал в него — он

был смятен, ошарашен случившимся. Он слышал, как захлопнулась дверь, зазвенела цепочка, затем слышал Тонины шаги и как мимо него прошелестело ее платье. Он обернулся. Тоня стояла напротив и глядела на него.

— Да, что-то случилось... — задумчиво сказала она и опять прикоснулась к его руке. — Со мной случилось. С вами-то ничего. Вы просто очень давно не целовались...

Она прошла к столу, налила себе рюмку и медленно, маленькими глотками выпила вино, затем провела рукой по волосам и как-то обессиленно опустилась на диван.

— Кажется, — начал он глухо, — со мной тоже что-то случилось. — Он вынул папиросы и жадно закурил.

— Неужели? — тихо, с радостным изумлением прошептала Тоня.

— Да... — так же тихо ответил он и присел, но не на диван, где сидела она, а на стул.

Ему не хватало дыхания, в горле пересохло, и он облизывал обметанные, сухие губы и молчал, не находя да и не ища слов для выражения того, что чувствовал сейчас. Молчала и Тоня. И они долго не решались прервать молчание, переживая, каждый по-своему, то значительное и необыкновенное, что произошло с ними.

— Последние дни я все время бродила по улицам... И вот встретила вас все-таки. Мне вообще везет в жизни.

Володька усмехнулся и покачал головой.

— Вы считаете, что это не так? — с тревогой спросила она.

— У нас только... пятнадцать дней.

— Не надо об этом! Я не хочу думать! — почти крикнула она и, протянув руку через стол, взяла Володькину кисть. — Вы знаете, все началось с руки... Когда вы протянули ее мне, еще грязную, со следами ожогов, такую жесткую... я подумала...

— Не надо... про руку, — попросил он и осторожно высвободил ее.

Тоня пристально взглянула на него и не сразу, а помедлив немного, спросила:

— Это связано... с фронтом?

— Да.

— И это страшно? — спросила, догадавшись.

— Очень.

— Господи, я как-то никогда об этом не задумывалась. Я дочь военного, и никогда... Значит, папины сабли... Может быть, ими тоже...

— Сабли — это очень давно, — сказал Володька, и опять ему подумалось, что Тоне он сможет рассказать про все, и не только сможет, но и должен, потому что держать все это в себе больше невозможно. И его прорвало: — Вы спрашивали — что из окопа? Так вот. — Он поднялся и начал вышагивать по комнате. — Я никому еще не говорил. Трупы. Много трупов — и немецких и наших! А кругом вода, грязь. Жратвы нет, снарядов нет. Отбиваемся только ружейным огнем... И каждый день кого-нибудь убивает. Еле таскаем ноги. Ждем замены. Приходит помкомбата: «Ребята, «язык» нужен позарез, иначе нас не сменят! Батальонную разведку всю побил. Давайте сами!» Даем! Отбираю трех посильнее. Ночью ползем... Добираемся, сами не знаем как, до немецкого поста. Там — двое фрицев. Двоих не дотащить. Одного надо кончать. Кому поручить? Смотрю на ребят — боюсь, не сдюжат. А надо наверняка. Вот и пришлось самому... — Володька остановился около стола. — Можно выпить?

— Я налью, — заспешила Тоня и дрожащей рукой налила рюмку.

Он выпил одним махом.

— Ножом в спину... Рукой ему рот зажал, а через пальцы — крик. И кровь со спины на меня! Весь ватник забрызган... Утром кинжал от крови отмываю... Ну, враг, немец, фашист, гад. Но... человек же. Не пожалел я его. Нет! Но противно, физически противно. Я буду их убивать, буду, но... понимаете, я уже никогда не буду таким, каким был. Никогда! Ну хватит вам — что из окопа?

Тоня подошла к нему, положила руку на голову, стала поглаживать.

— Вот что довелось вам, лейтенант Володя... Вот что...

— А думаете, сменили нас? Черта с два! Изменилась обстановка. А до этого, в первом наступлении... Я ж кадровый, привык все по уставу, как положено. При-

казали двигаться по полю, а как? Немец лупит из всего, что у него есть, головы не поднять, а сзади ротный — вперед, давай вперед! — Володька приостановился, вытер пот со лба. — Сержант Степанов, помкомвзвода мой, говорит: «Давайте, лейтенант, чуть вправо подадимся, лоцинка там, поукрытистей будет...» А я: «Струсили, сержант, какое направление указано? К трем березкам! Его и держать! Вперед, мать вашу, давай, давай...» Ну и пошли...

Голос Володькин задрожал, и он обессиленно опустился на диван, достал папиросы и закурил, часто и глубоко задыхаясь дымом, до кашля...

— Ну и пошли, — повторил он. — Я ж умнее всех, зачем мне кого-то слушаться. Сержант из госпиталя вторым заходом на фронте, а мне что, я лейтенант, училище окончил. Ну и... сержанта насмерть, и треть взвода на поле осталась... До сих пор не могу заставить себя к его жене сходить... Вот что из окопа, Тоня... — Он встал и опять замаячил по комнате.

Тоня глядела на него неотрывно и о чем-то думала.

— А отпуск к концу, — продолжил он. — Через пятнадцать дней — опять то же. И ни черта я в жизни не видел — школа, армия, фронт... Нет, вы меня только жалеть не вздумайте! Я же сам, все сам... На востоке думал — как же война без меня? Как в Москву вернусь, не мною отбитую... Нет, я все сам, сам...

— Вот вы какой, лейтенант Володька... Вот какой... — Тоня подошла к нему, остановилась, взяла его руку и вдруг очень серьезно и решительно заявила: — Я не пущу вас туда больше. Не пущу! Не верите? Вот возьму и не пущу! Когда я сильно чего-нибудь хочу, у меня выходит.

— Это не тот случай, Тоня, — пожал Володька плечами и улыбнулся.

Они сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, и говорили, говорили... Может, и не об очень значительном, но для них казавшемся очень важным и интересным.

Они не целовались больше, видимо опасаясь того смятения, в которое привел их обоих первый поцелуй.

И только тогда, когда Володька уходил и они прощались в прихожей, а времени было уже в обрез до комендантского часа, Володька прижался к полураскрытым, ждущим Тониным губам и долго-долго не мог оторваться от них...

До Садовой он бежал, непрерывно поглядывая на часы, — была уже половина двенадцатого. Домой он вернулся в первом часу. Мать встретила его встревоженным взглядом и словами, что звонила Юля.

— Да? — равнодушно бросил он.

— По-моему, ей было неприятно, что тебя не оказалось дома.

Спать ему не хотелось. Какой сон, когда произошло такое... Когда за один вечер незнакомый до этого человек стал самым дорогим, самым близким, когда кружат голову только одни воспоминания об этом вечере...

Но все же Володька разделся и лег в постель в надежде, что память прокрутит перед ним все, что произошло с ним сегодня, и снова переживет этот незабываемый вечер, но Тонин образ не появлялся перед его закрытыми глазами, а закрутились обрывки из рассказанного им Тоне о Ржеве: то метельная темная дорога на войну, то обреченные глаза ротного, то хриплый шепот сержанта Степанова, то перекошенное лицо немца... И как ни старался он отогнать от себя это, недавнее прошлое накатывалось на него, и опять противно выли мины и стрекотали пулеметные очереди.

А когда он заснул, снилась ему не Тоня, а самолетная бомбежка. Черные тени «юнкерсов» висели над ним, и маленькая черная точка, оторвавшаяся от самолета, летела прямо на него, все увеличивалась в размерах, и он знал: это *его бомба*...

И утром не сразу ушло от него приснившееся, а когда ушло, то начало медленно наплывать предвосхищение того необыкновенного, что его ждет сегодня, — встреча с Тоней. И тут же резко зазвонил телефон, и Володька, neodетый, бросился в коридор.

— Это вы? Значит, правда, что вы есть на свете? Мне не приснилось? — услышал он в трубке Тонин голос.

— Это я...

— Я совсем не спала... Приезжайте сейчас же. Хорошо? — И действительно, говорила она устало, измученным голосом.

— Еду, Тоня...

Когда Володька лихорадочно, как по тревоге, одевался, мать, слышавшая, конечно, краем уха его разговор, вошла к нему в комнату, остановилась и смотрела на него вопрошающим взглядом.

— Ты даже не будешь завтракать?

— Нет, мама... Я должен бежать.

И он бежал до трамвая, который потом нестерпимо медленно тащился до Самотеки. Так же бесконечно долго полз и троллейбус по Садовому кольцу. По Пироговке Володька опять бежал и только у Тониного дома приостановился, чтоб успокоить дыхание, но не простоял и минуты — бросился в парадное, буркнул сердитой лифтерше: «В шестнадцатую» — и запрыгал по ступеням.

Дверь была открыта, и Тоня стояла в проеме — бледная, с припухшими глазами.

— Наконец-то... — прошептала она и уткнулась ему в грудь. — Господи, что же это такое? Я думала — это радость, а это мука... Я совсем не могу без вас.

* * *

И полетели какие-то сказочно-необыкновенные дни. Рано утром, кое-как второпях позавтракав, Володька несся на Пироговку, а там бешено крутились стрелки больших старинных часов, висящих на стене, и они не успевали оглянуться, как время неумолимо приближалось к роковым одиннадцати вечера, когда Володьке надо было уходить, чтоб успеть добраться домой до комендантского часа.

И последние минуты они стояли в прихожей, целовались, и Володька, с трудом отрывая от себя судорожно сцепленные Тонины руки, выходил на затемненную Пироговку, громадным усилием воли заставляя себя уходить все дальше и дальше от ее дома, и у него было такое ощущение, будто раскалывался мир на две половины, и в той половине, где не было Тони, ему страшно одиноко и бесприютно.

Из-за того, что ему хотелось поскорей заснуть, хотелось, чтоб быстрее прошла ночь и наступило утро, когда он опять побежит сближать расколотые миры, он, наоборот, очень долго не мог уйти в сон, и не помогли ни чтение, ни курево... Володька осунулся и выглядел сейчас не краше, чем когда вернулся из-под Ржева. Обедать домой он не приходил, а у Тони, после того как уничтожили они присланные ее отцом ко дню рождения продукты, остались в доме только кофе и галеты, да и было им как-то не до еды.

— Володя, — как-то раз сказала Тоня, когда они стояли в прихожей и часы отбивали одиннадцать, — неужели скоро наступит настоящее прощание? Неужели?

То, что это наступит, знали они оба. Потому и были так напряженно-лихорадочны их дни, потому-то и летели так минуты, часы, дни... И уже не однажды повторяла Тоня:

— Я думала, любовь — счастье, а она еще и мука...

Да, но это была сладкая мука, потому что каждое прикосновение друг к другу, не говоря уже о прощальных поцелуях в прихожей, доставляло им ни с чем не сравнимое, не изъяснимое никакими словами блаженство, горькая острота которого усугублялась неотвратимым приближением конца Володькиного отпуска.

Однажды Тоня повела его на Новодевичье кладбище — была годовщина смерти ее матери, и они долго бродили среди памятников, пока не добрались до скромной могилы. Тоня положила несколько цветков, купленных при входе, а Володька немного отошел от нее, чтобы оставить ее одну, и стал осматриваться.

Здесь смерть была благообразна, даже величественна и красива, а перед Володькиным взором маячили разбросанные по полю, окровавленные, полураздетые, то скрюченные, то распластанные, еще не захороненные русские ребята, его одногодки, которым жить бы и жить, если б не война...

Когда Тоня подошла к нему, он задумчиво произнес:

— Интересно, сколько тут могил?

— Почему тебя это заинтересовало?

— Так, — пожал плечами он, а сам подумал, что та-

кое вот кладбище, на котором хоронят уже сотни лет, можно было заполнить после двух-трех хороших наступлений стрелковой дивизии.

На обратном пути, проходя мимо большого памятника, Володька усмехнулся.

— Ради такой груды мрамора и бронзы можно даже захотеть помереть. — Перед глазами стояли одинокие бугорки с фанерными звездами, которые попадались ему по всей дороге, которой он шел с передовой.

Тоня заметила и горечь слов, и боль в глазах.

— Ты что-то вспомнил?

— Да так, — нарочито небрежно ответил он и взял ее за руку. — Пойдем.

Иногда они вместе ходили на Усачевский рынок и покупали один-два килограмма безумно дорогой картошки, и тогда Тоня командовала:

— Лейтенант Володька, вам сегодня наряд без очереди — чистить картошку.

— Есть наряд вне очереди. — И он отправлялся на кухню.

Правда, он очень скоро доказал Тоне, что чистить картошку в военное время — преступление. Ее надо варить в мундире.

Эту странную, почти семейную жизнь, только без ночей и близости, можно было бы назвать счастливой, если бы... Этих «если бы» было много. Первое и главное — это быстрота, с которой пробегали дни. Вторым «если бы» была Юлька. Потом — мать, с которой он не проводил и часа в день. Не был он и у матери Толи Кузнецова. Никак не мог решиться пойти к жене Степанова. Не очень-то ясно было с Сергеем, который, как сообщила ему мать, перешел на другую работу, где ему вроде бы дают бронь.

— Ты должен все написать Юле, — не раз говорила ему Тоня.

— Пока не могу. Понимаешь, если бы она была дома, не в армии, все было бы проще. Я сказал бы ей — и все... А сейчас... Это, знаешь, как ударить лежащего, — отвечал Володька, и она молча соглашалась с ним, но через несколько дней возвращалась опять к этому.

В отношении Володькиной матери, которая почти его не видела, Тоня была жестче.

— Ты находился с матерью больше половины своего отпуска. Остаток его — мой, и только мой, — заявила она однажды. — А потом, ты знаешь, для меня сейчас отец, брат — все ушли на второй план, а они же на фронте. Это страшно эгоистично, но я ничего не могу с собой поделать. Для меня сейчас существуешь только ты, лейтенант Володька. Я спокойна, только когда ты со мной. Разве у тебя по-другому?

У Володьки было, наверное, немного по-другому. Он был мужчиной, и та полная поглощенность своими чувствами, то напряженное, но бездумное состояние, продолжавшееся целую неделю, как-то расслабляло его, и эта расслабленность была ему неприятна, потому как знал он, что ему надо собраться, решить все вопросы перед тем, что его ждет. И Тоня стала замечать, как временами он уходил в себя, задумывался, хмурия брови, и его взгляд становился отрешенным.

— Я вижу, с тебя сходит понемногу хмель, Володя, — сказала она, грустно покачивая головой.

— Не в этом дело, Тоня.

— Да, я понимаю. — Тоня положила руку ему на лоб, потом, взъерошив волосы, сказала: — Можешь уйти сегодня, когда тебе нужно... Но мне, мне будет очень тяжело без тебя.

Мать ничего не говорила Володьке, но он видел — она была обижена, обижена глубоко, что ради какой-то девчонки (а кем для нее может быть Тоня?) он забросил и дом и ее. Когда он возвращался в полночь, она разогревала обед и молча подавала ему. Володька наскоро съел его, после чего спешил в свою комнату, бухался в постель — скорей, скорей заснуть, чтоб быстрее прошла ночь и наступило утро.

Когда же вернулся он в шесть вечера, мать была не только удивлена, но и обеспокоена.

— Что-нибудь произошло? — спросила она.

— Ничего, мама, — улыбнулся он. — Просто этот вечер мы проведем вместе.

— Ну что ж, спасибо... Тебе без конца звонит Сергей. У него какие-то идеи в отношении твоего будущего. Вам необходимо встретиться. Это первое. Во-вторых, Воло-

дя, я не знаю, что отвечать Юле? Ну, а потом, по-моему, мне надо познакомиться с той девочкой, у которой ты пропадаешь.

— Самое сложное с Юлей, мама... Наверное, ей ничего не надо говорить. Скоро кончится отпуск, и все решится само собой... Что же касается этой девочки... Она Тоня. И у нас все очень серьезно.

— Ну, разумеется, очень серьезно. Разве в твои годы может быть *это* несерьезным, тем более ты знаешь ее уже больше недели. Так, кажется?

— Не иронизируй, мама, — улыбнулся он. — Сейчас я уйду на полчаса, вернусь, и мы поговорим.

* * *

К дому Толи Кузнецова он шел медленно и тяжело, а когда дошел, остановился и долго курил, забывая волнение. Наконец постучал в дверь.

— Мне кого-нибудь из Кузнецовых, — сказал он открывшей ему женщине.

Та внимательно посмотрела на него, на перевязанную руку на косынке и тихо спросила:

— Вы знаете, что Толя?.. — Володька кивнул в ответ. — Проходите, темно у нас. Вот дальше, вторая дверь направо. — Она осторожно постучала. — Тетя Груша, к вам пришли.

Дверь открылась, и пожилая, гораздо старше его матери женщина, худенькая и маленькая, встретила его растерянным взглядом, который на миг высветлился надеждой. У Володьки сжало горло. Этого он больше всего и боялся — надежды, которую принесет его приход, и того, что эту надежду ему же придется и загасить.

— Я служил с Толей... — с трудом выпершил он.

— Проходи, сынок, проходи... Поняла я, что оттуда ты.

И робкое ожидание чуда, которое вдруг принес он, Толин товарищ, опять мелькнуло в ее глазах, и она вся как-то сжалась, оттягивая свой главный вопрос, а может, просто была не в силах его задать и напряженно вглядывалась в Володькины глаза, которые тот невольно прятал, боясь, что в них она сразу прочтет правду.



Они прошли в небольшую, забитую старой мебелью комнату... Володька продолжал молчать, мучительно решая, сказать ли правду или оставить надежду Толиной матери, не говоря ей, что был с Толей на фронте, но глаза женщины потускнели уже.

— Молчишь? Значит, правда?.. Ежели правда, садись и рассказывай, как случилось это. Не бойся мою надежду убить, ее и нет у меня. Может, чуток на самом днышке души была. Рассказывай, сынок. Ты ж единственный, кто рассказать мне может, кто его перед смертью видел. Ты с ним и на востоке служил?

— Да.

— Тоже из института тебя взяли?

— Да.

— Ну рассказывай, да на мои слезы внимания не обращай... Мучился он перед смертью-то?

— Нет. Очень большой снаряд... Почти весь его взвод погиб.

— При тебе это было?

— Нет. Мы пришли ночью к передовой. Деревенька небольшая, разбитая. Моя рота пошла на самую передовую, а Толя со своим взводом остался в деревне. Вот тут мы и распрощались... Днем мы в наступление ходили, а вечером немец открыл очень сильный огонь и по передовой и по деревне. Вот в этот обстрел... Я на другой день утром пришел в штаб и... узнал...

— Значит, до самого фронту он и не дошел?

— Да... — Немного помешкав, он добавил: — Вы знаете, были такие моменты, когда завидовал я Толе, что отмучился он сразу.

— Да, да, понимаю, — рассеянно ответила она и прижала платок к глазам, а Володька весь напрягся, ожидая тех же вроде бы упорных слов, которые слышал он от баб в проходимых им деревнях: «Ты-то живой остался...»

Но Толина мать ничего этого не сказала. Вытерев глаза, она подняла их на него — старческие выцветшие глаза, в которых стояла непроходимая боль.

— У меня скоро кончается отпуск... вот я и решил... — прибормотал он, чтоб разрядить молчание.

— Господи, значит, опять туда!

— Опять.

— Ну, спасибо, сынок, что зашел. Хоть узнала чего... как сын мой... Господи... — опять заплакала она. — Одной доживать придется, одной. Хоть бы меня Господь прибрал, старуху-то... Нет, молодые гибнут. Ну, желаю тебе счастья... Одногодок Толин, наверное?

— Да.

— Матери-то твоей какое счастье выпало... Повидала тебя. Только каково ей опять тебя провожать? И скоро?

— Скоро... Когда мы Москву проезжали, то два дня на Окружной крутились. Хотели мы с Толей домой сбежать, но... нельзя было.

— Значит, рядом был Толя, совсем рядом! И не почувало мое сердце, не почувало...

Вышел он от матери Толи в полном разброде и с тяжестью в душе. Как же они могли с Тоней забыть обо всем? Ведь совсем рядом война, умирают люди, срывают голоса ротные, посылая в атаку, гремят выстрелы, рвутся снаряды, а в московских домах погибают от отчаяния матери и жены, получая похоронки.

— Так больше нельзя, — заявил он Тоне на другое утро, еще не войдя в квартиру.

— Что нельзя? — испуганно прошептала она.

— Мы забыли обо всем.

— О чем, Володя?

— О том, что война, о том, что кругом горе... А мы...

Тоня помолчала немного, потом, сдвинув брови, сказала непривычно сухо, даже жестковато:

— Вот ты о чем... А что впереди у нас? Тоже горе и тоже страдания. Они совсем близко. Я не знаю, что будет со мной, когда ты уедешь, не знаю, как буду жить, если с тобой что-нибудь случится... В чем же мы виноваты? — Она говорила отчетливо и убежденно. — Нет, ни в чем и ни перед кем не чувствую себя виноватой. Даже перед Юлей...

Но, почувствовав, что не убедила Володьку, подошла, обняла и уже другим тоном, ласковым и нежным, прошептала:

— Глупый ты мальчик... Очень хорошо, что ты так совестлив, но впереди у нас... И не надо сейчас ни о чем думать...

* * *

В этот день Володька пришел к Тоне не утром, как обычно, а в середине дня — ходил перед этим на перевязку и получать по карточкам продукты. Поэтому те несколько часов, которые оставались им, пролетели как одно мгновение. И когда они вышли в прихожую прощаться, старинные стенные часы пробили не одиннадцать ударов, а только один — было половина двенадцатого!

— Ты не успеешь, — сказала Тоня.

— Что ж делать? — растерялся он. — Я побегу все-таки, Тоня. Как-нибудь доберусь...

— До комендатуры? Тебе очень хочется ночевать там? Позвони матери, что ты остаешься у меня. Я постелю тебе в столовой. — Тоня улыбнулась, заметив и растерянность и смущение на лице Володьки.

— Мама спит, да и всех соседей разбудишь звонком. Черт возьми, как мы проглядели время!

Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, еще не решив, что делать, но тут Тоня, уже несшая белье в столовую, сказала, что если его мать будет волноваться, то позвонит сюда, и будет лучше, если он окажется здесь, чем неизвестно где. Это убедило Володьку.

— Я открою дверь своей комнаты, и мы сможем поговориваться. Правда, я привыкла жить одна, но иногда ночами бывает жутковато. А тут я крикну — вы здесь, лейтенант Володька? А ты ответишь — я здесь, и будет очень здорово, — говорила Тоня, стеля белье на диван.

И только сейчас до Володьки дошло, что этой ночью он будет с Тоней. Он не знал, что случится этой ночью, но предощущение чего-то необыкновенного пронзило его, и он неверными, чуть дрожащими пальцами достал портсигар, вынул папиросу и закурил, изломав не одну спичку.

— Надо немного отодвинуть стол, Володя, — сказала

Тоня и опять улыбнулась, глядя, как Володька стал отодвигать тяжелый стол, который полз вместе с ковром, задирая его и морща, не догадываясь от волнения приподнять его.

Наконец стол был отодвинут, ковер заправлен.

— Принеси, пожалуйста, подушки из моей комнаты, — попросила Тоня.

В Тонину комнату Володька не заходил ни разу. Тоня всегда говорила: «Там у меня страшный кавардак», — и сейчас он входил туда с каким-то трепетом. Свет был там не зажжен, и в полумраке белела оправленная Тонина постель, голубовато поблескивали какие-то флаконы на туалетном столике, пахло Тониными духами... Володька, будто совершая святотатство, чуть дотронулся пальцами до ее постели и сразу отдернул руку, словно обжегшись.

— Принес? Давай. — Тоня взбила подушку и положила ее на диван. — Теперь баиньки, лейтенант Володька.

— Я не засну, Тоня, — как-то жалобно пробормотал он.

— Заснешь, — ответила она и прикоснулась губами к Володькиному лбу. — Спокойной ночи.

Тоня пошла в свою комнату, щелкнув по пути выключателем. Свет погас.

Володька, не раздеваясь, сел на диван, обхватил голову руками. Громко отбивали в тишине секунды большие настенные часы, на улице изредка, шелестя шинами, проезжали машины, где-то прозвенел запоздалый трамвай. Из Тониной комнаты доносился звук ее шагов, потом скрип кровати, — видимо, она легла.

— Спокойной ночи, — шепотом сказала она.

— Спокойной ночи, — ответил он почти беззвучно и стал снимать ботинки.

И от простыни и от подушки, в которую он уткнулся, пахнуло Тониными духами. Тоня была совсем рядом, всего в нескольких шагах от него. Она не закрыла дверь своей комнаты, и Володька видел синее окно, туалетный столик... Саму Тоню он не видел, но она была рядом, и одно это казалось чем-то удивительным и необыкновенным.

— Ты не спишь? — донесся шепот Тони.

— Нет.

— Я тоже. Но ты спи.

— Постараюсь, — прошептал он.

— Как тихо...

— Да, очень...

Этот тихий, приглушенный ночной разговор был тоже чудом. Володька перевернулся на спину, протянул руку к столу, достал папиросы, чиркнул спичкой.

— Ты куришь? — спросила Тоня.

— Да.

Потом они долго молчали... Володька чутко прислушивался — вот Тоня вздохнула, вот перевернулась на другой бок, и кровать скрипнула, вот как будто она поднялась... Да, поднялась и пошла открыть окно. Володька видел ее легкую тень около рам. Потом опять легла и долго ворочалась. Кашлянула. Вздохнула. И прошептала:

— Тебе хорошо?

— Очень.

— Мне тоже.

Володька докурил папиросу и лежал с открытыми глазами и знал, что пролежит так всю ночь не только потому, что не хочется спать, а потому, что жалко заснуть и потерять во сне то, что сейчас наполняет его.

И вдруг где-то далеко грохнул взрыв, потом еще, еще... И сразу же уже совсем близко затрещали зенитки, стоящие, видно, около Новодевичьего.

— Володя, тревога...

— Слышу.

Он видел через открытую дверь Тониной комнаты, как небо заполосилось прожекторами. Тоня в накинутом халатике бросилась к окну.

— Самолеты! Володька, иди посмотри...

Он поднялся, начал нашаривать рукой брюки, но не нашел, а тем временем Тоня, увлеченная воздушным боем, крикнула:

— Один падает! Ну, иди скорей!

Тогда он вскочил и, как был, в трусах и майке, подбежал к Тоне.

— Видишь?

— Вижу.

Немецкий самолет, взятый в перекрестье лучами нескольких прожекторов, медленно падал, перевортываясь в воздухе, а прожектора все еще не отпускали его, сопровождавая почти до самой земли. Бухнул далекий взрыв.

— Один готов! — захлопала в ладоши Тоня.

Но в небе висело несколько самолетов. Зенитки били со всех сторон, и облачка разрывов вспыхивали около них. Володька легко обнял Тоню и почувствовал через тоненький халат, как дрожало ее тело.

— Ты дрожишь. Холодно?

— Это от волнения... Смотри, Володька, сейчас второй подобьют. Смотри. Все ближе и ближе... Ага, есть! — закончила она торжествующе.

И второй самолет, также сопровождаемый лучами прожекторов, начал валиться на крыло, а потом, крутясь, падать... Через минуту-две опять раздался глухой взрыв.

Стрельба начала утихать. Прожектора потянули свои лучи в сторону, вслед оставшимся самолетам, которые уходили из города. Они еще немного постояли у окна, провожая глазами уходящие самолеты и облачка разрывов... Володька прижал к себе дрожащее Тонино тело.

— Все-таки ты замерзла, — сказал он.

— И ты. У тебя холодные руки.

И вдруг, ничего больше не говоря друг другу, будто бы с этой постели они и были подняты тревогой, они легли вместе на Тонину кровать и замерли...

Тоня лежала на спине, а Володька на боку, прижавшись к ней и обнимая ее правой рукой... Они долго молчали, ошеломленные этой неожиданной близостью, лежали не шевелясь, затаив дыхание.

— Отпусти меня на минутку, — попросила она.

— Не могу, — прошептал он.

— Я только скину халат.

Володька осторожно отнял руку. Она, не вставая, кинула халатик на стоящий рядом стул и осталась в трусиках и лифчике. Он опять обнял ее и, ощутив своими ногами ее голые горячие ноги, замер... Через некоторое

время он чуть приподнялся, захотел поцеловать ее губы, но она закачала головой:

— Не надо. Мне и так очень хорошо... Ты со мной, совсем со мной. Господи, если бы можно было остановить время...

Да, было и так необыкновенно хорошо, чего же больше. И не знал еще Володька, что сколько бы ни было у него женщин и какими бы они ни были, ничего более прекрасного не будет у него в жизни уже никогда. Что эта короткая июньская целомудренная ночь, пролетевшая сказочным мигом под далекий грохот зенитных батарей, останется в душе навсегда и воспоминания о ней будут томить сердце до конца дней...

Они почти не спали... Может быть, на какие-то минуты они и уходили в сон, но только на минуты, и, просыпаясь, сразу же глядели друг на друга, чтоб увериться — они вместе, это взаправду...

Июньский ранний рассвет уже с трех часов ночи начал высветлять окна, а к пяти луч солнца пробился к ним и золотой полосой лег на их счастливые, но осунувшиеся лица. Володька решил уходить в шесть — к семи он попадет домой, и «святая ложь» — попал в комендантуру — будет правдоподобна.

В прихожей Тоня протянула ему губы для поцелуя.

— Что ж ты боялась ночью? Разве ты не верила мне?

— Я не боялась. Просто было так хорошо, что большего не нужно.

Ровно в шесть спускался Володька по лестнице, стараясь прошмыгнуть незаметно мимо лифтерши, но она бдила и пробуравила его своими глазками.

Он сел в перегруженный трамвай, долго висел на подножке, пока на следующей остановке не подвалило людей и они не втиснули его в вагон. Как ни был он рассеян и погружен в свои переживания, но не мог не заметить — другой народ катит в этом первом утреннем трамвае, чем тот, который ходит в дневные часы по улицам Москвы.

Спешила на заводы рабочая Усачевка — пожилые мужчины в спецодежде, бледные, уже с утра усталые женщины и невыспавшиеся подростки. У последних-то и слипа-

лись веки, дремали стоя, а кто сидел, спали по-настоящему — несытые, с совсем еще детскими лицами, но уже какими-то озабоченными, серьезными. И эти мальчишки, работнички ранние, несмотря на дрему, все же посматривали на раненую Володькину руку, на медаль, хоть и сдержанно, но все же с интересом — с войны человек, с фронта... Трамвай дико визжал на поворотах, женщина-вагоновожатая остервенело звонила каждоминутно без всякой надобности. Когда Володька сходил, то увидел ее лицо — оно было заплаканно и искажено горем.

Он предполагал, что мать еще спит и ему удастся незаметно проскочить в свою комнату, но она встретила его в коридоре, видно услышав, как он ворочал ключом.

— Мама... — начал было он.

— Тише, Володя, — сказала она шепотом. — В твоей комнате Юля.

— Что? — оторопел он.

— Ее вчера отпустили в увольнение. Вечер она провела со своими, а около двенадцати пришла к нам... Ты понимаешь, что при ней я не могла позвонить, и страшно волновалась. Мы ждали тебя до двух часов ночи.

Володька подошел к своей комнатке и тихонько приоткрыл дверь. Юля спала одетая, чуть прикрытая одеялом. На зареванном лице — гримаса страдания. Рот полуоткрыт, губы опущены вниз, как у обиженного ребенка. Его ударило жалостью, он постоял еще немного, а потом закрыл дверь.

— Она спит, — сказал он растерянно, войдя в комнату матери.

— Что ты намереваешься делать? — холодно спросила мать. — Продолжать ложь? — Она набила папиросу и закурила.

— Осталось всего немного. Я уеду, и все разрешится само собой... Мама, я скажу, что попал в комендатуру, возвращаясь от Сережки, — полувопросительно закончил он.

— Говори что угодно, но не вмешивай меня...

Володька искурил папиросу, изжевав весь мундштук, несколько раз прошелся по комнате туда-сюда, прежде чем решил идти к Юле. Когда он вошел, она лежала

на спине с открытыми глазами, и ничего не дрогнуло на ее неподвижном лице.

— Ты проснулась? — проямлил он, но она ничего не ответила, продолжая глядеть на него каким-то невидящим взглядом.

Он совсем смутился, начал переступать с ноги на ногу и наконец раскашлялся.

— Ты что, не видишь? Это я. Меня задержали по дороге от Сергея...

— Это не ты, Володька, — каким-то пустым, безразличным тоном проговорила она. — Выйди, я приведу себя в порядок...

— До каких часов у тебя увольнение?

— Не все ли равно. Я сейчас уйду.

— Юлька, но нельзя же так! Ты ничего не знаешь...

— Я ничего не хочу знать. Выйди.

Володька вернулся в комнату матери.

— Юля почему-то решила, что ты встретил эту... Майю, кажется? Была у вас в классе такая пышная девочка, и что пропадаешь у нее, — сказала мать.

Он ничего не ответил и опять засмолил папиросу. Вошла Юля, бледная, подурневшая, в помятой гимнастерке и юбке, и опять Володьку ударило жалостью.

— До свиданья, — сказала она только Володькиной матери. — Я ухожу.

— Я провожу тебя, — поднялся он.

— Не хочу, — резко бросила Юля.

— Все равно провожу.

Они молча спустились по лестнице, молча шли по улице. Когда они сходили с тротуара, Володька хотел поддержать ее за локоть, но она вырвала руку:

— Не дотрагивайся до меня!

Так, в молчании они дошли до ее дома, и только тут, приостановившись, Юля дрожащим голосом сказала:

— Как ты мог... с этой дрянью. Она же чуть ли не с восьмого класса...

— Да не встречался я ни с какой Майкой! Я напишу тебе...

— Все равно ты предал меня. — Она круто повернулась и вошла в парадное.

Возвратясь домой, Володька принялся строчить боль-

шое письмо, стараясь объяснить ей (да и себе тоже), что произошло с ним, предлагая ей остаться друзьями, не обрывать то, что у них было, но письмо не получалось, выходило вымученным, холодным, и Володька разорвал написанное.

* * *

Встреча с Сергеем произошла опять на той же квартире в Троицком переулке. Когда они говорили по телефону, договариваясь о встрече, Володьку поразил голос Сергея. Что-то у него случилось, подумал он. Но, встретившись, он ничего не заметил на лице Сережки — оно было спокойно и лишь очень сосредоточенно. Он довольно рассеянно слушал Володьку, рассказывавшего о неожиданном приходе Юли, о сцене, которая произошла.

— Ну и что же? У Юльки, по-моему, был какой-то роман, пока ты был в армии, теперь у тебя. Подумаешь, — небрежно высказался Сергей, не придавая всему этому значения.

— Мама часто мне твердила, что ее счастье и ее беда в том, что она воспитана на святой русской литературе... Я тоже в том же грешен, — заметил Володька.

— Думаю, что здесь больше беды... Слишком много психологии и «проклятых вопросов». Русская литература не смогла воспитать цельного, рационального человека. Она создала либо фанатиков, либо «лишних» людей, — заявил Сергей. — Кстати, мы спорили с тобой об этом еще на заре туманной юности. Помнишь?

— Помню. Но ты был не прав тогда, как и сейчас. Русская литература воспитала человека, которому очень трудно быть подлецом...

— Возможно, возможно... Прости, Володька, но мне что-то не до дискуссии. Я позвал тебя по другому поводу... Вот прочти. — Сергей вынул из бокового кармана пиджака конверт. — Это от отца... — и отдал Володьке.

«Дорогой Сережа! Не знаю, получил ли ты то, о чем писал. Не знаю — нужно ли это вообще. Без твоей помо-

щи я как-нибудь проживу здесь, и главное не во мне. Я чувствую, ты в страшном разладе и тебе трудно. Я хочу, Сережа, чтоб ты был со всеми, чтоб моя судьба никак не была помехой твоему великому гражданскому долгу. Страна в огромной беде...»

Дальше следовали обычные в письмах слова: вопросы о здоровье, приветы Любе и знакомым...

Володька прочел... Своего отца он не помнил, тот погиб в служебной командировке на Украине, случайно заехав в деревню, занятую махновцами. Поэтому слово «отец», понятие «отец» было у него чем-то большим, почти святым, и, как он ни любил мать, он знал, что отца любил бы больше... И сейчас, прочитав это письмо, он раскашлялся, стараясь выпершить подкативший к горлу ком.

— Первые строки — о брони, ну, а остальное... это тоже из области русской литературы, — пояснил Сергей. — Ну что скажешь? — Володька молчал, а он продолжил: — Ты говорил как-то, что главное слово войны — «надо»... Я не стал тебе тогда ничего говорить, чтоб не сплавилось твое железное «надо». Но видишь ли — есть и другие «надо»...

Они долго молчали. Сергей барабанил пальцами по столу, а Володька, опустив голову, думал. Он мог бы рассказать Сергею, как шел в атаку командир первого взвода Андрей Шергин, сын бывшего комбрига, передавший перед наступлением ему письмо с далеким северным адресом, как, наскоро перевязавшись после первого ранения, поднял залегших людей и, не пробежав десяти метров, получил вторую пулю, после которой опять поднялся и, выкрипывая «Вперед!», не тратя уже времени на перевязку, вел взвод все дальше и дальше... Его, побелевшего, с семью пулевыми ранами, притащили ребята его взвода после того, как наступление захлебнулось... Но не стал рассказывать. У Шергина были те же иллюзии, как у Сергея в финскую; получить высшую награду, доказав этим, что не может быть врагом человек, воспитавший такого сына.

— Что же ты решил? — спросил наконец Володька.

— А что бы решил ты?

— Ты очень добиваешься брони?
— Не очень, но мне могут ее дать... Законную бронь.
— Твой отец прав, — сказал Володька не сразу.
— Он думает обо мне... А кто подумает о нем?
— Тебе будет трудно жить после войны... Ты же русский...

Сергей пожал плечами, усмехнулся:

— К тому же тоже воспитанный святой русской литературой... — Он еще раз пожал плечами, а потом, сжав пальцы рук, уставился куда-то взглядом.

* * *

Дни были безоблачные, ясные, без дождей и гроз, но холод приближающейся неизбежной разлуки уже коснулся их всех.

Тоня осунулась, все чаще подолгу задумывалась и глядела на Володьку таким взглядом, что у него сжималось сердце. А их прощания в прихожей, их поцелуи перед дверью были уже тронуты ледком отчаяния.

— Я ж приду завтра, — успокаивал и ее и себя Володька.

Но и он и Тоня уже ясно представляли то настоящее последнее прощание, после которого он уже не скажет: «Приду завтра».

Дома было то же самое... Он видел, как в глазах матери металось страдание, которое она изо всех сил пыталась спрятать от него, и ему было не по себе, что он так мало времени и внимания уделял ей. И теперь был он с матерью нежней, чем обычно, стараясь в эти предпоследние дни возместить упущенное.

В своих разговорах они избегали говорить о главном, о том, что впереди, но внутренне были сосредоточены лишь на одном: думали только об одном и делали героические усилия, чтоб не показать друг другу своего состояния.

Как ни странно, сам Володька был, пожалуй, спокойней всех, и если бы не переживания близких, был бы еще спокойней. Он как-то постепенно, еще до наступления предпоследних дней, уже отрешился от московской

жизни и половиной своего существа уже был там. И так же постепенно накапливалось в нем мужество, нет, не для фронта, а для скорого и неотвратимого расставания с матерью и Тоней.

Несмотря на довольно скудное, но все же регулярное питание, он поправился и чувствовал себя отдохнувшим и сильным. Рельс уже поддавался ему те тридцать пять раз, которых он хотел достигнуть.

Воспоминания о Ржеве если и не отошли совсем, то стали как-то бледней, и — что самое главное — все страшное, тяжелое как-то смазалось в его памяти. И еще — очень важное — те трагические вопросы: зачем? почему? для чего? как могло так случиться? — которые мучили его на передовой, если и не получили полного ответа, то ощущение напрасности их безуспешных наступлений покинуло его. Читая постоянно сводки Информбюро, он видел войну шире, чем виделась она ему из своего окопа подо Ржевом. Ему стала яснее взаимосвязь всех фронтов, и он стал понимать значение боев на Калининском, которые связывали немцев и не давали им возможности перебрасывать войска на другие участки, на юг, на котором сейчас идут жестокие сражения.

Но угрозу Москве Володька видел все-таки с Ржева. Не зря немцы так отчаянно удерживали его в своих руках, не боясь даже, что мы сможем окружить город и срезать этот ржевский выступ.

* * *

В этот день Володька подходил к Тониному дому в одиннадцатом часу, позже, чем обычно, и думал, что она уже ждет его у двери. Но дверь оказалась закрытой, и Володька долго звонил, прежде чем Тоня открыла дверь. Лицо ее было заспанно, но радостно.

— Володька! — бросилась она к нему. — Сейчас мы поедem к твоей матери.

— Зачем? — недоуменно спросил Володька.

— Надо же нам познакомиться...

— Но почему так вдруг... сейчас?

— Потому! — Она чмокнула его в щеку. — Посиди

немного, я переоденусь и приведу себя в порядок... Я почти не спала ночь...

— Почему?

— Много будешь знать — скоро состаришься. Я быстро... — И убежала в свою комнату.

Володька присел, закурил... Оглядел комнату. Никаких изменений не обнаружил, но что-то показалось ему в ней не так, и, когда увидел на столе серебряный портсигар с золотой монограммой, догадался — приехал, видимо, Тонин отец... Но почему Тоня решила ехать сейчас к его матери — не понимал.

— Я готова. Поехали, лейтенант Володька! — Тоня вышла из своей комнаты приодетая и похорошевшая.

— Приехал твой отец? — спросил он.

— Как ты догадался?

— Вот. — Он показал на портсигар.

— Да, приехал... ночью. Сейчас он поехал в наркомат. Вечером я тебя познакомлю. Если он сразу же не уедет обратно. Ну, пошли...

Тоня дала ему в руку довольно увесистую сумку, и они стали спускаться по лестнице...

— Как я выгляжу? — спросила Тоня перед Володькиным парадным.

— Прекрасно.

— Я должна понравиться твоей маме, — заявила она уверенно.

— Не сомневаюсь... Но я все-таки не понимаю, почему тебе именно сегодня приспичило с ней знакомиться?

— Глупенький... — Она погладила его по щеке.

Володька открыл ключом дверь, и Тоня смело затопала каблучками своих туфель по коридору. Только перед дверью комнаты на секунду приостановилась.

— Мама, вот и пришла к нам Тоня, — сказал Володька, пропуская Тоню вперед.

— Да, это я, — чересчур решительно сказала Тоня.

Мать поднялась из-за стола, улыбнулась и пошла навстречу ей, протягивая руку:

— Очень рада... Наконец-то...

— Я давно собиралась к вам, но... мне было неудоб-

но... Володя все время пропадал у меня, и вы, наверное...

— Проходите, Тоня, — перебила мать.

— Но вы... вы сейчас меня за все простите. Володя, вот тебе письмо, прочти вслух. — Тоня прошла в комнату и села на диван. Вид у нее был какой-то победоносный. — И может быть, даже полюбите, — добавила она.

— Что за письмо? — спросил Володька.

— Ты читай, читай, — нетерпеливо махнула Тоня рукой.

Володька распечатал конверт и начал читать:

— «Лейтенант Володя, к сожалению, не буду иметь времени с Вами встретиться — день буду в наркомате, вечером уеду на фронт. Тоня рассказала мне о Вас, однако хочется узнать Вас получше. Поэтому предлагаю Вам подумать — не продолжить ли Вам дальнейшую службу во вверенной мне части? Должен предупредить Вас — служить Вы будете в боевой части, находящейся на боевых позициях, и никаких поблажек с моей стороны не ждите. Но дочь говорила: ей будет спокойней, если мы будем вместе. Скоро в Москве будет мой начштаба, который сможет подготовить соответствующие документы. Очевидно, особых трудностей это не представит. До скорого свидания, если Вы примете мое предложение...»

Володька задумался.

— Ну, что, говорила я, что не пуцую тебя больше под этот Ржев! — ликующе воскликнула Тоня.

— И долго ты уговаривала своего отца? — спросил он.

— Я не уговаривала! Я рассказала ему все. Все, все! И он понял, что я и вправду не могу без тебя!

— Что ты решишь? — напряженно спросила мать.

— Что тут решать? — как-то неуверенно произнес Володька. — Наверно, надо согласиться...

— Да, Володя. — Мать опустила на стул. — Даже не знаю, как это выразить? Но понимаешь — мне будет легче.

— Понимаю, мама.

— Не будет той неизвестности, которая мучила меня, — продолжала она.

— Только не смей раздумывать! Ты убьешь меня и мать! — сказала Тоня, заметив в нем нерешительность.

— Почему я могу раздумать? — усмехнулся Володька.

— Потому... потому, что ты какая-то странная смесь рефлектирующего интеллигента с марьянорощинской шпаной. И от тебя можно всего ожидать.

Мать слабо улыбнулась, а Володька стал завертывать сигарку.

— Вообще-то... это вроде поступления в институт по благу... — начал Володька, но Тоня перебила:

— Вот видите, Ксения Николаевна! Я права!

— Володя, ты же поедешь на фронт... — В глазах матери была мольба. — В боевую часть...

— Мама, в самой-пресамой боевой части имеются тылы — одни подальше, одни поближе...

— Ну и что здесь такого! Какое-то время ты не будешь на этом, как ты его называешь, «передке». Десятки тысяч военных служат вообще в Москве и вообще еще не воевали, — сказала Тоня.

— А ты воевал... И хотя ты почти ничего не рассказывал мне, я поняла, что довелось тебе там... Этот ватник, до которого ты не разрешал мне дотронуться... Разве я не догадалась, что на нем чужая кровь... — Мать нервно закурила, и ее рука, держащая папиросу, слегка дрожала.

Володька молчал... Для него самого «случай» с немцем не имел уже того значения, как-то стерся из памяти. Точнее, он стер его сам, потому как знал и понимал неизбежность этого на войне, знал, что и впереди у него будет то же самое, но для матери?.. Для матери *это*, наверно, совсем другое, и ему было нехорошо, что мать догадалась.

— Я видела — ты вернулся совсем другим, — добавила мать, поднялась и отошла к окну.

Тоня хотела что-то сказать, но Володька предупредил ее жестом — не надо ничего, а сам подошел к матери, положил руку на плечо.

— Мама, — сказал он, — ты все выдумала. На ватнике, верно, не моя кровь — я помогал тащить раненого, а из него хлестало дай Боже...

— Не надо, Володя... Я понимаю, война, враг... И постараюсь примириться с этим...

Потом он пошел провожать Тоню к ее тетке, которой она должна была отнести кое-что из продуктов, привезенных отцом. Тоня, не отличавшаяся особой разговорчивостью, сейчас всю дорогу о чем-то болтала... В Староконюшенном они расстались.

— Я целую вечность не была у тетки. Надо помочь ей прибраться да и вообще побыть хоть часок. Вечером я тебе позвоню, — сказала Тоня.

Володька, уже давно не бродивший по московским улицам, так как всегда торопился к Тоне, сейчас с удовольствием, неспешно зашагал к Арбатской площади, а оттуда направился по Бульварному кольцу.

У памятника Пушкину он остановился — внизу, у постамента, лежали цветы! Что-то дрогнуло в душе Володьки... В военной, полуголодной, измученной непосильным трудом Москве, в Москве, около которой всего в двухстах километрах стоит враг, кто-то не на лишние деньги (таковых у москвичей не было), а может, на последние, покупает на рынке безумно дорогие цветы, чтоб положить их к подножию первого поэта России. Не пайку хлеба, не кусок мяса или масла, которые можно купить на эти деньги, чтобы поддержать свое оголодавшее на карточном пайке тело, а цветы... Это взволновало Володьку, он хмыкнул и полез за папиросами.

На бульваре было мало народу и почти не было детей. Кстати, этим тоже отличалась теперешняя Москва от довоенной. Но из немногочисленных прохожих, в большинстве военных, не было ни одного, кто бы не остановился перед памятником, не пробежался глазами по знакомым с детства строкам, не обратил внимания на цветы.

Володька присел на скамейку. Спешить ему было некуда, и он сидел, попыхивая папироской, пригреваемый ярким июньским солнцем, и наблюдал. И опять, в который уже раз, ему показался чудом тот вырыв его из одного пространства в другое — из кровавого пятна передовой в тишину Тверского бульвара... Он задумался, а когда поднял голову, то увидел подходившую к



памятнику чистенькую, сухонькую арбатскую старушку в старомодной шляпке из соломки, в стареньких лайковых перчатках, в туфлях на невообразимо высоких каблуках. Ей было, видимо, трудно и неудобно ходить, так как она очень неуверенно и осторожно переступала своими тонкими, высохшими ногами. Она остановилась около Пушкина, вынула из сумки один-единственный цветок и, что-то шепча бледными губами, положила его к подножию памятника.

Что шептала эта арбатская старушка, продавшая, наверное, на Центральном рынке какую-нибудь безделушку, чудом сохранившуюся за эти годы и купившая на эти деньги цветок, мольбу или молитву, Володька не знал, но был уверен, что молит она о победе...

Ему захотелось встать, подойти к ней, взять ее руку в прохудившейся лайковой перчатке и поднести к губам, поблагодарив этим за цветок, но показалось слишком сентиментальным. Старушка все еще стояла у Пушкина, что-то шептала, и Володька не выдержал, подошел.

— У вас кто-нибудь на фронте? — спросил он.

Старушка повернула сморщенное лицо, поглядела на него.

— Увы, молодой человек... Но все... все мужчины в нашей семье воевали за Россию... Мой дед участвовал в Бородинском сражении.

— Ваш дед... при Бородино? — удивился он.

— Мне восемьдесят два... И на моем веку было много войн, но эта... эта самая страшная... Скажите, молодой человек, вы спасете Россию? — Она взглянула ему прямо в глаза.

— Спасем, — тихо ответил Володька, склонив голову.

— Дай вам Бог... — Старушка быстро, стараясь сделать это незаметно, перекрестила Володьку, который чуть смутился, и пошла от памятника.

Она шла неровной, колеблющейся походкой на своих нелепых каблуках, в своей нелепой соломенной шляпке — «осколок разбитого вдребезги», но еще живого и тем самым как бы соединяющего его, русского лейтенанта сороковых, с неизвестными им русскими по-

ручками и капитанами тех прошлых войн, которые пришлось вести его стране.

Дома его ждало письмо из части, и оказалось оно не от Чиркова, а от самого комбата... Не очень-то долюбивал его Володька, но тут вдруг растрогался, вспомнил, как после последнего ночного наступления, в котором сам капитан шел в одной цепи с ними с карабинчиком в руках, вернулись они в роту и как присел комбат на пенек, весь почерневший, в измазанной телогрейке с белевшими клочьями вырванной пулями ваты, присел, закрыл лицо руками, и заходили у него ходунном плечи... А они — двое оставшихся в живых командиров — стояли и смотрели, сами еле сдерживая подкатывающие к горлу всхлипы... Нет, не забыть такого. Хоть и осуждал Володька комбата за то ночное наступление, хоть и был зол на него, но повязал себя тогда капитан со своим батальоном одной веревочкой, одной возможностью быть убитым в цепи рядом с любым рядовым бойцом.

И сейчас, читая скупые строчки письма, зовущие Володьку вернуться в свою часть, понимал лейтенант Володька, что не ушел этот человек из его жизни, да и не уйдет никогда, потому как связаны они навечно страшными ржевскими днями и ночами.

* * *

Чуть больше недели осталось до перекомиссии, и Тоня после нескольких спокойных и радостных дней вдруг стала опять взвинченна и нервна.

— Что-то случится, Володька... Не знаю что, но произойдет что-то непредвиденное, и все наши планы рухнут.

— Ну что может произойти? — успокаивал ее Володька.

— Не знаю, не знаю... Но я чувствую... — И она судорожно обнимала его при прощаниях, с каким-то отчаянием целовала. — Вдруг никто не приедет от папы?

Но Володьку тревожило другое... Все чаще и чаще вспоминались ему передовая, оставшиеся там ребята,

как жались в одном шалашике при обстреле, как хлебали из одного котелка, как благодарили, когда свой доппаек (иногда кусочек масла, иногда несколько галет) делил он каждый день то с одним, то с другим, как провожали его, раненого, как жали руку, как желали счастливого пути... И все чаще сжималось сердце жалостью ко всем, кто был с ним там, ко всем, кто так безропотно и безжалобно выполнял его не всегда обдуманые приказы, кто так ни разу не укорил его ни в чем, хотя и было за что... И почти каждую ночь подступало к нему: а не предаст ли он своих ребят решением ехать к Тониному отцу? Имеет ли право менять свою солдатскую судьбу? Сам ведь выбрал он ее, и что ж? Повоевал три месяца — и на попятную?

Но в то же время, видя, как ожила мать после Тониного прихода, как ушли из ее глаз непрерывные напряжения и страх, понимал он, как трудно ему будет обрушить на нее другое и лишит только что обретенной надежды.

И вот в эти предпоследние дни совершенно неожиданно, без телефонного звонка, появилась Юлька.

— Как хорошо, что я вас застала! Бежала и думала: вдруг никого? И что тогда делать? — выпалила она, войдя в комнату. — У своих я была, и у меня еще час времени.

— Вам очень идет военная форма, — сказала Володькина мать, обнимая Юльку.

— Что вы? Гимнастерка велика, сапоги тоже... Ну, как вы тут живете? Когда у тебя перекомиссия?.. Да, конечно, очень жаль, что так получилось, Володька, что твой отпуск мы провели не вместе, но ничего, — заявила она, потряхнув головой. — Мы обязательно встретимся на фронте. Что, не веришь? Ты знаешь, как у меня развито предчувствие. Я точно знаю — встретимся...

— Я поставлю чайник, — сказала мать и вышла в кухню.

— Только жаль, Володька, что ты оказался как все. Юлька сняла пилотку и провела рукой по волосам.

— То есть как это? — не понял Володька.

— Как все мужики, — сказала она резко.

— К тебе приставали?

— У нас на сотню девочек тысяча мужчин...

— Я предупреждал тебя. На фронте вас будет еще меньше...

— Ну, ко мне-то не очень пристанешь... Я знаю такие слова...

— Какие же слова?

— Я просто говорю: как вам не стыдно! Я пошла в армию воевать, а вы... Это очень нехорошо и стыдно.

— И помогают эти слова? — с горькой усмешкой спросил Володька.

— Очень здорово помогают.

— Ну, дай-то Бог...

— Я принесла табак тебе. Я там не курю почему-то. А сейчас хочу. Заверни мне.

— Юлька, никакой Майки у меня не было, и я ее даже не видел, — сказал он, завертывая себе и Юльке сигарки.

— Честное слово? — совсем по-девчоночьи воскликнула она.

— Честное слово.

— Значит, это правда? Ой, Володька, как это хорошо! Я же считала тебя таким... ну таким... не как все другие. Скажи еще раз — честное слово.

— Это смешно, Юлька.

— Пусть смешно. Повтори. — Володька повторил. — Но где же ты ночевал? Только не ври, что у Сергея.

— Я скажу... Понимаешь, я... я увлекся одной девушкой... у нас ничего не было. Могу дать опять честное слово.

— Володька, вот это-то меня совсем не интересует, — удивила она его. — Разве я могу запретить тебе влюбиться! Это же от нас не зависит. А потом, ты же уедешь — и все это пройдет. А на фронте мы встретимся... — Увидев, что Володька пожал плечами, добавила: — Ну если и не встретимся, то уж после войны обязательно... И вот, Володька, — победа, мы возвращаемся с войны... Кругом будет много всяких девочек, гораздо красивей меня, но тебе с ними будет неинтересно. Тебе просто не о чем будет с ними говорить... А со мной — будет. Ведь у нас с тобой святое, великое, общее — война, фронт... Понимаешь?

— Неужели ты думала об этом, когда обивала порог военкомата? — Он поглядел на нее внимательно и поновому.

— Конечно, думала! Ты меня все цыпленком считаешь, а я думала, еще как думала... Поэтому-то мы и будем вместе после войны. Разве не так?

— Так, — ответил Володька, смотря на Юльку, и другое предчувствие полоснуло по сердцу.

Было что-то в высветлившихся ее глазах, хоть и улыбались они, — потухшее, такое же, как в глазах его ротного перед первым боем.

Из кухни вернулась мать, и Юлька спросила шутливо:

— Ксения Николаевна, правда, что Володька в кого-то втюрился?

— Не знаю, Юля, пусть Володя расскажет вам сам... — смутилась мать и собралась опять выйти из комнаты.

— Погодите, Ксения Николаевна... Мы сейчас присядем на минутку... Ведь я завтра... уезжаю...

— Как уезжаешь? — почти вскрикнул Володька.

— Боже... — прошептала мать.

— Приезжал один дядька с Калининского, какой-то начальник связи. Так вот, ему срочно нужны связистки. Он спросил, кто хочет? Доучитесь, дескать, на месте...

— И ты?

— И я... захотела. Знаешь, надоело уже тут. А потом... месяцем раньше, месяцем позже, чего тянуть. Ты же уедешь через несколько дней.

— Ты не знаешь, что такое месяц! — бросил Володька.

— Господи... — опять прошептала мать и опустила на стул.

— И когда же ты едешь?

— Завтра. Нас пятеро поедет. Очень хорошие девочки... С этим начальничком и поедем до места... Выходит, я раньше тебя на фронт попаду... Так присядем на дорогу?

Володька сел, сцепил руки и уставился в одну точку...

— Ну все, — поднялась Юлька. — Теперь ты поцелуешь меня на прощание, и... скажи, несмотря на свою влюбленность, ты еще любишь меня немного?

— Люблю, Юлька... — сказал он, потому как чувствовал сейчас такую нежность, которую можно было, не кривя совестью, назвать любовью.

Он подошел к ней, прижал худенькое Юлькино тельце к себе и поцеловал раз, потом еще... Он почему-то ясно ощущал, что больше не увидит Юльку, что поцелуй этот последний...

— Ничего, Ксения Николаевна, что мы при вас целуемся? Это же на прощание, — спросила Юлька, счастливо улыбаясь, почувствовав искренность Володькиного поцелуя.

Потом она подошла к помертвевшей Володькиной матери, обняла, чмокнула в щеку и, заметив слезы на ее глазах, сказала:

— Только не плачьте, Ксения Николаевна... Мы обязательно с Володькой встретимся на фронте... Обязательно!

До трех вокзалов они шли пешком... Юлька что-то рассказывала о своих девочках из роты, что некоторые боятся после войны не выйти замуж, так как не останется парней их возраста, что некоторые, их немного, все-таки трусят, хоть и пошли добровольно, и жалеют об этом, но она, Юлька, разумеется, не жалеет, но немножко пугают ее трудности быта, жизни среди мужчин... Володька не очень-то вникал в ее болтовню. У него ныло в груди какое-то очень определенное предчувствие, что эти минуты с Юлькой — *последние*... И чем беззаботней и веселей была ее болтовня по пустыкам, тем сильнее и глубже это пронизывало его...

Не сговариваясь, они оба повернули к Октябрьскому вокзалу и вошли в зал ожидания... Вокзальная предотъездная суета взбудоражила их, и они долго бродили по залам, прошлись по перрону... И пыхтение паровозов, их протяжные гудки, дым, пахнувший разлуками, лязганье буферов, нервные, приглушенные разговоры отъезжающих погрузили Володьку в то томительное, не всегда радостное, но всегда значительное предощущение *дороги*, которое неизменно испытывал он на вокзалах и станциях, каких немало было в его короткой жизни. Не важно, что предстоящие ему дороги были доро-

гами в неизвестное, дорогами, может быть, в никуда, дорогами последними, но они всегда тревожили и возбуждали...

Они подошли к расписанию и узнали, что на Калинин идет только один поезд, днем. С ним-то и должна уехать Юлька, а оттуда, как сказал им майор, поедут они машиной до места... На вокзале Юлька затихла, и ее рука, до которой дотронулся Володька, была холодной.

— Не знаю, стоит ли тебе меня провожать завтра? Боюсь разреветься...

— Но-но, товарищ красноармеец, это не положено, — попытался пошутить Володька.

До Матросской Тишины они шли почти не разговаривая... У казармы Володька поцеловал Юльку, но ее губы были холодны, и она не ответила на поцелуй. Возбужденность, с которой она пришла к ним в дом, видимо, прошла — Юлька как-то завяла, будто очень и очень устала... Он долго смотрел ей вслед, как дошла она до проходной, как перекинулась несколькими словами с постовым, как оглянулась и улыбнулась Володьке такой же жалкой, вымученной улыбкой, как и у призывного пункта...

Володька постоял еще немного, потом вынул из кармана черный футлярчик смертного медальона, развернул его, вынул вложенную туда бумажку, прочел — Степанов жил где-то у Крестьянской заставы.

* * *

Он долго бродил по каким-то переулкам с одноэтажными деревянными домами, прежде чем нашел нужный. Долго стоял перед дверью, не зная, что ему говорить и как вести себя, если Степанова еще не получила похоронку, и так, ничего не придумав, постучал.

Открыла ему девочка лет двенадцати, поглядела на него и, ничего не спросив, убежала в темноту коридора.

— Мама, мама! К нам дяденька с фронта...

Володька сделал шаг... Навстречу ему шла женщина, на ходу вытирая мокрые руки.

— Вы к нам? — спросила, остановившись перед ним и глядя холодноватыми, настороженными глазами.

— Вы — Степанова? — Она кивнула в ответ. — Тогда к вам.

— От мужа? — спросила она сдавленным голосом, и он почувствовал, как напряглась она вся.

— Мы вместе воевали...

— Он жив? — задала она самый главный и страшный вопрос, но каким-то странно равнодушным голосом.

— Вы ничего не получили? — проклиная штабную канцелярию, пробормотал Володька.

— Нет, ничего, — мертво ответила она и перестала вытирать руки, которые плетью упали вдоль тела. — Ну, проходите же, чего мы тут, в коридоре. — Она открыла дверь комнаты и пропустила Володьку.

В довольно большой комнате — простой стол, три кровати, славянский шкаф с зеркалом, в беспорядке расставленные венские стулья. На одной из кроватей, прижавшись друг к другу, сидели девочка, открывшая ему дверь, и мальчуган лет семи. Они смотрели на Володьку как-то очень серьезно, без обычного детского любопытства.

— Садитесь, — сказала женщина, подвигая ему стул, и сама села напротив.

— Спасибо, — поблагодарил он и взглянул на ребят — говорить при них было нельзя.

— Маша, пойдите прогуляйтесь, — поняла женщина его взгляд.

— Да, мама, — сразу согласилась девочка, взяла брата за руку, и они вышли из комнаты.

Женщина стала скручивать сигарку из филичевого табака, пачка которого лежала на столе. Руки ее дрожали. Володька вытащил папиросы и предложил. Она взяла, поблагодарив.

— Никак не научусь крутить, — сказала она, бросив изорванную бумажку на стол. — Да и табак этот — одно название. — Володька зажег спичку. — Вы давно... откуда-то?

— Третьего мая меня ранило... Отпуск у меня к концу идет, — поспешил добавить он.

Женщина молчала. Молчал и Володька. Оба оттягивали неизбежное.

— Вы, наверное, тот самый лейтенант, о котором муж с Урала писал?

— Он писал?

— Да. О взводном.

— Тогда обо мне. Что же писал?

— Могу показать письмо, если хотите.

— Покажите.

Женщина поднялась, нашла письмо, протянула Володьке. Он стал читать:

«Командир наш взводный вроде ничего, только больно горяченький да молоденький. Правда, хорошо, что не из новоиспеченных — служил кадровую, дело вроде знает. Но, боюсь, дров наломать может. Нас гоняет на тактических, жмет на рукопашный, а будет-то на фронте совсем не так: и тактика эта не пригодится, а уж рукопашный тем более. Намекал я ему, что, дескать, это все ни к чему, что отдохнуть людям надобно. Уж я-то знаю, сколько силенок передок потребует, но впустую намеки мои. Пока сам этого хлёбова не попробует — не поймет. Нога моя совсем зажила, но когда лейтенант все бегом и бегом — чувствую боль, и трудно мне это...»

Сжало у Володьки горло запоздалой жалостью, вспомнил, как гонял ребят по сугробам, как доводил их со штыковым боем... И верно, не пригодилось ничего. Положил он письмо и дрогнувшим голосом сказал:

— Да, про меня это...

И опять тягостное молчание придавило обоих.

— Ну, чего уж больше тянуть, — сказала наконец женщина. — Поняла я сразу, как вас увидела. Когда убило-то?

— В апреле.

— Чего ж похоронку не присылают? Вы точно знаете, что убило?

— На моих глазах... Вот, — достал он смертный медальон. — Сам из кармана вынул, чтоб адрес узнать. Он говорил: «Ты, землячок, если в Москву каким случаем

попадешь, зайди ко мне непременно и расскажи, как мы на этом болотном пятачке помирали. Ну а я, ежели живой останусь, к твоим зайду».

И опять потянулось тягостное молчание... Женщина не плакала, не всплескивала в отчаянии руками, только лицо окаменело и чуть подрагивали руки, когда подносила ко рту папиросу.

— Трудно было ко мне идти?

— Да.

— Вижу. Сколько времени не решались. Понимаю, что такую весть приносить — и врагу не пожелаешь... Но я-то... я этот час давно поджидала. И приготовилась. Не было у меня надежды, с самого начала не было. Как письмо его с дороги получила, так в сердце что-то и ударило — не увижу больше. Я вам, наверное, бесчувственной кажусь? А я эту минуту в своей душе не один раз уже пережила... Другие как-то надеются все, до последнего... Похоронку получают — и то все надеются... А я, как письма перестала получать, так и поняла: все. Так что не удивляйтесь. Все у меня было — и слезы и отчаяние, все.

— Я пришел... — стал выдавливать из себя Володька. — Я должен... должен рассказать вам, как все это...

— Не надо, — прервала его она. — Скажите только, захоронили где? Может, после войны удастся на могилу съездить.

И опять ударило Володьку по сердцу. Не может же он сказать, что оставили они Степанова на поле, что еле-еле раненых вытащили, живых, что не до мертвых было, когда немец не переставал разметывать их огнем до тех пор, пока ни одного человека не осталось на поле.

— Я... я не знаю точно. В похоронке должны написать. Ну а место, где находились мы, могу назвать. Это от Ржева километров двадцать на северо-запад... Три деревни там — Погорелое, Черново, Усово... За Черновом лес большой, там наш передний край проходил. В лесу мы и хоронили.

— В общей могиле, значит?

— Да, в общей... — ответил он, а сам подумал: потому и похоронку не присылают пока, что надо в ней место захоронения указать, а убрали ли с поля убитых или

нет? Видно, не убрали еще. Да и как их уберешь? Пробовали. Посылали по четыре человека ночью, а возвращались три. За каждого мертвого по одному живому отдавать приходилось. И оставили. Но и этого не скажешь женщине.

— Надо бы помянуть Василия... Есть у меня пайковая бутылка, да для продажи приготовила... Но ладно уж... — Она медленно поднялась и пошла к буфету.

— Не надо, — быстро остановил ее Володька. — Дети у вас...

— Да, дети... Не обессудьте тогда. — Она вернулась к столу, села. — Ну, вот все... Настоящая я теперь вдова.

— Я все же должен рассказать вам... — начал опять Володька.

— Что? Почему вы живым остались, а он мертвый? Про это хотите? Так я не виню вас... Каждому своя судьба.

— Но я... я виноват. Не послушал его тогда, в том бою...

Женщина подняла голову, прошла глазами по его лицу, и еле заметная горькая усмешка тронула ее губы.

— Наломали-таки дров?

— Наломал... — опустил глаза он и весь сжался.

Женщина долго молчала, потом, вздохнув, сказала тихо:

— Бог вам судья. Не хочу я ничего знать.

— Но я должен... должен объяснить вам, что по-другому поступить я не мог. Понимаете: не мог!

— Хотите, чтоб полегчало вам? А обо мне подумали? Каково мне будет думать — кабы не этот мальчишка-лейтенант, живым мог остаться муж мой? Этого хотите? Не надо ничего, — устало закончила она и лишь через некоторое время продолжила: — Что ж, возненавидеть мне вас? А вам через несколько дней опять на войну. Нет, не говорите ничего. Одна война во всем виновата. Только скажите: мучился перед смертью Василий?

— Нет.

— Вот это самое главное. Ребятам, наверное, не скажу пока, — в раздумье проговорила она. — Пусть надеются. Скажу, что ранен сильно отец, писать не может... Не проговоритесь, когда уходить будете.

— Да, конечно...

— Ну ладно, — поднялась она. — Даже не знаю, что и сказать вам. Благодарить за то, что такое известие принесли, как-то слова не выговариваются... Ну, а что зашли, все же хорошо, наверное. Исполнили последний наказ Васин... Отпускаю я вам вину вашу, если и есть она какая. Ну, прощайте, — протянула она руку.

— Спасибо вам, — пожал Володька холодную, безжизненную руку, и вдруг то, что сжимало ему горло все это время, прорвалось — он опустил на стул, закрыл лицо и зарыдал.

Женщина положила ладонь на его вздрагивающее плечо, потом перенесла на голову и стала тихо поглаживать.

— Ну, будет вам, будет... Мальчик вы еще совсем... Ну, будет...

А он, бывший отчаянный ротный лейтенант Володька, не позволивший себе ни единой слезинки на передовой, сейчас не мог совладать с собой и бился в всхлипах, ощущая, как горячие слезы пробивались сквозь пальцы и тяжело падали на стол.

— Ну, будет вам, идите, а то и мне держаться невмочь уже. — Она отвела его руки от лица и взяла за плечо.

Володька поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты. Женщина проводила его по коридору, придерживая за плечо и повторяя:

— Ну, будет вам, будет...

Очнулся он на улице, когда, щелкнув английским замком, закрылась за ним входная дверь. Его еще пошатывало, еще били беззвучные рыдания, но он чувствовал, как с каждым толчком его сердца выбивалась из него та холодная тяжесть, которую носил он все дни отпуска и которая мешала ему ощущать и радость возвращения, и радость свидания с близкими, и радость любви к Тоне...

Он глубоко и как-то свободно вздохнул. Огляделся — золотое закатное небо с медленно поднимающимися лиловыми тенями аэростатов заграждения висело над уже окутанными синей предвечерней дымкой московскими домами...

Когда он добрался до Садовой, было уже около десяти вечера и ехать к Тоне вроде бы поздно, да и хотелось ему сегодня побыть одному. Он подошел к телефону-автомату и набрал Тонин номер.

— Куда ты пропал? Я звоню тебе целый вечер. Приезжай немедленно. — Голос Тони и вправду был измучен. — Что произошло?

Володька, поразившийся женской интуиции, ответил не сразу.

— Ничего не произошло, Тоня. Я сейчас далеко от Зубовской, пока доеду... Я приеду к тебе завтра утром.

— Нет, приезжай сейчас. Володька, я прошу тебя — приезжай немедленно, иначе я не знаю, что со мной будет... Слышишь — немедленно.

— Хорошо, Тоня, еду.

Пока троллейбус тащился по Садовой, Володька думал, говорить ли Тоне об отъезде Юльки и о посещении им вдовы Степанова. Но так и не решил...

Тоня, открыв ему дверь, сразу же спросила:

— Что случилось?

— Ничего не случилось, Тоня, — ответил он, опять удивившись женской догадливости.

— Случилось... Я вижу по твоему лицу. Говори, Володька, и не мучай меня.

— Приходила Юля...

— Ну и что?

— Приходила прощаться... Завтра она уезжает на фронт.

— Господи... — упавшим голосом прошептала Тоня. — Ты пойдешь ее провожать?

— Нет, она не хочет... Она уверена, что мы встретимся на фронте.

— Но ты же знал: она рано или поздно должна уехать...

— Да, знал... Принеси воды, пожалуйста, — попросил он.

Тоня принесла воды, которую Володька жадно выпил, и положила руку ему на голову.

— Я понимаю, Володя... Это несколько неожиданно для тебя. Ну ничего, вряд ли их пошлют на передовую. У вас же не было девушек-связисток?

— У нас не было...

— Ты хочешь есть? Сейчас я разогрею консервы... Без тебя я даже этого не могу. За весь день — ни кусочка. — Не дожидаясь Володькиного ответа, она вышла на кухню, а возвратившись, обняла его. — Ты помнишь, когда мы каждый вечер прощались в прихожей, я говорила, что мне страшно того последнего вечера, после которого ты уже не придешь?

— Помню.

— Сейчас у меня нет этого страха... Пока папина часть недалеко от Москвы, он сможет, наверно, посылать тебя в командировки. И твой приезд будет всегда неожиданным — вдруг звонок, и лейтенант Володька появляется на пороге, и я буду умирать от счастья. Ведь здорово?

— Да, — пробормотал Володька, а сердце сжалось от того, что скоро — нет, не сегодня, сегодня нельзя — должен он будет разрушить все Тонины надежды. Юлькин отъезд на фронт, да еще на Калининский, добавил ту последнюю каплю, которая и перевесила чашу весов, — все стало на свое место. Выбор был сделан, и после этого уже было не так трудно идти к Степановой.

— Разогрелось, — сказала Тоня, сходяв на кухню и принеся еду.

— Что-то не хочется...

— Это мясные консервы, — с ударением на «мясные» произнесла она и поставила перед Володькой сковородку, а потом вдруг, вскинув на него глаза, вздрогнула и прошептала: — Что произошло еще, Володя?

Володька поднял голову, столкнулся с Тониным вопрошающим взглядом и уткнулся в сковородку. «У человека не одно «надо», — вспомнились ему слова Сергея.

— Я был у Степановой, — с трудом произнес он.

— Зачем?! Я же просила тебя!

— Это было необходимо, Тоня.

— Стало легче? — спросила Тоня.

— Не знаю, — пожал плечами Володька. — Наверно, легче.

— Тогда — слава Богу. — Она облегченно вздохнула. Володька посмотрел на часы и резко поднялся.

— Мне пора.

— Нет, нет! Не уходи! — бросилась она к нему. — Ты так мало был у меня!

— Я все оставшиеся дни буду только у тебя, Тоня... Только у тебя. И вообще... спасибо тебе... Без тебя мой отпуск прошел бы пусто, скучно, а с тобой было хорошо... очень хорошо. Ну я пойду. Я все время буду у тебя, все время... — Володька медленно отступал к двери.

— Володька! — остановила его Тоня. — Поклянись мне, что никакого сумасбродства. Поклянись! Иначе не отпущу! — Тоня схватила его руку и крепко держала.

— Да, Тоня, никакого сумасбродства... Я приду утром и буду весь день, приду...

До Zubовской он бежал... Троллейбус, на который он сел, был пуст. Видимо, последний. Синие лампы еле-еле освещали салон неприятным мертвым светом. От Самотеки Володька пробирался дворами, благо они стали проходными — все заборы были сожжены зимой москвичами, — наступил уже комендантский час, и он боялся наткнуться на патруль.

Домой он вернулся в первом часу.

— Я думала, ты уже не придешь, — встретила его мать облегченным вздохом. — Будешь пить чай? Я тоже выпью с тобой.

Володьке показалось, что матери хочется поговорить с ним, и он согласился. За столом она часто поглядывала на него тем мучительным вопрошающим взглядом, от которого Володьке было не по себе. Он знал, о чем спросит его сейчас мать, и он внутренне сжался.

— Володя, отъезд Юли... — начала мать.

— Не знаю, мама, не знаю, — резко прервал Володька и поднялся.

* * *

На другой день отправился Володька на Домниковку — надо с Егорычем проститься, да и с Надюхой. Неудобно получилось — не заходил к ней с того раза...

Егорыч сидел во дворе на скамеечке — сумрачный, вялый, смолил самокрутку.

— А, лейтенант... — как-то равнодушно поприветствовал он Володьку. — Чего не заходил? Поминала тебя Надюха...

— Дома она? — спросил Володька.

— Нет, на работе.

— Передай ей привет тогда.

— Что привет? Зашел бы, приласкал... Пожалела она тебя тогда...

— Понимаешь, Егорыч, не успею я... А потом... Ты передай ей, что встретил я... ну одну свою девушку... Она поймет.

— Чего не понять — побаловался, и в сторону. Нехорошо, браток. Она ж не такая, чтоб с каждым... Значит, понравился ты ей.

— Ты передай, она поймет...

— Поймет не поймет, мое дело маленькое, передам... — Егорыч затыкнулся и выплюнул сигарку. — Знаешь, не вышло у меня с этой торговлей, черт бы ее подрал. Из-за нее, проклятой, привык к стаканам... День не выпью — сам не свой. Вот какое дело, брат, получилось. — Он подрагивающей рукой вынул платок, отер пот со лба. — На работу сейчас устраиваюсь. Хоть какое дело но буду делать. Когда уезжаешь-то?

— На днях...

— Ну что ж, бывай... Хочешь, я тебе про один канал расскажу? На прощальный вечерок водочки-то нужно достать... Так вот, иди в бывший Елисейевский и прямо к директору — так и так, пришел конец отпуску, а выпить на дорожку нечего. Он тебе сразу — платите в кассу шестьдесят рубликов, ну а когда ты чеки выбьешь, он тебе из собственного сейфа две бутылки. Понял? Мировой мужик... Только по второму разу не вздумай — прогонит.

Володька поблагодарил за «канал», хотя знал, что никакой водки добывать он не будет: не до нее как-то. Попрощался с Егорычем, который напоследок расчувствовался, жал Володькину руку и приговаривал:

— Ты поосторожней там... Что ни говори, а бережного и Бог бережет, хотя и понимаю — от судьбы не уй-

дешь. Но ты все же подумай и о себе, и о ребятах своих... Наобум и на авось воевать негоже.

— Я понял это, Егорыч... Понял...

* * *

Осталось до перекомиссии пять дней... Рана на Володькиной руке давно затянулась, пальцы работали, правда, чуть больновато было, когда кисть сильно сожмешь, но врач сказал, что отпуск ему не продлят — годен Володька к дальнейшей войне.

Начальник штаба Тониного отца должен был приехать сегодня вечером. Так как никто не знал, когда он поедет обратно, — вероятно, что завтра утром и уедет, то прощальный вечер Тоня решила устроить сегодня.

Володька лежал в своей маленькой комнатке при кухне с раскалывающейся от боли головой. Уже второй день ломило голову, видать, оттого, что мучило Володьку — как он скажет матери и Тоне о принятом решении. Не думал он, что будет это таким трудным. И не раз всплывали в памяти слова Сергея о том, что у человека не одно «надо».

Из кухни, где хозяйничали мать и Тоня, до Володьки доносилась часть разговора.

— Знаете, Ксения Николаевна, мне сейчас даже хочется, чтоб Володя поскорей уехал к отцу. Меня не пугает разлука, лишь бы он был там... Все время кажется — что-то случится, что-то случится...

— Что может случиться, Тоня? — успокаивала мать.

— Не знаю... не приедет папин сослуживец или еще что-нибудь...

Для Володьки каждое слово — будто удар по голове, и он закрывал уши руками...

Потом он слышал, как пришел Сергей, поздоровался, спросил, где Володька, передал что-то из продуктов, бросив: «Тут кое-что к столу», — а затем, видно, присел на кухне и со вздохом сказал:

— Вот и пролетели сорок дней...

— Именно пролетели, Сережа... А они были очень нелегкими и для меня и для Володи. Он так ничего и не



рассказал мне о фронте, но я о многом догадалась сама... — Мать тоже вздохнула.

— В Володьке слишком много психологии, — заметил Сергей.

— Это хорошо или плохо? — спросила Тоня.

— Увы, мы все воспитаны на святой русской литературе, а в ней слишком много психологии.

— Этим она и хороша, — сказала мать.

— Для мужчины много психологии, наверно, плохо, — заявила Тоня уверенно.

— Bravo, Тоня! Для дочери военного такое заключение вполне естественно. Я согласен — плохо. — Сергей засмеялся.

— Сережа, вы сами не верите в то, что говорите.

— Возможно, Ксения Николаевна, возможно... — небрежно бросил Сергей.

Потом они говорили еще о чем-то. Володька не прислушивался — голову толчками била боль, но когда Тоня завела разговор о Степановой, он напрягся.

— Какой Степановой? — спросила мать.

— Это жена.... точнее, вдова его однополчанина, — ответила Тоня. — Когда он пришел от нее, я еле-еле вырвала у него клятву не совершать сумасшедших поступков...

— Расскажите подробней, Тоня. Я ничего об этом не знаю, — взволнованно попросила мать.

— Ну, Володька, выполняя приказ, не послушал этого Степанова... В общем, почему-то он считает себя виноватым в его гибели...

— Опять психология, — бросил Сергей.

— А может, это совесть, — не сразу и очень тихо произнесла мать.

— Глупость! — быстро вступил Сергей. — В суматохе боя совершенно невозможно рассчитать последствия своих поступков. Володька ни в чем не виноват!

— Что вы еще знаете? — так же тихо спросила мать, но тут раздались звонки в дверь, и она пошла открывать. — К тебе пришли, Володя.

Володька с трудом поднялся, вышел из комнаты — в кухне стояли Витька Бульдог и Шурка Профессор.

— Проститься пришли, Володь... В училище нас берут. Меня — в артиллерийское, а Витьку в пехотное, — сказал Шурка.

— Прекрасно, что в училище! — бодро произнес Сергей. — Через три месяца — лейтенанты.

— Нам сказали — шесть месяцев, — уточнил Витька.

Володька смотрел на этих мальчишек и думал, что действительно через шесть месяцев они будут командирами, будут распоряжаться жизнью и смертью десятков людей, и нет у них за плечами даже тех лет срочной службы, которым он придавал такое значение.

— Как настроение? — таким же бодрым голосом спросил Сергей.

— Хорошее, — ответили они разом.

— Витька, ты хоть знаешь, сколько бойцов в стрелковом взводе? — как-то уныло задал вопрос Володька.

— Пока не знаю... Но подучат нас, Володь...

— Подучат, подучат, — подтвердил Сергей.

У Володькиной матери повлажнели глаза. Она подошла к ребятам, провела рукой по остриженным их головам и прошептала:

— Мужества вам, мальчики, мужества.

Потом ребята простились со всеми за руки, особенно трясли Володькину, и вышли тихо, чинно, как и вошли.

— Господи... — пробормотала мать. — Такие мальчики — и будут воевать.

— Я таким же был на финской, — пожал Сергей плечами, вынул папиросы, закурил.

Затем они пошли в комнату, сели за стол. Володька тер голову и морщился от боли.

— К нашему счастью, — начал Сергей, — сегодняшней прощальный вечер не должен быть уж очень печальным. Конечно, фронт есть фронт, но будем надеяться, Володька, что твоя дальнейшая служба будет немного полегче и тебе не придется больше хлебнуть того, что довелось подо Ржевом. Мне хочется поблагодарить Тонечку, которая, как я уже говорил не раз, прямо-таки ангелом-хранителем пришла в этот дом... Но хочу напомнить, — добавил он шутливо, — без меня вашей встречи не произошло бы. Салют!

«Надо сейчас и сказать, — думал Володька, — надо сейчас и сказать... Рубить — так сразу! Чем дальше, тем трудней будет это». Он измученным взглядом обвел всех, и когда встретился с глазами матери — та вздрогнула, сжалась, отвела глаза, а потом вдруг выпрямилась и сказала тихо, но очень отчетливо:

— По-моему, мы все заблуждаемся... Володя... Володя... кажется, принял другое решение...

— Мама! — вырвалось у Володьки облегченно, и сразу же прошла боль, сдавливавшая его голову.

— Володька! — вскрикнула Тоня.

Сергей каким-то мертвым голосом, глухо спросил:

— Это правда, Володька?

— Мама... значит, ты поняла... Тоня... Простите меня, но по-другому я не могу. Я должен... должен к своим ребятам... Ждут же меня... Им, только им я должен доказать... Понимаете? Должен!

— Нет, нет! Володька! Ксения Николаевна! Сергей! Да скажите же ему! Нельзя так, нельзя! Он ни о ком не подумал — ни обо мне, ни о матери! Ни о ком!

— Он и обо мне не подумал, — странно усмехнувшись, сказал Сергей.

— Вы-то здесь при чем? — почти грубо и в упор спросила Тоня.

— Во мне тоже есть эта... психология. — Он пожал плечами. — И я тоже воспитан на этой самой... святой... — Он оглядел всех с той же непонятной усмешкой, а потом, буркнув «Салют!», быстро вышел из комнаты.

Володька бросился за Сергеем, но в коридоре уже хлопнула входная дверь, и он вернулся. Не входя в комнату, он услышал, как мать что-то говорила Тоне...

Он повернулся и пошел в свою комнату, бросился на кушетку вниз лицом. Самое главное позади. Он закрыл глаза, и перед ним поплыла дорога... Замелькали телеграфные столбы, побежали поля, перелески, березовые рощи, бедные серые деревни — русская, родная, политая потом и кровью земля, которую должен он во что бы то ни стало защитить и спасти...

И покой, особенно ощутимый после разлада и разбро-

да последних дней, сошел на него: он возвращается «на круги своя», на свой, выбранный им самим путь, путь, по которому идет его народ, и ему остается только одно — пройти этот путь достойно, без тех ошибок и недогадок, которые допустил по неопытности и по мальчишеству.

Он сразу словно вырубил себя из московской жизни... Он был уже там, подо Ржевом, рядом со своими ребятами.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Лазарев. ОКОПНАЯ ПРАВДА</i> (Вячеслав Кондратьев и его «ржевская» проза)	5
<i>САШКА. Повесть</i>	15
<i>ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ. Повесть</i>	161

Литературно-художественное издание

СЕРИЯ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Кондратьев Вячеслав Леонидович

ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ

Повести

Ответственный редактор

О. Б. Гринцева

Художественный редактор

Е. М. Ларская

Технические редакторы

И. П. Савенкова, Н. Ю. Крапоткина

Корректор

В. В. Борисова

Компьютерный набор и верстка

В. Л. Богомазова

Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.09.11.
Формат 84x108 ¹/₃₂. Бумага офсетная № 1. Шрифт «Школьный».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 13,31.
Тираж 5000 экз. Заказ № .

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
ОАО «Издательство «Детская литература».
125319, Москва, ул. Черняховского, 4.
www.detlit.ru